

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

# СИБИРЬ

№ 350/2 2·2013

Литературно-художественный и культурно-просветительский  
журнал писателей Восточной Сибири  
Учредитель — Иркутское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации  
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи  
Министерства культуры и архивов Иркутской области  
и Администрации города Иркутска

Основан в 1930 году  
Выходит 6 раз в год

## Содержание

### Проза

- Валерий Дмитриевский. За туманом. *Рассказ* . . . . . 4  
Константин Антонов. Плач по малолетке. *Повесть* . . . . . 21  
Василий Гинкулов. Вольному воля. *Рассказ* . . . . . 86  
Владимир Максимов. Кот в мешке. *Рассказ* . . . . . 99  
Иван Комлев. Оранжевый медведь. *Рассказы* . . . . . 118

### Поэзия

- Татьяна Суровцева. Над горькою окалиной земли... . . . . 14  
Пётр Реутский. Не надо, не кричите о России... . . . . 78  
Анатолий Змиевский. По краешку нежности . . . . . 95  
Борис Орлов. Мне вечно дорог не хватает... . . . . 112  
Светлана Анина. Забываю разлуки постылые... . . . . 129  
Михаил Базилевский. В тишине очнувшихся широт... . . . 159

### Жизнь литературы и жизнь в литературе

- Владимир Скиф. Байкальское Переделкино. *Главы из книги* . . . . . 136

### Вести с пленума Союза писателей России

- Василий Забелло. «Что толку плакать и тужить, Россию надо заслужить!» . . . . . 163  
Валерий Ганичев. Русский язык — мощнейшая скрепа для нашего государства . . . . . 165

### К 110-летию со дня рождения Анатолия Олюхона

- Андрей Ступко. А потом — забыли... . . . . 169  
Анатолий Олюхон. Дышит вечностью Байкал . . . . . 172

### Мастерская художественного очерка «Невыдуманная история»

- Оксана Горич. Черёмуховый пирог . . . . . 177  
Татьяна Суровцева. «Дорога, дорога, ты знаешь так много...» . . . . . 185

### Час поэзии

- Сергей Желтиков. Вероника Лузгина. Надежда Калиниченко. Константин Максимов.  
Лидия Волынец. Николай Березенков. Анна Желтоногова. Владимир Фролов. . . . . 188

## К 100-летию со дня рождения Алексея Зверева

<b>Надежда Тендитник.</b> Землепроходец . . . . .	201
<b>Валентина Семёнова.</b> Военные и мирные дали Алексея Зверева. К 100-летию со дня рождения писателя . . . . .	204

## К 400-летию Дома Романовых

<b>Адриан Топоров.</b> Августейший стихотворец . . . . .	207
<b>Константин Романов.</b> Несётся благовест... . . . .	210

## Из летописи Русского Зарубежья

<b>Валентина Семёнова.</b> К 20-летию Дней русской духовности и культуры «Сияние России» . . . . .	213
<b>Галина Кучина.</b> Дни русской культуры . . . . .	215

## К 110-летию со дня рождения Иосифа Уткина

<b>Александр Донских.</b> Не надо бы забывать: Иосиф Уткин — наш поэт . . . . .	223
<b>Иосиф Уткин.</b> Двадцатый . . . . .	227

## «Острый взгляд»

<b>Лина Иоффе.</b> На языке берёз... . . . .	233
<b>Сергей Корбут.</b> На тропе к истине . . . . .	236
<b>Валерий Дмитриевский.</b> Непутёвые заметы . . . . .	242
<b>Александр Донских.</b> Дорога судьбы Карлоса Баляна. . . . .	245
«Алфавит-13» . . . . .	247

## К 145-летию Максима Горького

<b>Максим Горький.</b> Пионерскому кружку 6 ФЗД в Иркутске . . . . .	248
«Лыженята» Отрывок из книги «База курносых» . . . . .	249
<b>Алла Каншина.</b> Что же такое «База курносых»? . . . . .	252

## Этим летом в Иркутске

<b>Валентина Семёнова.</b> Литературные вечера «Этим летом в Иркутске»-2013. Хроника . . . . .	255
--	-----

## Литературная хроника

Новый журнал «Мой север» . . . . .	260
Иркутск, театр + апрель . . . . .	260
Встреча с Ириной Богатырёвой . . . . .	261
«Сибирская сага». Открытие выставки Сергея Элояна . . . . .	262

## Наши юбиляры

<b>Александр Лаптев.</b> Семён Устинов — писатель и человек . . . . .	265
<b>Семён Устинов.</b> Наедине с заповедной природой. Автобиографический очерк . . . . .	267
Большая луна над Араколом. Художественный очерк . . . . .	271

Главный редактор **АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ**

Заведующий отделом поэзии **ВЛАДИМИР СКИФ**

Заведующий отделом прозы **АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ**

Заведующий отделом критики и публицистики **АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ**

### **СОВЕТ ЖУРНАЛА**

А.Г. Байбородин, Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,  
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, В.Г. Распутин, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.**

**Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.**

Адрес редакции: 664025. г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Тел.: 20-37-86. E-mail: laptev99@mail.ru, info@irdl.ru.  
(Рукописи по e-mail не принимаются, за исключением особо оговоренных случаев). Подписано в печать 31.07.2013.  
Формат 70х108/16. Усл.-печ. л. 22. Тираж 1 300.

Отпечатано в типографии «Форвард». 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.

**12 июня 2013 года В ДЕНЬ РОССИИ  
ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВИЧУ РАСПУТИНУ  
ВРУЧЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Премия присуждена за «выдающиеся достижения  
в области гуманитарной деятельности»**

В своём выступлении Президент РФ Владимир Владимирович Путин назвал романы и повести Валентина Распутина настоящим откровением о характере русского народа: «В своём творчестве он всегда поднимается до мировоззренческих вершин, возвращает истинный смысл таким понятиям, как Родина, память, совесть, милосердие, патриотизм. Его имя по праву стало символом ценностей, которые Валентин Григорьевич защищает всю свою жизнь». По словам Президента, у Распутина всегда побеждает мысль о верности своим корням, о силе душевной красоты, о значимости взаимопонимания между людьми, а такие качества важны в любом деле.



***РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СИБИРЬ» СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ,  
ЖЕЛАЕТ ЕМУ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДУШЕВНОЙ  
КРЕПОСТИ И НОВЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КНИГ!***



ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ



## За туманом

РАССКАЗ

Оказывается, сделать лыжи очень просто.

Нужно взять две доски-дюймовки метра по полтора длиной, лучше обрезные, чтобы не выравнивать топором вручную кромки. Хорошо бы ещё сухие — лыжи будут легче, но, в крайнем случае, и сырые пойдут. Стесать лишнюю толщину, не трогая среднюю часть, где будут крепления, и заострить носки. Затем поставить на печку ведро с водой, опустить доски заострёнными концами в воду и кипятить несколько часов. Древесина станет мягкой, и можно будет загнуть носки будущих лыж, зажав их между какими-нибудь упорами. Пусть высыхают и принимают нужную форму.

А доски у нас на участке всегда были. Мы ящики керновые из них делали, столы, скамейки, полочки разные — для образцов, для посуды, да и просто для уюта: книжки поставить, фотографии домашние, запас сигарет сложить. Доски шли и на ремонт жилых балков и буровых тепляков: починить крылечко, дверь уплотнить, прибить рубероид на крыше. Да мало ли куда могут доски понадобиться! И вообще полезно иметь у себя запас всего, что может для жизни пригодиться. Чтобы потом не засорять эфир истошными криками: везите нам то да везите нам это! А вертолётчики, оказывается, уже вылетали саннорму в этом месяце, а другого экипажа нет. Или погода установилась нелётная. И вот, скажем, нет какой-нибудь гайки для бульдозера — и

---

ДМИТРИЕВСКИЙ Валерий Викторович, прозаик, поэт. Родился в 1952 г. в Нижнем Новгороде. Окончил Иркутский политехнический институт. Служил в Пограничных войсках командиром взвода. Работает начальником геологического отряда в ОАО «Сосновгео». Автор книг стихотворений *«Вечерний этюд»*, *«Воспоминание о настоящем»*, *«Слепой дождь»*. Член Союза писателей России. Живёт в Ангарске.

всё, бурение остановилось. Нечем сделать площадку для следующей скважины, нечем перетащить буровую на новую точку. А это уже невыполнение плана и потеря заработка. И большой скандал вплоть до высокого начальства, потому что прирост запасов под угрозой... В общем, очень много проблем возникает, если нет под руками какой-то нужной мелочи. Поэтому в начале сезона завозили на участок всё, что могли предусмотреть. И не жалели для этого летнего времени. Потом всё равно дороже обойдётся. Летом, правда, когда стаявал снег и сходили наледь, месяц-полтора можно было проехать сюда на машинах. Тогда мы не так зависели от вертолётки и могли заказать всё, даже арбузы, которые привозили на БАМ в конце августа.

Когда носки лыж загнулись, пора заняться креплениями. Из лямок старого рюкзака или просто из брючного ремня нужно сделать проушины для ног и прикрепить их к лыжам. А чтобы ноги не выскальзывали при ходьбе, мы делали резиновые петли из кровоостанавливающих жгутов, имевшихся в каждом комплекте аптечки. Такие аптечки с лекарствами первой необходимости, бинтами, йодом и прочими лечебными средствами выдавали нам перед началом каждого сезона. А наши профсоюзные деятели выдавали ещё транзисторные приёмники (дабы мы ненароком не одичали в отрыве от цивилизации и были в курсе политических событий и мудрых решений партии и правительства), волейбольные мячи и сетки, а иногда и небольшие библиотечки. Но вот лыжи не выдавали. Не каждый сезон заканчивался в снегах, обычно в сентябре мы уже улетаем домой. А тут задержались с бурением, октябрь на подходе, а нам ещё работы недели на три. Приходится лыжи делать самим.

Ну вот, крепления готовы, теперь можно и передвигаться. Желательно, конечно, приделывать снизу к лыжам полоски камусов, чтобы легче идти в подъём. Но это уже роскошь, главное, чтобы лыжи держали на глубоком снегу и не проваливались. Мы же не охотники, которым без камусных лыж — никуда. Пойти на буровые, сходить пострелять куропаток поблизости, встретить вертолёт и утащить в лагерь то, что он привёз, — вот, пожалуй, и все походы. На буровые, конечно, быстро тропу натаптывали твёрдую и, пока не было снегопада, ходили на смену без всяких лыж. А потом опять начиналась пурга, тропу заметало, и снова приходилось вставать на лыжи.

А снег здесь, в горах, ложится рано. В середине сентября — уже глубокая зима, правда, ещё без сильных морозов. Вылетаешь на вертолётке в Нижнеангарск — а там всё зелёное, жёлтое, красное, бабье лето в разгаре, и Байкал так уютно синее. Ни выюг, ни туманов, ни снега — красота!

На лыжах можно и до трассы добраться при надобности, это всего пятнадцать километров через невысокий перевал и вниз, по долине Гоуджекита. Там уже строится будущий разъезд и есть вагончик, заменяющий вокзал. Настоящие поезда по БАМу ещё не ходят, но зато каждое утро на разъезде останавливается «бичевоз» — рабочий поезд из двух вагонов. На нём можно часа за два добраться до нашего посёлка. Если уж не попал на поезд, не проблема поймать попутку. На БАМе все подвозят всех, и никаких денег не берут. Не принято.

Короче, простейшие лыжи у нас научился делать каждый. Но не сразу мы постигли эту технологию, и поначалу вышагивали по снегу как есть, в сапогах да валенках, высоко поднимая ноги, будто цапли. Потом Леонидыч, буровой мастер, покумекал и сделал из дощечек снегоступы. Однако ходить в них было неудобно, и он стал экспериментировать с лыжами. Кто-то что-то стал подсказывать, и вот усилия коллективного разума увенчались успехом. Теперь в каждом балке имелись лыжи для выходов в свет.

*Я сижу в кабинете за письменным столом, пишу очередной проект поисковых работ. На подоконниках зеленеет помидорная рассада — наши геологини приспособились выращивать её здесь, потому что окна большие, во всю стену, солнца много. Закипает чайник. Конец марта, но на улице валит снег, ветрено, с крыши слетают*

*белые вихри. Хорошо смотреть на всё это из тепла, а тогда, тридцать лет назад, такие вихри каждый день тёрлись о наши лица, то румяня, то беля щёки, оседали на усах и бородах инеем и сосульками...*

А в лагере кончилась солярка. Без неё дрова совершенно не горят — ни на кухне, ни в балках, потому что на дрова идут свежие лиственницы, кое-где растущие здесь, на высоте полутора километров над уровнем моря. Искать среди них сухостой некогда, да и не везде можно подъехать к нему: мешают каменные россыпи. А солярка стоит копейки, и в порядке вещей разжигать с её помощью огонь и поддерживать горение. Ёмкости с соляркой находятся возле буровых, в километре от лагеря. У буровиков выходные — месяц кончается, табеля и наряды составлены, и люди несколько дней на работу не пойдут — будут отдыхать, кто как умеет. Впрочем, отдыхают всегда одинаково: Леонидыч загодя ставит бражку, и после закрытия нарядов начинается небольшой гудёж с расслаблением, именуемый в просторечье «выхлоп».

Я смотрел на это сквозь пальцы. Надо же буровикам отдохнуть — весь месяц вкалывали по двенадцать часов в день (что не допускается Трудовым кодексом, поэтому в табеле стояли вполне невинные «восьмёрки») да без выходных, потому что сдельно. Вылететь на отгулы в посёлок — это потерять неделю или больше: вертолёт не такси, не вызовешь точно к сроку, да и погода могла подвести. Поэтому отгуливали в лагере. Драк или скандалов почти не бывало — выпьют свою флягу за пару дней, песни погорланят, потом устроят постирушки, сбегают на охоту — и снова на месяц запрягаются. Конечно, браговарение считалось серьёзным преступлением, и если бы начальство узнало, мне был бы большой втык. Но сам я не рассказывал никому, а мужики, естественно, молчали тем более.

В общем, нужна солярка, а я уже несколько дней занимался бумажной работой. На бурении много всякой документации ведётся. Засиделся в своём «кубике», вот и решил прогуляться. Полчаса туда, столько же обратно — всего и делов.

Взял канистру, затолкал её в рюкзак, надел свои самодельные лыжи и пошёл. Начинались сумерки, но это не пугало, дорога была хорошо знакома. Какая уж там, впрочем, дорога — просто след от ножа бульдозера, немного сгладившего неровности. Сколько раз тут летом было хожено! Дороги, правда, сейчас не видно, замело, но отдельные деревья, ложбинки и пригорки давно примелькались, и по этим ориентирам, думал, и пойду. Однако вместе с сумерками, едва я отошёл от лагеря, упал туман, и всё вокруг сразу стало незнакомым. Иду вроде правильно, держа направление туда, где буровые, а местность не узнаю. Вот дерево какое-то кривое показалось — было оно тут раньше или нет? А вот россыпь валунов под снегом — где же это у нас такая россыпь была? Туман скрыл перспективу, и все приметы мои или пропали, или стали настолько по-другому выглядеть, что я перестал их опознавать. Да ладно, думаю, заблудиться здесь невозможно, впереди всё равно водораздел полукольцом, далеко не пустит. Только бы угадать направление на участок. Компас, конечно, не взял, ещё не хватало на буровые по компасу ходить. Да и не ожидал я, что туман свалится. Вышел минут десять назад — не было никакого тумана.

Так и иду, стараясь не отклоняться от прямой. Но настроение такое, немножко тревожное. Неприятно находиться в этом густом, мутном киселе, не зная, где что. Это как у Стругацких в одном романе, когда курсанты-выпускники сдают экзамен на космонавтов. Человека в скафандре забрасывают в пространство, подальше от обжитых трасс, и он там болтается сутки или двое в космическом вакууме, в невесомости, а вокруг на многие тысячи километров ни одной живой души, только звёзды с острыми холодными лучами. Даже Солнце там не ласковое, земное, а колючее, хищное, беспощадное. Конечно, он знает, что его потом найдут по пеленгу: в скафандре непрерывно работает передатчик. Но осознание своей одинокости в этом бесконечном, безжизнен-



ном мраке, полная потеря ощущения времени жутко давят на психику, и некоторые не выдерживают, впадают в истерику. Их тут же, как щенков за шкуру, вытаскивают из пространства. А меня в случае чего кто запеленгует?

Ладно, что лыжи держат на снегу хорошо и ноги в креплениях надёжно сидят. Вот только иду медленно, всё-таки чуть-чуть в подъём, ну и не по твёрдому. Сумерки загустели, но там где-то сверху луна висит, и немного подсвечивает туман. По крайней мере, не крошечная тьма. И довольно тепло, мороза большого нет. В голове назойливо вертится известная песенка — почти как раз в тему:

*Люди сосланы делами, люди едут за деньгами,  
убегают от обиды, от тоски.  
А я еду, а я еду за туманом,  
за мечтами и за запахом тайги...*

Туристы на вокзалах часто поют её под гитару. Но мы к туристам всегда относились чуть снисходительно... да нет, пожалуй, даже высокомерно. Занимаются баловством, в тайгу на прогулки ездят. Эх, ребятки, а вот бы вас сейчас сюда. Вы ехали за туманом? Ну вот вам туман. И что вы станете с ним делать? А я приехал как раз за деньгами, грубо говоря, потому что это моя работа. И нужен мне этот туман, а также запах тайги и всё прочее, как зубная боль на день рождения...

По моим ощущениям, буровые должны быть уже недалеко. Надо посматривать внимательнее, может, ёмкость покажется или тепляк, или насос под навесом на берегу ручья. Но впереди скоро угадывается что-то плоское и ровное, как каток. Ага, понятно! Это же озеро. Тут полно таких небольших ледниковых озёр. Парни, что здесь работали до нас, назвали его Тарбаганьим. Летом идёшь по усеянному плитчатыми обломками сланцев береговому склону, а тарбаганы встанут столбиками возле своих нор и резким тревожным свистом оповещают соседей, чтобы те не хлопали ушами, а то могут и подстрелить. Но всё равно настреляли мы их тут порядочно, главным образом, из-за меха на шапки. Хотя многие попутно и мясо их употребляли.

Теперь, когда я привязался к местности, стало спокойнее. Ушёл я намного правее, чем надо. Вот и строения показались из тумана, только это не буровые, а склад взрывчатки. Тут сторожка и сарайчики для хранения аммонита и детонаторов. Сейчас здесь пусто, взрывные дела мы закончили летом. Но можно зайти посидеть, отдохнуть, перекурить.

Хорошо, что я уткнулся в озеро, а то так и шёл бы до хребтика, опоясывающего нашу неглубокую котловину. И определился бы гораздо позднее и, главное, дальше от нужного места. А теперь надо опять правильно выбрать направление и не промахнуться мимо буровых. Отсюда до них всё тот же километр.

Вышел из сторожки, прикинул по памяти, где должны быть буровые, и двинулся. Какое-то время брёл вдоль берега озера, потом он отклонился вправо и потерялся, и везде была одна белая, чуть покатая равнина, даже без деревьев. Вокруг смутно видно метров на двадцать-тридцать, тут не сориентируешься. А всё-таки хорошо, что здесь котловина, и не очень большая: километра два-три в диаметре. Цепочка окружающих её гор не даст уйти далеко, если я проскочу мимо участка. С востока она, правда, открыта, там широкая долина, по которой бежит ручей, вытекающий из Тарбаганьего озера. В той стороне наш лагерь, и на обратном пути надо будет очень постараться, чтобы не пройти мимо, иначе, гуляя по этой долине, незаметно окажешься чёрт знает где. Но об этом я пока думать не хотел, да и сперва надо было ещё найти буровые.

Шёл вот так, искал в мутной, близкой полутьме зацепки для глаз и вспомнил, как однажды в маршруте так же в сумерках, но без тумана, хорошенько плутанули мы вдвоём со студентом из политеха. Вообще-то я любил в маршруты ходить один.

Тем более если местность гольцовая, леса почти нет, далеко видно во все стороны, заблудиться невозможно. Идешь, сам с собой рассуждаешь о том, что видишь, потом сел, записал, покурил, дальше отправился. Никто не стоит над душой, не отвлекает, не задаёт дурацких вопросов. А за студентом нужен глаз да глаз: чтобы не отставал, да замеры радиометром брал регулярно, да где-нибудь со скалы не сверзился бы, чего доброго. Того, что я сам могу сверзиться со скалы, я никогда не допускал. Хотя из-за таких вот случаев и были строго-настрого запрещены одиночные маршруты. А также из-за возможности наткнуться на волков там или медведей. Считалось, что если идут двое, то, по крайней мере, кто-то один спасётся, чтобы было о чём рассказывать другим. Только я всегда был уверен, что со мной никогда ничего не случится. Вот и предпочитал ходить один. Но практика есть практика, ведь и со мной когда-то тоже начальник партии возился, учил геологическому уму-разуму.

В тот раз мы с Витюлей уже ближе к вечеру спустились в какой-то распадок. Нашли интересные породы, долго лазили там вокруг да около, образцов да проб набрали. Потом подкрепились тем, что от обеда осталось, — банку сайры съели без хлеба да чаю сварили на костре, выпили по кружке. Костёр затоптали. Пока всё это делали, стало темнеть — осень уже начиналась. До лагеря оставалось километра три, и всего-то надо было перейти через невысокий хребтик и спуститься в долину. Взял я азимут, и мы пошли вверх. Камней-то набрали много, идём тяжело. Небо облачное, и луны нет. Иду и посвечиваю спичками на компас. Но тут стала заедать стрелка, и как я компас ни тряс, она не вертелась на иголке свободно, а значит, не показывала нужное направление. Это была обычная наша беда. Впрочем, я не очень расстроился, убрав компас в полевую сумку. Путь-то был известен: по прямой вверх да потом вниз. Идём, идём в глубоких сумерках, но вот склон становится пологим, значит, выходим на водораздел. Потом пошли по плоскотине, долго шли, а вот и начали спускаться — в долину, конечно. Только очертания гор на фоне потемневшего неба какие-то незнакомые. Ну, может, внимания раньше не обращал, мало ли что. Мы ведь поднялись, потом спустились, значит, правильно идём. И тут натыкаемся на кострище. Лежат почерневшие горелые ветки, таган валяется. Наверное, кто-нибудь из наших отдыхал, значит, мы почти дошли. Но чуть поодаль лежит... свеженькая банка из-под сайры, которой мы поужинали минут сорок назад.

Я даже не сразу понял, что произошло. Как эта банка оказалась здесь? Ведь она же осталась там, за хребтом. Шли всё время прямо, поднялись, вниз пошли... Наконец допетрил в чём дело. Перевал через хребет был очень пологим, и мы, всё время незаметно уходя в темноте в одну сторону, просто описали дугу, когда шли по плоскому водоразделу, и спускаться стали не по другую сторону хребта, а по тому же склону, по которому только что взойшли наверх. И пришли туда же, откуда и вышли, замкнув круг. Обычное, кстати, дело, если идёшь наугад, без ориентиров. И это ещё хорошо, что нам попала наша банка из-под сайры, иначе бы мы считали, что хребтик перевалили, стали бы здесь искать свой лагерь и, конечно, не нашли бы ничего и неизвестно куда упорол бы в наступившей темноте.

Как не хотелось опять тащиться с тяжёлыми рюкзаками в гору! Но куда деваться — двинулись, теперь уже осторожнее, всё время стараясь намечать прямой путь в створе различных ещё деревьев, валунов, выворотней. Пересекли ось хребта, пошли по склону вниз. И ещё издали увидели большой костёр в той стороне, где лагерь. Молодцы ребята, догадались. Но мы никому не стали рассказывать, что чуть не заблудились. Компас компасом, но и самим надо было в оба смотреть.

*А Витюля, Виктор Сергеевич, уже лет десять как на свете не живёт... Поездил с нами по северам, потом в городе нашёл хорошую работу, купил квартиру, завёл дачу. Одним очень жарким летом резко начали таять снега в горах, река, на которой стоял город, переполнилась, стала заливать пойму. А дача у него как раз в пойме была.*



*Взял он велосипед и поехал посмотреть, что там делается. Фазенду не затопило, но по пути пришлось переходить вброд пока ещё мелкую протоку, возникшую в сухой старице. Когда он поехал обратно, протока резко взбухла. Бывает, что накатывает с гор такой вот водяной вал. Ему бы переждать или поискать переправу в другом месте, а он сунулся с великом — глубоко. Сам выскочил, а велик как-то упустил. Полез обратно в воду его ловить, да не удержался, ухватило его течение, понесло вниз. Где-то он сумел уцепиться за кусты посреди протоки, но с берега никто его не видел, а если он кричал — голоса не слышали... Когда паводок кончился, он так и лежал под этими кустами, он просто замёрз: вода с гор ледяная. А всего-то надо было ему верёвку кинуть или шест какой-нибудь протянуть. Вот так судьба над нами издевается: в экспедициях ничего с ним не случилось, а здесь, вблизи города, рядом с людьми...*

Кажется, километр-то я уже и прошёл, где же буровые? Опять холодком по спине пробежало опасение, что закрутил в тумане куда-нибудь в сторону. Но вот передо мной показалась тёмная полоска воды. Ручей! Это может быть только ручей Весёлый, за которым и находится участок буровых работ. Хотя снегу выпало много, но зимние холода ещё не наступили, и ручей не собирался пока замерзнуть. Журчал себе потихоньку.

На карте он вообще-то не был подписан — слишком мал, чтобы название иметь. Для удобства ориентирования мы сами давали имена таким вот безымянным ручьям, озёрам, вершинам. И чувствовали себя первооткрывателями, стиравшими с карт белые пятна. Обычно большинство названий здесь были эвенкийские, которые существовали, наверное, ещё до Ермака, но когда на планшетах попадались озеро Мраморное, гора Мишкина Катущка, ручьи Семь Грехов, Аэлита и даже Бисмарк, явно это не тунгусы топонимикой занимались. Это наш брат геолог или топограф, или охотник из местных. И вот имя, данное кем-то из них географическому объекту, прижилось на карте. И сохранится там для будущих поколений. Поэтому всегда в глубине души жила надежда, что и твои фантазии будут увековечены. Название Весёлый ручью дал я, хотя ребята и подшучивали: «Чего же в нём такого весёлого — холодный, мелкий и рыбы нет».

Но как бы там ни было, а вот он — ручей Весёлый. Всё-таки я пришёл, куда хотел — в таком-то тумане, в сумерках. Вот слева в полумраке смутно обрисовалась дизельная на бревенчатых санях. Вот одна буровая, там, под горкой — другая. Третья где-то дальше, не видать. Заходить и перекуривать не буду, надо обратно двигать. Нашёл ёмкость, открутил кран, наполнил канистру, устроил её в рюкзаке. И отправился в лагерь.

Конечно, самое разумное было идти назад по своему же следу, который слабо, но различался в мутном свете. Но этот путь вдвое длиннее, а у меня теперь на плечах килограмм двадцать груза. С двух раз не заблудился, авось, и на третий пронесёт.

Туман теперь, конечно, до утра не рассеется. А вот луна, похоже, долго ещё будет светить. Хотя и не полнолуние, но всё-таки что-то видно прямо перед собой и чуть дальше, а потом взгляд начинает увязать в сером сумраке. Опять по зрительной памяти наметил себе направление. Иду и теперь глубже в снег проседаю, канистра давит. Вспомнил, что никому не сказал, куда пошёл и зачем. Балок мой в стороне стоит, буровики своими делами заняты. Да я ведь и не собирался долго путешествовать. Если бы не туман, я бы уже давно вернулся, ещё до полной темноты. А угадать направление в лагерь труднее, чем на участок. В ту сторону котловина открыта, в горы не упрёшься. Не уметелить бы неизвестно куда. Впрочем, известно: спускаясь по долине с плато, выйдешь к речке Грамне. А там никакого жилья нигде поблизости нет. Но до Грамны далеко, километров двадцать. О том, что плутаешь, догадаешься раньше. Только легче от этого не станет. Так что надо как-то умудриться не пройти мимо лагеря.

Ну что ж, риск для нас почти обычное дело. И это даже хорошо, что в наш просвещённый, цивилизованный, изнеженный век есть возможность пережить что-то

похожее на то, что испытывали первые землепроходцы — те, кто открывал нашу планету и в конечном итоге сделал её такой уютной для жизни. За исключением некоторых мест, в одном из которых мы сейчас и находимся. И я, конечно, врал, когда мысленно говорил воображаемым туристам, что не нужен мне этот ваш туман и прочие р-романтические прелести. Нужен, да ещё как! Без этого мир стал бы пресным, и профессия превратилась бы в скучное зарабатывание денег. Если возникают рискованные ситуации, конечно, и тревоги испытываешь, и страх иногда, и мёрзнешь, и из сил выбиваешься. Но когда всё заканчивается благополучно и оказываешься опять в тепле, среди людей, за кружкой горячего чаю или даже чего покрепче, жизнь становится такой замечательной! И к себе начинаешь относиться с уважением.

Вот и теперь я шёл в полном удовлетворении. Солярку я всё-таки несу, несмотря на глубокие снега, туман и темноту. И в лагерь обязательно попаду, не пройду мимо. И вообще — пьём за яростных, за непохожих и презревших грошевой уют! Всё будет нормально.

Собственно, и не туман это вокруг меня, а облака. Высота-то за полторы тысячи метров. Если в пасмурную погоду из долины Гоуджекита смотреть в сторону лагеря, горы наполовину скрыты облаками. Был у меня там один маршрут: идёшь вверх и понемногу приближаешься к висящей над тобой белой пелене. И постепенно, как самолёт на подъёме,ходишь в облачность и тут уж идёшь только «по приборам» — считаешь пары шагов да почти не опускаешь глаз с компаса. Отсчитал, записал наблюдения, повернул, прошёл до следующей точки. А на спуске — как при посадке на аэродром: вот сквозь туман начинает поблёскивать речка, потом различаешь валуны, кусты на берегу, а вот уже кромка косматой мути остаётся над головой и снова начинает превращаться в привычные облака. Снизу смотришь потом на них и думаешь, как Армстронг при взгляде с Земли на Луну: неужели я там был?

Ну что, вот уже и лагерь должен быть где-то недалеко. Знать бы где... По-прежнему вокруг ничего не видно. Стараюсь держаться прямого направления, но насколько это получается, трудно сказать. Наверное, надо начать делать боковые ходы в обе стороны, искать лагерь. И я сворачиваю налево под прямым углом. Пройду метров сто-двести и, если нет признаков жилья, вернусь обратно по своему следу, схожу в другую сторону. И так пока не наткнусь на лагерь...

Хоп! Одна нога вместе с лыжей провалилась вниз, и я упал на бок. Забрёл, видно, на крупный курумник и угодил в пустоту между валунами, засыпанную снегом. Надо как-то подниматься. Но ничего не получается: снег очень рыхлый, и как я ни упираюсь руками, они не находят опоры, проваливаются. Да ещё канистра с соляровкой к земле прижимает. Кое-как сбрасываю с плеч рюкзак, потом начинаю ползать, пытаюсь подгрести к какой-нибудь глыбе. Лыжи мешают, загребают снег. Он сыплется за шиворот, набивается в рукава, налипает на лицо. Минут пять проходит в такой борьбе, но этот холодный, равнодушный, мёртвый снег без особых усилий одерживает верх в нашем поединке. Он засасывает в себя, как тряпина. Он сыпучий, зернистый, он никак не уплотняется подо мной, и я просачиваюсь всё глубже в каменную воронку. Прodelывая ногами замысловатые упражнения и упираясь изо всех сил, мне всё-таки удаётся освободиться от резиновых петель и скинуть с ног так мешающие сейчас лыжи.

Надо отдохнуть. И собраться. Не доводить себя до паники. Вот угрозило же так попасть! Если бы знать, что лагерь близко, можно было бы и покричать. Но где он, я понятия не имею. С опозданием приходит мысль, что нужно было хотя бы пары считать, особенно на обратном пути. Точность, конечно, не ахти, тем более на лыжах, да и в направлении я мог ошибиться. Но всё-таки имел бы хоть какое-то определение местности. А сейчас я вроде того курсанта в космосе: болтаюсь в пространстве неизвестно где и никак не могу повлиять на своё положение. Тот хоть знал, что его в конце концов подберут. А я, даже если и вылезу из этой неожиданной ловушки (а я вылезу, конечно!), ещё должен буду как-то найти лагерь.

Полежу спокойно, отдышусь. А ведь было уже со мной что-то похожее в позапрошлом сезоне. Были и туман, и снег, и неизвестность, а потом всё закончилось хорошо. Если можно так сказать...

Тогда мы только начинали здесь разведку. И так же задержались с бурением до больших снегов. Из Нижнеангарска срочно затребовали материалы для какой-то комиссии. Погода была нелётная, и я собрал карты, разрезы, сложил всё в рюкзак и вышел вот на таких же самодельных лыжах на бамовский разъезд. Хотя уже начинался ноябрь, была хорошая оттепель. По такой погоде идти одно удовольствие. Солнце хоть и низкое, но яркое, небо голубое, горы в снегу, тишина. Белое безмолвие, как у Джека Лондона. Что такое пятнадцать километров на лыжах? Чепуха, максимум, три часа ходу. Да не бегом, а просто хорошим шагом, тем более что надо идти почти всё время вниз по левому борту долины Гоуджекита — от самых его верховий, где он вытекает из большого озера, до трассы БАМ. Под сплошными снежными наносами еле угадывалась дорога, которую мы проложили на участок летом. Только на врезках в склоны она чернела каменистыми откосами. Лыжи скользили хорошо, снег был рассыпчатый, сухой, скрипучий.

Впереди справа показалась свежая лыжня. Сашка Матвеев прошёл, наш бульдозерист. Я сам разрешил ему смотаться на пару дней домой, а вернуться мы должны были вместе на вертолёте. Отправился он из лагеря на полчаса раньше меня, захватив с собой «тозовку». Наверно, куропаток искал по склонам, потом свернул на дорогу. И я пошёл по его следу, надеясь догнать.

Чем ниже с гор я спускался, тем становилось теплее. И на лыжи начал налипать снег. Он уже не рассыпчатый был, а вязкий, липкий, хорошо прессовался и прочно приклеивался к лыжам снизу. Сделаешь пять-шесть шагов — и надо стучать каждой лыжиной об дерево, чтобы хоть немного стряхнуть прилепившуюся тяжесть. Какое уж там скольжение, просто идти и то невозможно. Это всё оттепель виновата. По морозцу так бы и шёл прогулочным шагом. А тут скорость у меня совсем упала.

Вот тебе и три часа ходу. За три часа я добрался только до притока Гоуджекита, который буровики прозвали Пьяным ключом. В июле-августе, когда на участок можно было проехать на «Уралах», после возвращения с «выхлопа» здесь обычно выпивалась последняя водка, захваченная с собой из посёлка. Дальше — всё, сухой закон на месяц. Отсюда до разъезда оставалось километров пять.

Воздух становился всё мутнее. Оттепель напоила его влагой, влага стала превращаться в туман. Не такой уж густой, но тоже изменивший окружающий пейзаж. С трудом я узнавал окрестные склоны, распадки. И тут заметил, что Сашкин след стал уходить правее, чем надо. В тумане запросто мог он спутать направление. Я-то прошёл здесь пешком не один раз, а он всё время на машине, да с возлияниями возле Пьяного ключа. Уйдёт не в ту степь, пока поймёт, что к чему, уже стемнеет... И я повернул по его следу. Надо догнать, пока не поздно.

А двигался так же, в час по чайной ложке. Всё время останавливался и стучал лыжами о стволы деревьев, избавляясь от налипающего снега. Вот у Сашки, вспомнил я, лыжи на камусах. Снег на них не налипает. Вряд ли я его догоню. Но он же уходит не в ту сторону! Как его остановить?

Надо выстрелить! Мой ТТ со мной, по пустым банкам, пока сезон не кончился, я патроны ещё не расстреливал. Вытащил пистолет. В тишине раздался сухой и резкий звук, но не раскатился эхом, как обычно, а увяз в тумане. Если Сашка ушёл далеко, мог и не услышать. Я снова выстрелил, потом всё-таки попробовал пойти по его лыжне — надо же что-то делать! Только от частых постукиваний да от тяжести влажного снега самодельные крепления стали отрываться от лыж. Как я ни пытался их наладить, они уже не держались. Плюнул я на это дело и забросил лыжи подальше в сугроб. Теперь надо было самому как-то выбираться. Тем более что уже и сумерки начинались.

Вправо уходил распадок, ведущий в долину Гоуджекита. Речка здесь текла с севера на юг почти по прямой, а потом резко поворачивала на восток. Там и настигала её трасса БАМ, туда мне и надо было. Если придерживаться дороги (которой я под снегом почти не видел), надо будет несколько раз спускаться в ложбины да подниматься на гивы, прежде чем выйдешь к карьере. Там добывали диорит и тут же дробили его до щебня, из которого делали бетон для бамовских строек. От карьера до разъезда уже совсем близко. А где-то в долине Гоуджекита склад взрывчатки для работ на карьере. Можно пройти к разъезду и мимо склада, так даже удобнее. И я, чтобы облегчить себе дорогу, свернул по распадку в долину.

Да, идти по снежной целине без лыж — это занятие для Геракла. Ноги проваливались до середины бедра, шагал, переволакивая ступни на уровне колен. Хорошо только, что туман исчез, когда я спустился почти на самое днище долины. Он остался наверху, превратился в облака, ведь разница между ними только в высоте расположения. И стало хоть видно, куда идти. Правда, незаметно стемнело, но темнота не такая уж чернильная, чтобы ничего не различать впереди. Стало веселее. Здесь-то плутать было негде, и хотя шёл я очень медленно, но сил будто даже прибавилось.

Залаяли собаки — это уже склад недалеко. Вот колючая проволока. На крылечко сторожки вышла какая-то фигура. Тётка с ружьём, при исполнении. Она имела насчёт меня страшные подозрения, и я это понимал, потому что кто же нормальный мог появиться со стороны гор по такому глубокому снегу да без лыж. Долго с ней объяснялся. Тётка напоследок спросила мою фамилию, чтобы потом — мало ли что! — было чем оправдываться, однако показала выход на укатанную дорогу. И я по этой дороге бистренько добрался до разъезда. По пути зашёл в вагончик-столовую возле дробилки и сказал, что денег у меня с собой нет, но дайте хотя бы чаю попить. И выпил два стакана, да ещё с сахаром. Это же БАМ! Здесь всё-таки есть братство, какое бывает между людьми, делающими общее трудное, но необходимое дело, и они всегда помогут другому, потому что вчера кто-то так же помог им, да и завтра поможет. Правда, тут тоже есть ханурики, которым только бы на машину заработать, а там хоть трава не расти. И глушат они рыбу в таёжных озёрах, и ягоду рвут до срока, и зверя бьют не в сезон. Дорвались до бесплатного. Но их мало, а большинство нормальные ребята и девчонки. И как не дать пару стаканов чаю такому славному парню, видно же, что издалека откуда-то, умаялся.

Переночевав на разъезде, утром я сел в «бичевоз» — так же без денег. Когда залетал на участок, не взял с собой ни копейки — зачем, если обратно будем возвращаться тоже на вертолёте? А магазинов в гольцах нет. Проводница с билетами, заглянув в купе, где я сидел один, увидела какого-то диковатого, бородатого парня в ватнике и даже подходить не стала: что, мол, с него возьмёшь. Из-за рубля страна не обеднеет, а человек, видно же, что трудовой, наш, ну пусть прокатится, если ему нужно.

Всё заканчивалось хорошо. И только мысль о том, что я бросил Сашку Матвеева одного в тайге, надоедливым комариком потихонечку пищала в ушах. Но, с другой стороны, что я мог сделать? Ходом я его не догнал бы без лыж, а выстрела он не слышал. Может, надо было запалить костёр побольше, вдруг бы он увидел? Но это вряд ли, тут же не степь, где всё просматривается на многие километры вокруг. Завернул за скалу — сзади уже ничего не видишь. Тем более — туман. Должен же он, думаю, сообразить в конце концов, что не туда пошёл. И я ждал, что он появится ночью на разъезде. Не пришёл — ну, может, попалась ему попутка и он уже, наверное, вперёд меня появился в посёлок...

Сверху кто-то задышал, появилась лохматая морда. Собака! А вот и вторая. Это же наши, из лагеря. Значит, он недалеко уже, и когда я возился тут в снегу, они услышали и прибежали посмотреть, кто тут шумит. А может, сами по себе решили побегать. Молодые, им бы всё играть да носиться, даже по такому глубокому снегу. Хотя они-то почти не проваливаются. Ах вы умницы мои, с вами я не пропаду!

А собаки лезут мордами прямо в лицо, радостно пыхтят, лижут лоб и щёки. Я хватаю одну из них за шею, она ложится рядом, потом снова вскакивает, пытается вырваться, но я крепко вцепился в её шерсть. Она барахтается в снегу, загребает его лапами, и я чувствую, что понемногу выдёргиваюсь из этой «чёрной дыры». Собаке уже не до игры, она хочет освободиться и выскочить, она начинает поскуливать. Вторая вьётся рядом, моя на неё огрызается и отчаянно перебирает лапами, меся снег. Видимо, ей удаётся случайно нащупать лапой край валуна, и сильным толчком она выбирается наверх, а я вываливаюсь за ней и только теперь отпускаю. Потом, зацепившись рукой за одну из глыб, вытаскиваю лыжи и рюкзак.

Всё! Поход мой беспримерный закончен. Теперь по собачьим следам я легко и нежно, как говорил Остап Бендер, попаду в лагерь. Затоплю печку, благо, есть теперь солярка, зажгу лампу керосиновую, напьюсь длинного чаю и лягу поверх спальника, впитывая тепло и покой...

Как тот курсант-межпланетник, которого по окончании срока испытания выловили из космоса. А он уже на Земле принимает ванну, пьёт какао и думает: завтра объявят результаты... Сдал — не сдал? Ну ведь было что-то во время этого испытания, за что теперь неловко и даже стыдно. И как посмотрят на это строгие экзаменаторы — зубры Внеземелья, прошедшие все околосолнечные орбиты и имеющие теперь право оценивать готовность к этому других? Вот угораздило же вспомнить про Сашку Матвеева! Сдал или не сдал?..

*Он нарисовался в посёлке спустя несколько дней, как раз к вертолёту, и рассказал мне, что пошёл по следу соболя. Знал почти наверняка, что не догонит без собаки, но уж больно азарт охотничий разыгрался. Пробежал несколько километров, пока соболев в горы не ушёл. Вернулся, в той же бамовской столовке встретил старого кореша, ну и загулял с ним. Поэтому и не было его на разъезде. Но этот разговор вопреки моим ожиданиям не принёс мне никакого облегчения. И я снова возвращался памятью в тот мутный день, уже переходящий в вечер, когда заметил, что Сашкина лыжня отвернула в сторону. Да и теперь возвращаюсь.*

*Я ведь не догадывался, что Сашка за соболев пошёл, я был уверен, что он потерял ориентировку. Логика в этом было мало — он же охотник и обычно на зиму уезжал в тайгу, у него был свой участок. Вряд ли мог он сбиться с пути. Но я же видел, что он уходит совсем не туда, куда надо, он мог заблудиться, замёрзнуть, пропасть с концами, и некогда было мне включать логику. Я сделал всё, что пришло тогда в голову, а сделать должен был больше. Может быть, надо было до последнего идти по его следу, ведь рано или поздно он остановился бы, когда понял, что идёт не туда. Может, он нуждался бы в моей помощи, может, ногу бы подвернул или на сучок в темноте напоролся. Может, он бы замёрз, а спичек с собой не оказалось, и я, как в давней песне, развёл бы ему костёр на снегу... Но я делеял свою усталость и оправдывал себя тем, что без лыж да по глубокому снегу никак не настиг бы человека на лыжах. И не то чтобы так уж спокойно, но всё же оставил его одного зимой в ночной тайге. Ни шест не протянул, ни верёвку не бросил. И не сказал никому, что он там остался. Предоставил ему самому выбираться, как знает. А он пошёл один за соболев без всякой надежды догнать его. И не догнал. Но его не жжёт сознание того, что было сделано что-то не так. И дело не в том, что он не спасать этого соболя шёл, а наоборот. Вовсе не в этом дело...*

*И пусть он совершенно искренне считал, что всё было нормально. И в разговоре нашем ни слова упрёка не сказал, что вот я должен был идти за ним вдогонку, да не пошёл. Он-то знал, что не плутал. А я не знал.*

Кто мне ответит?





ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА



## Над горькою окалиной земли...

\* \* \*

Мне сад жасминовый приснился,  
Сияющий из тьмы времен...  
Он ароматами пролился  
В неповторимый этот сон.

Вокруг невидимой ограды  
Туманы звёздные текли,  
И звуки суетного ада  
Не долетали к нам с земли.

В иной реальности остались  
И стали давним сном во сне  
Крикливых птиц густые стаи,  
В земном кружащие огне.

А здесь — ни сумерек, ни солнца,  
В себе себя таящий свет,  
Как музыка, звучит и льётся,  
Не зная дней, не помня лет...

Мы, заблудившиеся дети,  
Вечноцветущим садом шли,  
И наши души, словно ветви,  
Цветами белыми цвели.

Истлела нить воспоминаний...  
Легки для нас тропинки сна.  
Жасмина душное дыхание —  
Любви немая глубина.

---

СУРОВЦЕВА Татьяна Николаевна, поэтесса, переводчица (род. в 1946 г. на руднике Хапчеранга, в Забайкалье). Автор книг: *«Остров веры»* (Иркутск, 1982); *«Северная песня»* (М., 1985); *«Крыло судьбы»* (Иркутск, 1988); *«Снежные птицы»* (Иркутск, 1999); *«Стихи»* (Иркутск, 2007); *«Чудесные сказки»*: пер. с фр. сказок М.-Л. Вэр (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России.

## Облепиха

Тучи блуждают по синему пастбищу неба.  
Воздух впоен тишиною на всю высоту...  
В листьях гнездится предчувствие ветра и снега,  
И поглупевшие бабочки, кажется, спят на лету.

Ветки тугие склонили к земле облепиха —  
Рыжая дева в объятьях сибирских садов.  
Каждую веточку плотным венцом облепила  
Дерзкая ягода — поздняя наша любовь.

Льётся и льётся прощальная музыка лета...  
Плавится ягода, солнцем пробита насквозь.  
Выйди, любимый! Нас ждёт золотая карета.  
В каменном городе сердце своё не морозь.

Нет, не заменят нам вздорные теле-виденья  
Животворящего духа земли и травы:  
Вытравят память, лишат изумрудного зренья,  
Дайте им волю — оставят и без головы!

Выйди, замри и прислушайся так, на пороге:  
Чайки, причудливо рея, летят на Байкал.  
Стебли травы оплетут нам усталые ноги...  
В землю вращём мы, как эти берёзы у скал.

## Лето господне (2001–е)

Не кончается позднее лето:  
День теплом незаконным дарит...  
Пробираясь сквозь морок рассвета,  
Солнце дикой гвоздикой горит.

Пьют туман огнелистые клёны,  
Искры сыплются с тонких берёз,  
И плывут по реке изумлённой  
Купола, золотые насквозь!

В друзьях инея вспыхнула зелень,  
И разнежился грубый бурьян...  
Ах, какое в природе везенье!  
И, наверное, чуточку пьян

Добрый житель страны незаконной,  
Где пора бы нам сгинуть давно,  
Но для нас этот кубок бездонный,  
Это позднего лета вино.

Воздух тёпл, как творения глина —  
Так и хочется мир воссоздать  
Совершенным!..  
Вот чудо — рябина,  
И поёт упоительно Нина —  
Каждый звук — благодать, благодать!

## Журавли

Над горькою окалиной земли  
На Благовест летели журавли.  
Над мокрыми развалинами снега,  
Над кладбищем истерзанной тайги —  
Им дал Господь шестое чувство неба  
На долгий путь средь ночи и пурги.  
Летели длиннокрылые, летели,  
В фарфоровые дудочки дудели,  
Прозрачно, переливчато звеня,  
И на балкон вдруг вызвали меня!  
Их вёл вожак, родному небу рад,  
Стремительно снижаясь на закат:  
В Сибири нам не до весенних нег,  
Но на болотах стаю ждал ночлег.

И рассиялось солнце на закате,  
И на сугробах вербы расцвели —  
Как будто мир преодолел заклетье,

Когда в Сибирь вернулись журавли.  
Вам встретить грудью холода и вьюги,  
Но вы забыли о беспечном юге,  
Родные птицы — вы примчались к нам,  
К растерянным в ненастье городам.  
И к деревьям, заброшенным и жалким —  
Обитатели калек и стариков,  
Вернувшихся опять к сохе и прялке...  
Не греет нищих обветшалый кров.

Но слышались вдали колокола,  
Пока шумели сильные крыла!  
Я нежной песни слушала мотив —  
Как все, как все, кто в этом мире жив.  
Кто молится на ясный образ неба,  
Взгляд отрывая от земли и хлеба...  
Мне слышался России чудный зов  
Под благовест живых колоколов.

## Бабочка в Останкино

Как попала она в коридор общежития?  
И лежит на полу, на седьмом этаже,  
В сарафанчике рваном — какое смешное событие!  
В сарафанчике бледном,  
В смертельной истоме уже.  
Там, внизу, под окном лихорадит рябины и клёны,  
И Останкинской башни в туманах  
Безлиственный ствол.  
Бедный гений лесов!  
Уплывает твой остров зелёный  
В море зимнего морока,  
В долгих дождей производ.  
Бедный гений лесов, коротка твоя песня простая  
В городском лесопарке, вблизи от гремучих колёс.  
Обессилен твой дух, но горящую искрой взлетает.  
И глазам так тепло — от лучей сквозь туман  
И от слёз.

\* \* \*

Не успел Новый год оглянуться назад —  
На заснеженный город,  
А уже — весь в листве и в черёмухе — сад  
Ветер треплет за ворот,  
И летит над землёй лепестковая соль —  
Ароматное диво,  
И опять нам милее земная юдоль:  
Так тепло и красиво.  
Заблудился трамвай и кружит, как судьба,  
Над цветочной порошею...

Отогрелась душой, не спешит голытьба,  
Уезжая из прошлого.  
Нет работы, нет денег, и некуда нам  
В этот час торопиться,  
Но зато мы сегодня пойдём по цветам,  
Станут добрыми лица.  
Будет патиной памяти прожитый век  
Покрываться, светлеть,  
И уйдёт навсегда, как родной человек,  
По цветущей аллее...

## Мастерская весны

Дорога черна, и весенняя грязь  
Весь быт городской обнажила безбожно;  
И веток оттаявших бурая вязь  
О чём-то шумит, но понять невозможно...  
И птиц ещё мало в продрогших лесах,  
И небо белёсое сыплет снежинки,  
Но день тяжелей на небесных весах,  
А ночь выставляет луны половинку.

Как скулы, не бритые с прошлой весны,  
Рыжеют травой косогоры крутые,  
И жёлтый автобус бежит с крутизны —  
В нём люди сидят и глядят как святые.

Опасные воды проносит река,  
И лёд ненадёжен, как тающий сахар,  
Но рыбы трепещут в руках рыбака,  
А сердце рыбацье не ведает страха.

Природа сейчас — мастерская, и в ней  
Творится весны долгожданное чудо:  
Луна всё круглее, а утро — синей,  
И жизнь нарождается вновь... ниоткуда.  
Мы ждём — ожиданье подобно любви,  
В автобусах пыльных теряем перчатки...  
Улыбки случайно снуют меж людьми,  
А солнце горит золотою печаткой.

## На Ангаре затмение солнца (Остров Юность)

В тот день всё небо обложило  
блаженной данью мокрых туч;  
берёзам головы вскружило,  
и стал шиповник не колюч.

Весь остров запахом полынным  
был полон; день был полонён  
парным теплом, дождём блинным,  
таким живым, густым и длинным,  
как хорошо возросший лён.

Река серебряными косами  
перевивала острова,  
а выше туч,  
в бездушном космосе,  
серп солнца виден был едва...

Молчали певчие, и вороны  
не вскрикнули вполопутьмах.  
Не пала тень на нашу сторону:  
всё было тихо на холмах.

## Элегия

Не уходи. Пусть утро в окнах  
Седой маячит головой,  
Блестит асфальт, и тополь мокнет,  
Дрожащей светится листвою.  
Пока шампанское в бокале  
Холодным искрится огнём,  
Пока слова не перестали  
Быть чудодейственней, чем днём, —  
Не уходи. Ведь нам не часто  
Приносит время радость встреч.  
Звучит над городом молчащим  
Дождинок сбивчивая речь.

Грохочут в трубах водопады,  
Покорно падает вода,  
Мерцают капли, как разряды,  
На оголённых проводах...  
Прекрасен мир дождливой ночи:  
Он отрешён от суеты  
И полон запахов и сочной  
И полнозвучной красоты!  
Часы глубокого покоя,  
Черты любимого лица...  
И жизнь бессонною рекою  
Течёт — до звёздного венца.

## 6 июня

Томителен июнь, и сердце так болит:  
Найдутся ли слова оплакивать потерю?  
Сухой и жаркий ток  
прогретых солнцем плит  
Есть в этом мире смерть,  
но я в неё не верю.

Сегодня? Нет и нет.  
Сегодня день звенит  
И катится к ручью малиновым колечком,  
И жаворонок вьёт серебряную нить,  
И к нам благоволит недремлющая вечность...

Но столько лет прошло, а он не приходил,  
И узкою рукой, и смуглыми перстами  
Свечи не зажигал, страниц не ворошил,  
В ночной певучий сад не растворял он ставень.

А десять или сто — не всё ль теперь равно?  
Приравнено к нулю — горячее, живое.  
Как будто бы реки вдруг обнажилось дно,  
Но вертится земля в снегах своих и в зное!

И снова занесёт её на те круги,  
Где станет больше звёзд, чем солнечного света,  
А в рощах полетят — пленительно легки —  
Бесценные стихи лицейского Поэта.

## Прощание с друзьями

Заглохшего сада сиреневый вздох  
                                овеял округу.  
Тяжелых и нежных кистей холодок —  
                                печальному другу.  
Все блики, все трепеты, все соловьи —  
                                сокровища мая!  
О прошлом и вечном со мной говори,  
                                я всё понимаю.

О прошлом и вечном: о звёздной пылице  
                                и странниках мира...  
Печать вдохновенья лежит на лице,  
                                обросшем и милым.

Мы Время поймали в словесную сеть  
и блеск от кометы.  
Но вышла разлука — и надо лететь  
на стороны света.

Что ждёт нас сегодня в родимой стране,  
и будем ли живы?  
Пусть нас хранит на высокой волне  
славянская Жива.

Прощай — но незримо со мною лети  
за кромку рассвета.  
Мы — странники мира. Мы вечно в пути.  
Мы просто — поэты.



\* \* \*

Как эта улица вдруг посветлела  
после недужной, недружной весны!  
Выплыла яблоня облаком белым  
из городской глубины.

Выросла улица, стройно-поката,  
с чёрно-блестящим пробором шоссе,  
и за пятнадцать минут до заката  
солнце блистает в холодной росе.

Пряная капля листвяного клея  
с тоненькой ветки стекает, дрожа.  
Вот я живу, ни о чём не жалея,  
лишь обольщений боится душа.

Но, отрезвлённая веком безбожным,  
ясно провидит мгновенную суть  
жизни, летящей своим бездорожьем,  
резким пунктиром отмеченный путь.

Вот я шагаю асфальтовой твердью —  
Чёрною Речкой, бегущей в закат,  
не помышляя о славе иль смерти,  
тем лишь богата, чем каждый богат.

Вот я познала — к добру или к худу —  
дружбу врагов и враждебность друзей...  
Но и теперь ещё верю, как в чудо,  
в необходимость высоких страстей!

Вижу, как пламенем ясным объято,  
небо в надземной горит полосе,  
и за пятнадцать минут до заката  
солнце блистает в холодной росе.

\* \* \*

Ночью ветер шумел во дворе,  
Незакрытыми ставнями хлопал.  
Шевелился и вздрагивал тополь —  
Незаметно кончался апрель.

И покуда подтаивал лёд,  
Стали ветки длиннее и гибче,  
А в горячем, сыпучем Египте  
Журавли торопились в отлёт.

Было холодно в доме моём,  
Он болел деревянной тоскою.  
Только месяц был странно спокоен,  
Погружённый в ночной водоём.

Но от этого месяца мгла  
Лишь чернее была за окошком.  
И холодная, злая дорожка  
От него на полу пролегла.

Никогда по дорожке такой  
Не придут ни друзья, ни любимый...  
Жизнь, казалось, пронесётся мимо,  
Как идут поезда за рекой.

Но едва пробивался рассвет  
Сквозь тупую бессонницу ночи,  
Я сама убеждалась воочию:  
На земле одиночества нет.

Вот и птица с куста сорвалась,  
И округлая капля — блеснула...  
Наконец! Я спокойно уснула,  
Ощувив теплокровную связь

С этой птицею, с этим кустом,  
Всем, что дышит, цветёт и искрится...  
Я спала — и знакомые лица  
На меня наплывали сквозь сон.

В слепую ночь Байкала посреди  
Озёрных духов ты не разбуди.

Чтоб не восстали из холодных вод,  
Судёнышко не взяли в оборот,

Не захлестнули б чёрною волной,  
Не забросали дробью ледяной.

Четвёртый час мы бьёмся о туман.  
Стоит туман, как белый истукан:

Над мёртвой зыбью руки распростёр...  
Невольно замер в рубке разговор.

Всё тяжелей дыханье водных масс...  
Мы здесь, как цепью, скованы сейчас

Единой волей, чаяньем одним.  
Спешит кораблик к огонькам родным,

К родной душе торопится душа,  
Седым туманом вечности дыша.

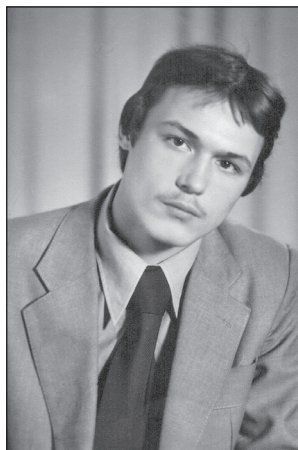
Озёрных духов в эту злую ночь  
Я вызываю — я прошу помочь.

Лучом звезды, что глазу не видна,  
Родную душу высветить до дна.

Лучом любви хочу коснуться ран.  
Да не разбиться б о слепой туман!



КОНСТАНТИН АНТОНОВ



## Плач по малолетке

ПОВЕСТЬ

Во дворе школы гудела и бурлила толпа празднично настроенных старшеклассников. На традиционный танцевальный вечер, посвящённый началу нового учебного года, стремились попасть не только нынешние ученики, но и молодёжь, уже окончившая это заведение. Ждали прибытия музыкантов. Ребят из этой же школы, сумевших организовать свой вокально-инструментальный ансамбль и пользующихся вследствие этого огромной популярностью среди сверстников, ибо играли и пели ребята очень даже неплохо. Конец семидесятых — эта продолжающаяся в мире «шоу-бизнеса» эпоха поп- и рок-групп, сводила с ума «балдеющую» молодёжь и просто вынуждала подростков брать в руки гитары. Так случилось, что четверо десятиклассников вдруг в одночасье стали знаменитыми. Правда, их популярность простиралась не далее городского уровня, когда ребята представляли свою школу на различных смотрах или конкурсах художественной самодеятельности. Подобных ансамблей было множество, но отсутствие музыкальных инструментов и соответствующей аппаратуры, бывших огромным и дорогостоящим дефицитом, делало выход их в свет попросту невозможным. Но вот этим ребятам несказанно повезло. Шефствующий над их школой завод радиодеталей предоставил необходимые инструменты, а огромное желание блистать

---

АНТОНОВ Константин Павлович. Родился 16 мая 1963 г. в Красноярске. Уже в школе проявились его наклонности к литературе. Потом была служба в Вооружённых силах СССР, после которой поселился в Железногорске, работал на Коршуновском горнообогатительном комбинате. Последние годы жил в Иркутске. Умер 22 сентября 2009 г. Ранее не публиковался.

на сцене, терпение и любовь к творчеству помогли им стать теми, кем они и стали. Единственной рок-группой своего района, которая была главным действующим лицом не только на школьных вечерах, но и на летней танцевальной площадке при заводском клубе. Кроме того их частенько приглашали на обслуживание свадеб и юбилеев, где, несмотря на яростный протест педагогов и родителей, они могли неплохо подзаработать и иметь то, чего не имело подавляющее большинство сверстников.

Наконец восторженные крики возвестили о прибытии музыкантов. Заводской автобус подкатил почти вплотную к дверям. Из открывшихся створок выскочил длинноволосый, с раскрасневшимся от возбуждения лицом Никита Мотылёв.

— Привет всем! — крикнул он срывающимся юношеским тенорком и тут же принялся руководить переноской аппаратуры. Желающих помочь в такой момент было более чем достаточно и поэтому вся эта зачехлённая «кухня», как именовали её сами музыканты, в один миг оказалась в актовом зале и была водворена на сцену. Сам Никита любил эту подготовку к предстоящему выступлению, пожалуй, даже больше, чем само музицирование. Ему нравилось расчехлять свои пока ещё находящиеся отдельно друг от друга барабаны, отливающие золотыми бликами «тарелки» и составлять из них то, что и называется ударной установкой. Никита даже вопреки неписаным правилам ставил свой сверкающий «агрегат» не где-нибудь позади или сбоку, а именно в центре сцены.

Низкие звуки бас-гитары, пронзительные и режущие слух трели «соло», мягкие и глубокие аккорды электрооргана, проверка микрофонов, различных шумовых и световых эффектов — всё это завораживало, наполняло ощущением чего-то необычного, заставляло думать о себе как о личности, стоящей на ступень выше находящихся в зале почитателей.

Правда, всепоглощающее увлечение музыкой, затмевающее собой почти всё остальное, не могло не сказываться на школьной успеваемости, и если гуманитарные предметы давались Никите легко, благодаря его начитанности, то уж в точных науках он был просто полнейшим профаном. Впрочем, это его не особо тревожило, он был одним из тех, кто тащил на себе всю художественную самостоятельность школы, и удовлетворительные оценки были ему изначально обеспечены. Собственно к глубоким знаниям Никита и не стремился, наивно полагая, что важнее его гитар и барабанов ничего в жизни быть не может. Почему-то из их группы только братьям Ивлевым — клавишнику Юрке и бас-гитаристу Игорю — удавалось вполне успешно сочетать учёбу с занятиями музыкой. Никита же и Валерка Гуров относились к учёбе весьма легкомысленно, и если первому мешала элементарная лень разбираться в каких-то там алгебраических функциях и геометрических теоремах, то второй был попросту туповат.

Несмотря на то, что эти четверо как бы составляли одно целое, жизнь их вне сцены протекала совершенно по-разному. Братья воспитывались в семье несколько патриархальной, где свято соблюдались и чтились семейные традиции, и послушание и уважение к родителям являлись для двойняшек законом, поэтому-то им иногда и приходилось скрывать от родственников свои похождения. Юрка наряду с общеобразовательной школой успешно заканчивал ещё и школу музыкальную, а Игорь после окончания десятилетки готовился поступать в училище искусств. В семье Валерки почитали и уважали только денежные купюры, и этот своеобразный культ, естественно, наложил на него свой отпечаток. Валерка был невероятно скуп. Причём скуп не только по отношению к своим друзьям, но и к самому себе, называя откровенную жадность свою — элементарной бережливостью. Но то, что Валерка был классным гитаристом, заставляло смотреть на подобные характеристики весьма снисходительно. Что же касается самого Никиты, то не имеющий отца и воспитываемый только матерью, он, несмотря на свою популярность, оставался обыкновенным шестнадцатилетним пацаном, который как губка впитывал в себя не только «разумное, доброе,

вечное», но и все присущие улице привычки и наклонности. Поначалу он даже чуть ли не кулаками заставлял теперешних своих «коллег» посещать репетиции, и те поддавались ему с большой неохотой, пока в конце концов и сами этим не увлеклись. Вместе с тем Никита всерьёз воспринимал идеологическую пропаганду того времени и даже как-то был выбран комсоргом класса. Правда, в этой должности пробыл недолго. Наряду с этим он совершенно свободно чувствовал себя и в иной среде — в среде уличной шпаны, в среде выходцев из так называемых неблагополучных семей. Втайне от матери не прочь был побаловаться лёгким «портвешком», потискать девчонок в подъезде, разодраться из-за них же с кем-нибудь из конкурентов... В общем, все «ансамблисты», как их тогда называли, были обычными десятиклассниками и в повседневной жизни мало чем отличались от остальных. Кроме имён, данных им при рождении, они, как и многие, имели ещё и прозвища, на которые запросто отзывались. Никиту называли Мотылём, в соответствии с его фамилией, Валерка из этих же соображений именовался Гурой, и только братьев Ивлевых, с их несколько необычной фамилией, звали собственными именами, поскольку невозможно дать одинаковые прозвища сразу двоим. Почти все свои концерты они начинали мелодией из очень популярной телевизионной передачи «Кинопанорама». Эта композиция была как бы их визитной карточкой. Затем шла накатанная уже программа, где почти всегда присутствовал элемент исполнения Никитой соло на барабанах, который вызывал горячее одобрение и бурный восторг публики. И никак не мог предположить Никита, что будучи уже учеником выпускного десятого класса, он столкнётся с тем, что изменит его жизнь так резко и круто, и все задумки его и мечты полетят в тартарары.

Однажды, выйдя во двор, Никита столкнулся с приятелем, живущим по соседству. Женька Бовин был года на два старше Никиты. Нигде не учился и не работал, бесконечно шлялся по улице в надежде перехватить где-нибудь денюжку на пиво и, как правило, к вечеру накачивался изрядно. У него имелись ещё трое старших братьев, каждый из которых, не успев освободиться из мест не столь отдалённых, тут же снова попадал за забор. Странно, но Женьку почему-то судьба щадила, и, кроме приводов в милицию за мелкие правонарушения, он с представителями силовых структур дел не имел.

— Здорово, Мотыль! — Женька протянул Никите ладонь. — Пошли пивком побалуемся. Пиво свежее привезли, я видел. Есть мелочь? — тут же поинтересовался он.

Никита опустил руку в карман куртки, где, как он помнил, должен был находиться неистраченный в школьном буфете рубль.

— Пошли! — согласился он.

Никита закурил сигарету и отправился следом за Женькой к пивной, которая размещалась в торце жилого дома, стоящего неподалёку. Пивная, или как её называли в народе «Пивнушка», была любимым местом сбора любителей угоститься популярным напитком. Уж сколько жалоб сваливалось на голову районной администрации от живущих по соседству пенсионеров, один Бог ведает. Но несмотря на протесты большинства жителей, она продолжала успешно процветать и здравствовать, ублажая страждущих хмельной пенной влагой. Ещё не доходя до пивной, Никита увидел группу знакомых парней. Они поздоровались, и Никита, следуя неписаным правилам, тут же выудил из кармана мятый рубль.

— Кто на кассе? — поинтересовался он.

— Давай, Мотыль, сколько у тебя? — руку протянул паренёк одного с Никитой возраста по прозвищу Первуша, недавний пэтэушник, ещё не успевший устроиться на работу.

— Короче! На четыре банки есть! — возвестил он, пересчитав мелочь и тщательно разглаженные бумажки. Кто-то протянул ему десятилитровую алюминиевую канистру, и он тут же исчез в дверях.



Пили возле ближайших, уже почти облетевших тополей, по очереди прикладываясь к канистре. Никита предполагал, что одной канистрой дело не закончится. Так было всегда. Стоило только начать, как тут же возникала потребность продолжить. Деньги тогда появлялись вроде бы и ниоткуда. Спрашивали у знакомых, трясли входящих в пивнушку мужиков, и тем было проще отдать несколько монет, чем связываться с агрессивно настроенными подростками. Никита и так нетвёрдо держался на ногах, и пиво в него уже и не лезло, но он упрямо старался не отставать от остальных, гонявших канистру по кругу. Как почти всегда бывало в таких случаях, откуда-то появилась гитара, и её тут же сунули ему в руки.

— Давай, маэстро, покажи класс! — воскликнул Женька.

— Мотыль! Давай что-нибудь из Новикова!

— Лучше из Гулько! — со всех сторон на Никиту сыпались заказы. Никита знал и в общем-то любил эти полублатные эмигрантские песни и исполнял их с удовольствием. Но, как бы его ни просили, он никогда и нигде не исполнял песен Владимира Высоцкого. Почему — он не считал нужным объяснять. Высоцкий был в его понимании не просто поющим поэтом. Он был чем-то большим. Каким-то необыкновенным глубоким смыслом были проникнуты его песни, и Никита искренне считал, что исполнение сочинений Владимира Семёновича кем бы то ни было — просто кощунство. Пальцы уже плохо слушались Никиту. всё чаще он путал аккорды, хотя никто и не обращал на это внимания. Популярная в любой пьяной компании «Таганка», в которой уже раз сменялась с не менее популярным новиковским «Извозчиком». Песни Барыкина — песнями Макаревича, а канистра всё ходила по кругу, и за ней неизвестно откуда появившаяся трёхлитровая стеклянная банка. Никита всё чаще отрывался от гитары, что бы сделать глоток-другой, и руки его становились всё непослушнее.

К уже изрядно захмелевшим приятелям присоединился ещё один страждущий — Юрка Вологдин, прославившийся в районе своим безудержным нравом и отчаянной дерзостью, которая почти всегда приводила к различным неприятностям. Он присел рядом с Никитой, тронул его за плечо и показал выглядывающее из внутреннего кармана куртки горлышко водочной бутылки. Этот его жест заметил и Женька.

— Во ништяк! — воскликнул он. Отыскал взглядом и тут отобрал у кого-то банку, в которой оставалось ещё литра полтора жидкости.

— Давай сюда, Юрок, — обратился он к Вологдину. — Щас «ерша» зарядим! Убойный коктейль должен быть!

Женька откупорил бутылку и вылил её содержимое в банку.

— Ты это... — протянул кто-то, — из банки «ёрш» стрёмно пить. Не покатит — стакан надо!

— Ну так найди, умник! — огрызнулся Женька — Вон в кустах пошарь, найдёшь может...

Стакан, конечно же, нашёлся. Место это было весьма удобным для подобного рода мероприятий и поэтому дежурная ёмкость отыскалась легко.

— Давай, маэстро, ты первый! — Женька протянул стакан Никите.

Тот понимал, что дома его ждёт невероятный скандал, но ему в этот момент было всё равно. Он залпом заглотил содержимое стакана и тут же закурил. Сигарета для него была вроде закуски. Дальнейшие события Никита почти не воспринимал. По какой причине и с кем завязалась драка? Кто был зачинщиком? Куда исчезло благодушие на лицах приятелей и зачем Никите понадобилось влезать в эту кутерьму? Уже много позже понял он, что не поучаствовать в драке просто не мог, рискуя в этом случае потерять уважение дворовой «элиты». И сделал он это скорее инстинктивно, чем осознанно. Вокруг него мелькали руки и ноги. Кто-то, изображая мастера восточных единоборств, пытался в прыжке дотянуться до челюсти ближнего. Уже кого-то, лежащего на земле, беспощадно молотили ногами. Никиту сначала сильно толкнули сзади,

отчего он чуть не потерял равновесие, но следующий удар в голову, прилетевший откуда-то сбоку, заставил его уткнуться носом в жухлую траву.

«А-а-а!» — в мгновенно вспыхнувшей ярости заорал Никита, вскакивая на ноги. Он ткнул кулаком в чью-то незнакомую физиономию и тут же метнулся в сторону. Краем глаза заметил Женьку, который в этот момент, ухватив гитару за гриф, треснул ею кого-то по спине, отчего гитара разлетелась вдребезги. А затем, вращая обломками инструмента, Женька стал наносить ими удары направо и налево, не разбирая даже, кто перед ним находится в данный момент. В следующее мгновение Никита был уже в самой гуще боя. Он даже успел ещё раз зацепить кого-то локтем по голове, но поскользнулся о торчащий из земли древесный корень и опять оказался на траве, подняться с которой уже не смог. Удар ногой в ухо окончательно выбил из него способность на какое-либо действие.

Баталия эта продолжалась недолго. В возникшей неразберихе, которая всегда сопутствует групповому побоищу, никто не заметил милицейского уазика и подкатившего следом за ним микроавтобуса с дружинниками, но внезапно взывавшая сирена заставила всех дерущихся броситься врассыпную. Никита всё же смог подняться с земли. Он попытался оглядеться, но так и не успел ничего понять. Сильные руки схватили его за локти с двух сторон, затем, протаскив несколько метров, зашвырнули в автобус. Вслед за ним кого-то ещё, и только в отделении милиции, куда их немедленно доставили, Никита немного пришёл в себя. Это был обычный райотдел со всеми присущими ему атрибутами. Узкий коридор упирался в наполовину застеклённый барьер с небольшим окном посередине, где большими буквами было написано «Дежурная часть». Внутри, напротив окна, находился стол, на котором кроме нескольких телефонных аппаратов имелся ещё и пульт с множеством тумблеров. Помимо сидящего за столом пожилого майора, в дежурке присутствовали три милиционера из патрульно-постовой службы. Всех задержанных провели и поместили за длинную решётчатую перегородку, в просторечии «тигрятник». Обыскали. Заставили вытащить всё из карманов, отобрали также брючные ремни и шнурки от обуви.

— Это чтоб не вздёрнулись, или сами не задавили кого... — пояснил Женька пытавшемуся протестовать Никите, который только теперь увидел, что приятель находится рядом. В этом учреждении Женька конечно же не считал себя новичком и к сложившейся ситуации относился довольно спокойно, чего нельзя было сказать о Никите. В том всё время назревал какой-то протест, и, если бы не Женькины увещевания, протест этот непременно перерос бы в открытый бунт. Затем уже через другую дверь их провели в смежное с дежурной частью помещение и водворили в крохотные камеры, именуемые «боксами».

Никиту определили вместе с Женькой, чему он был несказанно рад, и ещё двумя личностями неопределённого возраста, но явно не из их компании. Это были взрослые уже мужики и ничуть не трезвее.

— Эй, пацаны, — обратился один из них к приятелям, — если курево и спички есть, куркуйте куда-нибудь. Менты повторный шмон проведут, заберут обязательно!

— Уже... — угрюмо пробормотал Женька.

Тогда тот окинул «бокс» наметанным взглядом, затем вытащил из носка мятую пачку папирос с лежащим в ней спичечным коробком, привстал на цыпочки и запихал её в отдушину, находившуюся над дверью. Закончив эту операцию, отряхивая ладони от пыли, он отошёл в сторону.

— Не по уму конечно, но будем надеяться... — проговорил его товарищ.

— Нет, — произнёс вдруг мужик, — поступим по-другому.

Он вновь привстал, вытащил из отдушины пачку и стал возвращать папиросы назад уже рассыпью. Оставил в пачке две-три штуки и засунул её во внутренний карман пальто.

— Вот так надёжней будет. Пусть «мусора» думают, что мы и не прятали ничего. Никита только подивился всем этим тонкостям.

— А ты откуда будешь, мудрый такой? — в Женькином тоне явно чувствовалась агрессия. Он ещё не совсем отошёл от недавнего побоища, ко всему прочему был пьян, и ему было вдвойне обидно, что, уже не раз побывав в подобной ситуации, он не удосужился позаботиться о сохранении такого важного продукта как курево. — Я тебя вроде и не видел раньше!

— Я-то? — мужик присел на корточки. — Да здешний я! Просто не считал нужным светиться до поры... Вот кента по-людски встретить решил, пивком угостить. Он в отличие от меня год лишку хозяину отдал. Выходим из пивнухи, а тут махалово накатывает, ну и мы, не в кипеш, под замес попали! — Мужик витиевато выругался. И по тому, как он выругался, понял Никита, что за решёткой мужик этот провёл достаточно много времени. Есть в ругани матёрых уголовников какой-то особый, им одним присущий колорит, их отличающий.

— Вы там изувечили кого-то, а нам парься теперь за вас, малолетки грёбанные! — продолжал мужик озлобленно.

— Рот закрой! — перебил его Женька. — Сам знаешь, на малолетку дёрнешься, ответить придётся!

— Да ты-то кто? — мужик посмотрел на Женьку, удивлённо приподняв брови: — Откуда в понятиях сечёшь?

— Оттуда, — Женька отвернулся. — Местный я, а вот ты кто по жизни?

Судя по их диалогу, Никита понял, что уроки старших братьев не прошли для Женьки даром.

— Я... — мужик задумался, — Петюнчик я. Петром зовут, а погоняло по лагерю Петюнчик значит. Последний раз с «усилка» освобождался. А это, — он кивнул в сторону своего приятеля, — это подельник мой, говорю же, что он лишку год прихватил. Встретились вот, отметить решили, а тут кодла ваша...

Женька после этих слов резко повернулся.

— На режиме был, говоришь? — он прищурился. — На усиленном? Бову Вовчика знал?

— Кто же Бову на зоне не знал! — Петюнчик вскинул вверх руки. — Бова — арестант правильный!

— Ну вот, а я брат его младший, — провозгласил Женька с торжеством в голосе. — Ну, раз за забором вместе были... — и уже совсем миролюбиво предложил: — Курнём что ли?

— Слушай, пацан! Давай повременим чуток, пусть менты уgomонятся, — осадил его Петюнчик.

Пока они вот так беседовали, ни Никита, ни приятель Петюнчика не произнесли ни слова. Только прислушивались внимательно.

— Слушай, Жека! Сколько нас здесь держать будут? — не выдержал Никита. Состояние его было просто ужасным, и он с трудом ворочал языком.

— Всяко-разно быть может, — усмехнулся тот. — Пока личности установят, пока то сё... В общем-то, по закону не больше суток, но кто их знает, — продолжил он. — А ты чё, боишься, дома потеряют?

Этого-то Никита как раз и не боялся. Его мать давно привыкла к тому, что он мог не прийти ночевать домой, но Никита всегда находил способ поставить её об этом в известность заранее, а тут, чёрт его знает, что у ментов на уме, будут муржить неизвестно сколько. Он тяжело вздохнул.

— До утра кантовать точно не будут! — подал, наконец, голос приятель Петюнчика.

— Если только ещё кого закинут. Нас, по идее, вместе нельзя держать, не положено. Вы же малолетки! Ну да на «положено», как говорится, заложено. Короче, братва, спать надо укладываться. Не дай бог, клопы здесь — вилы тогда!

— Давай курнём потихоньку, растянем одну на всех? — теперь предложение исходило от Никиты. Они закурили, но едва успели пройти круг, как загредел замок и в камеру заглянул дежурный сержант. Петюнчик едва успел наступить на тлеющий окурок, но стелющийся по камере дым явно указывал на то, что произошло.

— Вы чё! — заорал милиционер. — Нюх в натуре потеряли?! Первый раз замужем, что ли?! Устроили курилку, мать вашу! Вот вы двое, — он по очереди ткнул пальцем в мужиков, — давай на выход!

Женька с Никитой остались одни.

— Надо же, — проговорил Женька, — вот мент поганый, с курёхой обломил. Теперь наверняка пасти будет...

— Сколько, интересно, сейчас времени? — спросил у приятеля Никита.

— Да уже вечер, наверное, — ответил Женька. — Сейчас следаки по домам разбегутся, и нас до утра уже точно не выпустят. Вот, чёрт, пить охота, немогогу уже!

— Ага, — поддержал приятеля Никита, — может, постучим, чтоб в туалет выпустили.

— Ага, выпустят, жди! Кинут мешок целлофановый — и делай в него. Самому же потом убирать. А в принципе, попробовать можно...

Женька шагнул к двери и застучал в неё кулаком.

— Эй, старшой! Выведи в туалет!

Через минуту дверь отворилась, и тот же сержант спросил:

— Ну чего орёте? Неприятностей на жопу ищите?

— Да нет, старшой, — Женька старательно приплясывал на месте, — в натуре, пива опились. Будь человеком, своди в туалет, а...

— Первый и последний раз, ясно?! Ещё раз зашумите, в туалете и ночевать останетесь! — сержант был категоричен. — Давай по одному!

Наконец-то они облегчились и утолили мучавшую их жажду, благо, в туалете имела раковина с водопроводным краном. Когда вслед за Женькой в бокс вернулся и Никита, они проговорили ещё некоторое время, а потом, вытянувшись на замызганном дощатом полу, погрузились в глубокий сон.

Проснувшись, Никита не сразу сообразил, где находится. Через отдушину над дверями проникало скудное освещение. Привстав, он наткнулся взглядом на лежащего у противоположной стены и тяжело сопевшего Женьку. Состояние Никиты было, как сказал однажды один эстрадный классик, просто мерзопакостным. Голова раскалывалась, и он держался из последних сил, чтобы не вырвало. Покажи ему в этот момент стакан с водкой, это непременно бы случилось. То, что наступило утро, Никита понял по доносившимся из дежурной части голосам, по многочисленным телефонным звонкам и хлопанью дверей. Он принялся тормошить Женьку. Тот открыл глаза, потянулся и приподнялся на локтях, кряхтя и охая, как старый дед.

— Ну чё! Здравствуйте вам, что ли! — насмешливо прохрипел он. — Как почивать изволили?

— Спасибо, хреново! — в тон ему ответил Никита. — Как думаешь, стоит в дверь стукануть?

— Стукануть можно только менту на ухо, понял, кентуха? — нравоучительно произнёс Женька. — В двери обычно стучатся. Ты же как раз на барабанах молотишь, вот и дай им по ушам!

Так они, сидя на полу, лениво переговаривались, когда загредел замок и давешний сержант спросил:

— Кто Бовин?

— Я! — соскочил с места Женька. — А ты чё, старшой, живёшь, что ли здесь? Только тебя и видим!

— Закрой рот и на выход давай! — прикрикнул сержант.

Теперь Никита остался один на один с неизвестностью. На душе было тоскливо и тревожно. «Почему только Женьку вызвали? — задавал он себе вопрос. — А вдруг так получится, что его отпустят, а меня нет? Да не может быть такого», — успокаивал он себя, но чисто интуитивно чувствовал, что на него надвигается какая-то беда. Что-то должно произойти, что-то ужасное, чего невозможно предвидеть и предотвратить. От нечего делать он стал разглядывать стены бокса, испещрённые различными надписями, и это его заинтересовало. Каких только афоризмов тут не было! От банального «Не забуду мать родную» до глубоко философского «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Но больше всего было просто имён и прозвищ предыдущих сидельцев. К удивлению своему Никита обнаружил выпарапанную на стене кличку одноклассника, исчезнувшего куда-то после окончания восьмого класса. Он пошарил по карманам и отыскал монетку достоинством в десять копеек. Затем на свободном ещё участке стены принялся ребром монеты выпарапывать следующую фразу: «Мотыль был здесь... октября 1979». Дописал и услышал скрежет замка. За ним пришли. На этот раз милиционер был другой. Они прошли коридором, поднялись на второй этаж и оказались перед дверью с табличкой «Оперативный отдел». Сопровождавший Никиту постучал, затем, отворив дверь, подтолкнул его вперёд.

— Давай заходи, — беззлобно проговорил он и обратился к сидевшему за столом оперативнику. — Товарищ капитан, арестованный Мотылёв...

— Да не арестованный, а задержанный! Сколько раз повторять! — перебил его тот. Оперативник был одет в обыкновенный гражданский костюм.

— Присаживайся, — кивнул он Никите и указал на стоящий рядом стул. Затем сказал, обращаясь уже к милиционеру: — Вы свободны.

Когда тот вышел, Никита присел и огляделся по сторонам. Кабинет был небольшим. Кроме стола, нескольких стоящих возле стены стульев, здесь имелся ещё массивный сейф и шкаф с полками, на которых размещалось всякое канцелярское барахло.

— Раньше задерживался? — спросил оперативник.

— Нет, — ответил Никита.

— Значит, на учёте не состоишь? — опер удовлетворённо кивнул.

— На каком учёте? — удивился Никита.

— Как на каком? По делам несовершеннолетних, конечно, — усмехнувшись, ответил уполномоченный.

После уточнения всех анкетных данных оперативник потребовал рассказать об инциденте. Именно потребовал. Резким, не терпящим возражений тоном. Никита и не собирался ничего скрывать. Во-первых, он и понятия не имел, как вести себя в данном случае, а во-вторых, не чувствовал за собой какой-то особой вины. Ну, подумаешь, напился! Ну, разодрался, с кем не бывает в его возрасте!

— С чего начинать-то? — спросил Никита, имея в виду требование опера.

— А с самого начала, — ответил тот. — С кем пил, кого бил, чем бил, за что бил... Видишь, какой складный стишок получается. Я хочу, чтобы ты вот так же складно мне всё и рассказал. Фамилии и адреса всех своих дружков, конечно. Я ясно выражаюсь?

— Вполне, — ответил Никита, а про себя подумал: «Как же, разбежался! Фамилии тебе называть!» Никита поведал оперу, как выпил у подружки, как возле пивной встретился с приятелями, как играл на гитаре, а затем ввязался в драку. На предложение опера назвать фамилии и адреса этих самых приятелей Никита ответил ни много не смутившись: — Да не знаю я! Ни фамилий, ни где живут. Мы друг друга только кличками зовём!



— Да ладно врать-то! — опер постучал авторучкой по столу. — Думаешь, без твоей помощи их не найдём? Я тебе, парень, вот что скажу, ты, видимо, не совсем понимаешь, во что вляпался! Поясню. Ты когда в драку ввязался, не просто кулаками махал. Ты людей гитарой своей увечил, понятно? И грозит тебе, милый мой, статья уголовная, и тюрьма по тебе уже рыдает со вчерашнего дня. Тем более, что Бовин Евгений мне всё уже рассказал. В общем-то, слова твои подтверждаются, это, конечно, хорошо. Так что адреса друзей своих ты для своей же пользы называть должен, понятно? Они на суде твоём свидетелями выступают. Не исключено даже, что в твою пользу, ферштейн? — Уполномоченный откинулся на спинку стула.

— Чего?! — от возмущения Никита даже не мог подобрать подходящих слов. — Кого это я гитарой увечил? С чего вы это взяли? Я, чё, дурак, что ли, инструмент ломать! Его потом попробуй купи, достань где!..

Перед его глазами вдруг возник Женька, размахивающий гитарой. Никита опустил голову и скрипнул зубами. «Какой суд? За что? А Женька, подлец, меня решил подставить, что ли? — со злостью думал он. — А ещё блатного из себя корчит... Значит, его наверняка отпустили, а меня...»

Никита встретился с внимательными глазами оперативника.

— Слушай, парень! — убеждённо произнёс тот. — На гитаре ты играл? Ты! Следовательно, и в руках её держал ты, правильно?

Никита мотнул головой.

— Неправильно! Я, когда драка началась, пиво пил. А гитара на земле лежала. Мало ли кто схватить её мог?!

— Ну, ну! — опер покачал головой. — Рассказывай... Думаешь, ты один здесь такой умный! Давай-ка адреса с фамилиями!

— Я не знаю, как кого зовут. Я даже не знаю, где Женька живёт. Он мне не друг, просто знакомый. Да и остальные тоже...

— Ну, ну! — опять повторил следователь и протянул Никите бланк протокола допроса.

— Распишись-ка внизу, на каждой странице. Сначала напиши своей рукой вот так... — опер секунду помедлил: — С моих слов записано верно, мною прочитано. А потом распишись!

Никита взглянул на бумагу. С похмелья строчки сливались в сплошные линии, и, ничего путём не прочитав, он всё же сумел уловить основную мысль, выраженную опером в протоколе. Он отодвинул листы от себя.

— Я не буду этого подписывать.

— Почему это? — озадаченным тоном спросил следователь. — Что-нибудь не понятно?

— Я уже говорил вам, что дрался только руками. К тому же... — Никита потрогал ссадину на виске, — я и подраться-то не успел. Меня самого вырубил!

Следователь вздохнул, а потом чётко произнёс.

— Если ты не подпишешь, только себе хуже сделаешь. Мне-то всё равно! А вот отказ от сотрудничества со следствием — обстоятельство отягощающее! Так что, давай, не тяни кота за яйца...

— Я же сказал, не буду! — Никита упрямо мотнул головой.

Ещё минут сорок они старательно переливали из пустого в порожнее. Никита уже раза три повторил свои показания и думал, что конца-края этому не будет, когда за его спиной скрипнула дверь.

— Товарищ капитан, там потерпевший прибыл, — услышал Никита голос давешнего провожатого.

— Хорошо, — проговорил, приподнимаясь со своего места, капитан. — Доставь сюда тех двух подростков, которых утром задержали. Только чтобы их потерпевший не видел, понял? Ну и двух понятых, знаешь, в общем...

— Так точно! — милиционер скрылся за дверью.

— Вот так, дружок! — обратился к Никите капитан. — Сейчас ты всё поймёшь правильно!

Он вдруг порывисто соскочил со стула и выбежал в коридор, оставив Никиту одного. Через некоторое время, показавшееся Никите бесконечным, капитан появился вновь, но уже не один. Следом за ним в кабинет проскользнули двое подростков, примерно одного возраста с Никитой. За ними зашёл и сопровождавший их милиционер.

— Совсем шпана распоясалась, — сказал он неизвестно кому и указал вошедшим на стоящие возле стены стулья. — Сядьте туда! — И добавил, обращаясь к Никите: — И ты тоже рядом с ними сядь!

Никита послушно пересел к подросткам.

— А понятия где? — спросил милиционера капитан.

— Сейчас будут, — ответил тот. — Электрика нашего и тётъ Шуру, уборщицу, позвал.

В кабинет вошёл сухощавый мужик в рабочем комбинезоне, а следом за ним тучная женщина неопределённого возраста.

— Давай приглашай потерпевшего сюда, — махнул рукой оперативник.

Через секунду в кабинете возник парень лет двадцати пяти, прилично одетый, с перевязанной бинтом головой и внушительным кровоподтёком под глазом. Он появился так быстро, будто находился возле дверей.

«Неужели это я его так разукрасил? — подумал Никита. — Не может быть...»

— Так, внимание! — проговорил опер. — Сейчас будет проводиться опознание. Прошу всех молчать! — Он обратился к потерпевшему: — Ваша фамилия, имя, отчество?

— Швецов Владимир Николаевич, — прошамкал тот разбитыми губами.

— Посмотрите, знаком ли вам кто-нибудь из этих людей? Встречались ли вы с кем-нибудь из них? Где, когда, при каких обстоятельствах? — при этих словах опер указал пальцем непосредственно на Никиту, хотя тот и не обратил на это внимания.

— Да, конечно! Вот он! — парень уверенно повторил жест опера.

— При каких обстоятельствах вы с ним встречались? — продолжал опер. — Расскажите подробнее.

— Да при этих самых... — из-за разбитых губ речь Швецова была невнятной. — Решил я пива купить вчера...

— В какое время это было? — перебил его капитан.

— Да часа в четыре, наверное. Я как раз после ночной смены выспался, ну и решил пивком побаловаться. Они обычно в это время свежее подвозят.

— Так, дальше, — опер посмотрел на Никиту.

Тот сидел опустив голову. Один только внешний вид потерпевшего сказал ему о многом.

— Пива взял, бидончик трёхлитровый, вышел из пивнушки, а тут драка! И этот, — он опять ткнул пальцем в сторону Никиты, — гитарой размахивает, хлещет, кого ни попадя! Я хотел потихоньку мимо пройти, а он как коршун налетел, ну и звезданул меня гитарой по голове.

При этих словах Никита в ярости соскочил с места.

— Ты чё гонишь-то?! — заорал он, не находя слов от возмущения.

— А ну-ка сядь на место! — прикрикнул следователь. — А то тебя сейчас живо успокоят!

— Да врёт же он! — уже тише произнёс Никита, опускаясь на стул.

— Сколько раз он вас ударил? — спросил уполномоченный Швецова.

— Не помню сколько, но то, что не один раз, — это точно!

— Ну, а потом что?

— Ну а что потом? Рожа у меня в крови, не вижу ничего. Хорошо, кто-то «скорую» вызвал, меня и увезли в травмпункт.

— Так, ясно! — опер снова взглянул на Никиту.

— Так всё было? Помнишь человека этого?

— Ничего я не помню, — буркнул Никита, — и никакой «скорой» там не было, одни дружинники только...

— Ну ладно, у тебя ещё будет время всё вспомнить, — процедил опер.

— А вы подойдите сюда, — обратился он к понятным, — распишитесь в протоколе опознания.

После того как те расписались и вышли, опер отпустил и Швецова, предварительно переговорив с ним о чём-то в коридоре. Никита всё это время оставался на месте. В голове вертелась только одна мысль: «Где Женька? Почему его нет?» Всё-таки байки о жизни за решёткой, слышанные им со стороны, были для Никиты чем-то отдалённым, чем-то нереальным и не имеющим к нему никакого отношения. А Женька — вот он! Он и подсказать смог бы, и научить чему-то...

Когда вернулся опер, Никита спросил:

— Как мне матери сообщить?

— О чём сообщить? — удивлённо приподнял брови тот.

— Ну... что я тут нахожусь...

Уполномоченный сложил аккуратно листы протоколов в стопку и поместил их на край стола.

— Всё, что нужно, будет сделано, — сказал он и, повернувшись к двери, крикнул дежурного. Когда тот вошёл, опер кивнул в сторону Никиты: — Увести!

...А потом его усадили в милицейский уазик и повезли в уже стужающихся сумерках неизвестно куда. На улице моросил мелкий осенний дождь, и в лужах отражался свет из окон домов, за стенами которых протекала такая спокойная и такая безмятежная жизнь. Машина выехала из района и взяла направление к центру города.

— Куда везёте-то? — спросил Никита. Судя по времени, все государственные учреждения давно должны были быть закрыты.

— Как куда? — удивился, сидящий справа от Никиты милиционер. — На кичу, в КПЗ! — Он стряхнул пепел с сигареты в полуоткрытое окно кабины. — А ты думал, в санаторий?

— Слушай, — попросил Никита, — дай закурить, а?

— Может, опохмелиться ещё! — мент щелчком отправил окурок в окошко. — Сиди и не дёргайся! — проговорил он как-то заученно. — Успеешь накуриться ещё!

Вскоре они подъехали к большому серому зданию, в центре которого находились огромные железные ворота. Один из милиционеров вышел из машины и прошёл в здание через двери, находящиеся чуть в стороне. Минут через десять створки ворот разъехались в разные стороны и пропустили машину в двор-колодец, где её поджидал офицер, одетый уже не в милицейскую, а в армейскую форму. Никиту передали с рук на руки военному, и тот повёл его куда-то в глубь двора, где они, миновав ещё одни двери и пройдя через турникет, очутились внутри самого здания. Не задерживаясь, Никита и сопровождающий зашагали вниз по ступеням, где офицер и передал его прапорщику. Тот окинул Никиту хмурым взглядом и приказал следовать за собой. Теперь они шли коридором, освещённым люминесцентными лампами, с множеством стальных дверей, одна из которых и захлопнулась за Никитой. Камера эта ничуть не напоминала тот бокс, в котором он провёл больше полутора суток. Метров пяти в длину и метра три в ширину, она вмещала в себя умывальник и огороженное с двух сторон кирпичной кладкой, отхожее место, где беспрерывно журчала вода. На противоположной от дверей стене имелось забранное толстой решёткой полукруглое окно, сквозь пыльные стёкла которого можно было разглядеть лишь обувь проходящих мимо людей. Прямо под окном

был сколочен широкий, от стены до стены, деревянный настил, служащий, очевидно, спальным местом. Это полуподземелье и называлось камерой предварительного заключения, или просто КПЗ. Здесь в одиночестве Никита провёл трое суток, которые показались бы ему кошмаром, если бы не предусмотрительно спрятанное им до этого курево. Утром ему приносили в железной миске овсянку и кружку чуть закрашенного кипятка, именуемого чаем. Двухсотграммового куска хлеба ему хватало вполне. Днём — капустный суп и ту же кашу на второе, а вечером опять же кашу, но уже с куском варёной рыбы и тот же кипяток. Пищу Никита находил вполне сносной. На исходе третьего дня его отвезли в отдел при прокуратуре, где он наконец-то увиделся с матерью. Они смогли поговорить в течение нескольких минут в присутствии сопровождающего Никиту милиционера. Мать передала объёмистый пакет со всякой снедью и сменой белья, а главное, с несколькими пачками сигарет. От неё же Никита узнал, что дела его намного хуже, чем он думал, что на него заведено уголовное дело по статье за хулиганство и что только от прокурора зависит теперь, отправят ли Никиту в следственный изолятор, а иначе говоря, в тюрьму, или же отпустят под подписку о невыезде. Мать, без конца утирая слёзы, расспрашивала его о самочувствии, об отношении к нему милиционеров и обо всём том, о чём расспрашивает любая мать, чей сын волею судьбы оказался за решёткой.

Никита как мог успокаивал её, убеждая в своей невиновности, и даже попытался улыбнуться перед тем как вновь оказаться запертым в боксе, подобном тому, в каком он находился будучи в райотделе. Правда, теперь он был не один. В тесном помещении находилось уже человек шесть, и, когда за Никитой захлопнулась дверь, он даже несколько оробел, хотя и не чувствовал себя уже таким неискушённым новичком, каким был в райотделе милиции. Кое-что он себе успел уяснить. Прежде всего, что люди есть люди, и надо по возможности стараться со всеми находить общий язык. Неожиданно щёлкнул замок.

— Кто Мотылёв, давай на выход!

Милиционер держал в руке связку ключей и стальные наручники. Возле дверей прокурорского кабинета Никита снова увидел мать. Он было рванулся к ней, но милиционер удержал его за локоть.

— Не спеши, — произнёс он и обратился к Никитиной матери: — Пройдёмте с нами, гражданка!

Втроём они зашли в кабинет. Кроме прокурора, холёной дамы балзаковского возраста, одетой в тёмно-синий китель с множеством звёздочек в петлицах, в кабинете находился ещё и мужчина со значком депутата городского Совета на лацкане пиджака. Он, сидя за столом, просматривал какие-то бумаги.

— Значит, так! — голос у прокурорши был чересчур низким, с хрипотцой. Очевидно, она много курила. — Мотылёв Никита Андреевич? — Никита утвердительно кивнул. — Год рождения... проживающий... учащийся школы... Вы обвиняетесь по статье двести шестой, части второй Уголовного кодекса Российской Федерации — злостное хулиганство, и на время следствия, до вынесения приговора суда, будете находиться под стражей. Все процессуальные права вам разъяснит адвокат. Всё, уведомите! — распорядилась она.

Во время этого монолога ни Никита, ни его мать не успели произнести ни слова. Удаляясь, Никита слышал, как мать со слезами в голосе пыталась в чём-то убедить представительницу закона. Из здания прокуратуры он выходил скованный наручниками с одним из своих соседей по камере. И хотя до машины — серого, с высокой посадкой автозака — было всего-то метров пять-шесть, их расцепили только возле самых дверей автомобиля. Вслед за сокамерником Никита поднялся в тёмную, без единого окна будку. Попав со света в темноту, Никита ничего не мог разглядеть и, инстинктивно вытянув руку, упёрся в чью-то спину.

— Сюда давай, братан! — прозвучал голос рядом. Потом ему надавили на плечо, и он ощутил под собой край жёсткой скамьи. Постепенно глаза привыкли к темноте, и Никита стал различать лица соседей. Люди всё прибывали. Некоторые, попав в фургон, сразу садились на корточки или прямо на железный пол, а иные продолжали стоять, упёршись руками в стенку. Каждый из арестантов вёз с собой баул или просто сумку, которые здесь назывались «майданами». Свой пакет, в который кроме сигарет и белья мать положила большой кусок сала, булку хлеба, газетный свёрток с пирожками, Никита обхватил руками и крепко прижал к груди.

— Эй, Мотыль!!! Это ты, что ли?! — услышал вдруг Никита. Он повернул голову и увидел пробирающегося к нему субъекта, который, ни мало не смущаясь, расталкивал стоящих на его пути людей и не обращал внимания на возгласы недовольства. Никита узнал Сашку Шматова, своего ровесника, который учился когда-то вместе с ним. С Сашкой этим Никита не виделся очень давно, но тем не менее узнал его сразу, поскольку не было в школе человека, которого Никита так ненавидел бы и боялся, как Шматова. С третьего по пятый класс Сашка с двумя-тремя друзьями буквально терроризировал своих сверстников, отбирая выданную родителями на обед мелочь и награждая при этом тумаками. Наверное, в каждой школе существует такая вот кучка разгильдяев, имеющая своего предводителя. Старший брат Шматова был боксёром и поэтому Сашка ничего и никого не боялся. Впоследствии его выперли из школы и отправили в интернат, а Никита и думать о нём забыл. А тут такая встреча! Да ещё где!

— Ну, здорово, что ли! — Сашка крепко ткнул Никиту в грудь. — Вот уж кого не ожидал увидеть! Ты как тут? За что?

Никита слабо улыбнулся:

— Да за драку... Ерунда, в общем...

— Ага, двести шестая, значит! — воскликнул Шматов. — Ну ты даёшь! А подельники есть?

— Да нет, я один, — ответил Никита и, немного отодвинувшись, предложил: — Садись.

— А я и так уже сижу, — рассмеялся Сашка. — Уже шестой месяц пошёл! Вот, в отдел к следаку возили...

Он уселся на корточки, и в этот момент машина тронулась с места. Сашка, чтобы не упасть, ухватился за Никитино колено.

— Ну ништяк! Я не я буду, если ты к нам в хату не попадёшь. Бочу-то помнишь?

— Это который? Бочалин Лёшка, что ли?

— Ага, он! — улыбка у Сашки сделалась ещё шире. — Он ведь тоже в моей хате. Второходочник уже!

Машину нещадно трясло. Арестанты что-то орали друг другу все разом. Надрылся двигатель, и Никите приходилось напрягать слух, чтобы разобрать, о чём говорит Сашка. А потом он и вовсе перестал прислушиваться. Никита весь ушёл в себя и очнулся только от толчка, когда машина резко затормозила.

— Ну вот, прибыли, кажись! — проговорил Шматов. — Щас по боксам распахают, там и поговорим нормально. Да и пожевать не мешает, — добавил он, покосившись на Никитин пакет. — На ужин по-любому опоздаем.

Из машины выводили по одному, выкрикивая фамилии, и строили в ряд. Уже сгущались сумерки. Никита огляделся. Они находились внутри тюремного двора. Вокруг были только стены какого-то отвратительного розовато-серого цвета с множеством оконных проёмов, забранных металлическими жалюзи. По обе стороны выстроившихся арестантов находился конвой — солдаты с автоматами в руках и погонами Внутренних войск. Неподальёку группа офицеров и прапорщиков совещались о чём-то. Никита обратил внимание, что не было никого, одетого в милицейскую форму.

— А почему ментов нет? — спросил он у Шматова, который находился рядом.

— Цветных-то? Те на воле только. Тут армия, — коротко пояснил Сашка и, подумав, добавил: — Те же менты. Ещё и похуже...

Когда Никиту и всех остальных с ним прибывших провели в здание, в нос ему ударил какой-то особый, ни с каким другим не сравнимый запах. Пахло как будто перекишшими щами вперемешку с дезинфицирующей дрянью. Опять вызывали по фамилиям, причём вызываемый должен был назвать ещё и статью, по которой его обвиняют. Когда Никита услышал свою, то сделал шаг вперёд и проговорил по-особому зазвучавшим голосом:

— Статья двести шестая, часть вторая, — затем стал на прежнее место. Дальше началось распределение по боксам.

— Что теперь? — спросил он у Сашки, когда они, почему-то только вдвоём оказавшись в боксе, уселись на корточки и закурили.

— Что теперь? — переспросил Шматов. — А что теперь! Тебя сначала к врачу поведут. Потом в баню пойдёшь. Получишь матрац и бельё. Робяк получишь. Ну и в хату! Меня-то сразу до хаты отведут. Сегодня четверг, до бани ещё четыре дня. Ты вот что, когда робу в каптёрке получать будешь, то дай хозбандиту пару пачек сигарет, он тебе робяк новый подкинет. И коцы вместо сапог проси, понял?

— Что за коцы? — удивился Никита.

— Ну, это ботинки такие, кирзовые. В них легче, чем в сапогах.

— А как в хату-то заходить? — спросил Никита. — В смысле, говорить что?

— Как заходить? — Сашка рассмеялся. — Ногами заходить. Сам-то не врубаешься, что ли?! Поздоровайся с пацанами, чисто символически привет с воли передай! А там тебе и объяснят всё. Да не кани ты! Я вот думаю, что тебя в мою хату закинут. У нас теперь пара шконок свободных. Пацанов после суда в осуждёнку перевели, так что места есть.

— А что такое «не кани»? — спросил Никита.

— Не кани, значит, не бойся! — ответил Шматов. Он ткнул пальцем в Никитин пакет. — Давай пожуюм!..

Никита достал пирожки, и они перекусили. Какое-то время спустя Никита в сопровождении женщины, одетой в военную форму с сержантскими погонами на плечах, минуя ряд дверей, оказался в чисто выбеленном помещении. Пожилая врачиха в белом халате предложила ему раздеться до трусов и осмотрела с ног до головы. Затем, заполняя карточку, спросила, есть ли у Никиты какие-либо жалобы на здоровье. В ответ тот только помотал головой. Потом его, уже одетого, провели в соседнюю комнату, где хозяйственник в чёрной робе постриг его наголо допотопной ручной машинкой, и его сфотографировали в профиль и анфас, а потом сняли отпечатки пальцев. Впрочем, последняя процедура была ему знакома. Отпечатки пальцев у него брали и в КПЗ. Во время всех этих действий Никиту трясло от внутреннего напряжения. Когда конвоируемый женщиной-сержантом подошёл к дверям каптёрки, то вспомнил Сашкин совет и достал из пакета две пачки сигарет. Зашёл в каптёрку, довольно обширное помещение с рядами стеллажей и множеством вешалок. Протягивая сигареты, спросил у хозяйственника:

— Можно робу поновей?

Тот взял сигареты, кивнул и прошёл куда-то в угол. Затем вернулся, держа в руках аккуратно сложенные хлопчатобумажные брюки и куртку чёрного цвета.

— Снимай своё тряпье, — бросил он Никите. Потом с ближайшей полки достал такие же хлопчатобумажные кальсоны и рубашу. — Снимай всё своё и надевай это, — повторил он. — Носки только оставь. Потом уселся за стол и стал что-то записывать в карточку. Когда Никита переоделся, каптёрщик показал ему на кучу сапог, возвышавшуюся возле стены.

— Выбирай по размеру.



— А можно ботинки? — Никита совсем осмелел.

— Так там и ботинки есть, ищи, — каптёрщик ухмыльнулся.

Никита подобрал себе пару грубых кирзовых ботинок без шнурков, а каптёрщик, попросив его расписаться в карточке, указал на свёрнутый матрац, в котором находились плоская подушка и две ветхие простынки с такой же наволочкой. Никита ухватил матрац под мышку. В другой руке держал пакет, в который засунул полученные тут же кружку и ложку. Он вышел в коридор, где его терпеливо дожидалась сопровождающая.

Поднявшись по металлическим ступеням на второй этаж, они вышли в длинный и широкий коридор, по обеим сторонам которого имелось множество дверей. Здесь их встретили, тоже почему-то женщина, но уже с погонами прапорщика на форменном кителе.

— Кто? — спросила она, кивнув в сторону Никиты.

— Мотылёв. Вновь прибывший, — ответила конвоирша и подала карточку. — В бане не был, пусть со всеми идёт.

Прапорщица внимательно изучила карточку, что-то отметила в ней и кивнула Никите:

— Прямо! — и уже на ходу крикнула: — Запиши себе — двести тридцать вторая!

Никита шёл по коридору, и им опять овладевал страх: как его встретят в камере? Как вести себя? Что говорить и какой дать отпор, если кто-нибудь посягнёт на его личность, не нарушая при этом существующих тюремных законов, о которых он и понятия не имел. Ведь это не пионерский лагерь! Это даже не КПЗ! Это тюрьма! Самая что ни на есть настоящая тюрьма! Вдруг Никита заметил впереди себя движущиеся навстречу фигуры.

— Стоять! — прозвучала команда сзади. — Лицом к стене!

Никита послушно повернулся, упёршись торчащим из-под мышки матрацем в стену. Мимо них прошли какие-то люди.

— Вперёд! Прямо! — вновь прозвучала команда. И через несколько шагов снова: — Стоять!

Никита остановился перед массивной дверью с небольшим закрытым окном посередине и глазком наверху. Конвоирующая его прапорщица загремела ключами, щёлкнула засовом и, настежь открыв дверь, приказала: «Заходи!»

Никита, преодолевая внутреннее сопротивление, вошёл. Дверь за ним с глухим лязгом захлопнулась. Первое, что бросилось в глаза, так это большое количество одинаковых, коротко постриженных голов. Он не смог бы даже и приблизительно определить, сколько здесь было человек. Все они, одетые в чёрную одинаковую робу, представляли собой какую-то безликую массу. Никита растерянно огляделся по сторонам.

— Здорово, пацаны! — произнёс он.

В наступившей тишине на него смотрело множество глаз. Одни настороженно, другие недоверчиво, но все одинаково с любопытством. У Никиты от растерянности выскользнул из-под руки матрац. Он нагнулся чтобы его поднять и тут услышал знакомый голос:

— Эй, Боча! Я же говорил, что Мотыля к нам закинут!

Никита поднял глаза и увидел приближающегося к нему Лёшку Бочалина. Помнил он его смутно — как можно помнить промелькнувшее перед тобой в раннем детстве лицо! Бочалин подошёл к Никите, протянул руку:

— Ну, здорово, земля! — произнёс он. — Помнишь меня? — в тоне его слышалось столько высокомерия, столько внутреннего превосходства, что Никита почувствовал себя каким-то маленьким и незащищённым.

Между тем Бочалин был худеньким, щуплым пареньком небольшого роста, но во взгляде его было столько наглости, столько неприкрытого хамства, что Никита оробел ещё больше.

— Да помню немного, — ответил он. — Вроде бы учились в одной школе, так ведь?

— Это ты учился, комсомолец! — презрительно фыркнул Бочалин.

— Ладно, Боча! Кончай понты колотить! — услышал Никита голос Сашки Шматова. — Иди сюда, Мотыль, и барахло своё тащи...

Никита вслед за Бочалиным прошёл в самый угол камеры, которая представляла собой довольно обширное помещение с рядами двухъярусных металлических кроватей по обеим сторонам, двумя массивными деревянными столами со скамейками и таким же, как в КПЗ, огороженным отхожим местом. На стене между двумя зарешеченными квадратными окнами висела деревянная конструкция, представляя собой три сбитых между собой полки. На одной из них стояла алюминиевая миска, доверху наполненная сахарным песком. Всё это Никита успел охватить взглядом, пока направлялся к сидящему в углу на кровати Сашке.

— Кидай матрац наверх, — указал он Никите на второй ярус. Кровать состояла из рамы с наваренными на неё металлическими полосами вместо обычной сетки.

— Кидай матрац и майдан сюда давай! — повторил Сашка, забирая у Никиты пакет. — Присаживайся, успеешь ещё постель разложить, — добавил он.

Никита присел на тонкое одеяло. В узкий проход втиснулся ещё один подросток. Был он высоким, широким в плечах и никак не походил на малолетку.

— Меня Витькой зовут! — представился он, протягивая Никите широкую ладонь. — А погоняло по тюрьме — Цыган.

Он и вправду походил на цыгана. Иссиня-чёрная поросль на голове, такие же чёрные сросшиеся брови, смуглая кожа, пронзительный и вместе с тем бесшабашный взгляд.

— Короче, так! — Сашка выудил из пакета оставшиеся пирожки, сало с уже успевшим зачерстветь хлебом и сигаретные пачки. — Ты сейчас, Мотыль, всё равно ни во что не врубишься! Скоро свет уже погасят. Стели пока свои шконки, а завтра мы тебе всё растолкуем.

— Эй, Храпессор! — раздалось откуда-то. — Хрен в носок, какой песок?

Последовало молчание, а потом...

— Да забыл я! — прозвучало в ответ, и на середину камеры с противоположной стороны вышел паренёк с виновато-покорным выражением лица. К нему тут же подскочил ещё один и с размаху влепил затрещину, которая пришлась пацану чуть ниже уха.

— Так вот! Какой носок, такой и песок, понял?!

— Понял, — буркнул тот, отходя на место.

Казалось бы, никто на этот инцидент не обратил внимания, только от дверей прозвучал мужской бас:

— Эй! Давай-ка, вяжите там! Отбой скоро...

— Что это? За что его? — удивлённо спросил Никита.

— Как за что? — Цыган поднял вверх указательный палец. — На примочку не ответил, варкушку и схлопотал!

— И тебе то же самое светит! — вмешался в разговор Боча. — Если память хреновая!

Чем-то Бочалин был неприятен Никите. Чем, он и сам не знал. То ли ехидностью своей, то ли высокомерием. Он так и не понял ничего, но переспрашивать не стал.

— А это что за мужик? — дождавшись, когда все дожуют пирожки, вновь поинтересовался Никита.

— А... это культорг! Взросляк в каждой хате на малолетке должен быть. С понтом под зонтом за порядком следить. Если его на зону отправят, так там по-особому спросят за это. Вот они и держатся тут всеми костями, — ответил ему Шматов.

Тут где-то запикало радио, и в камере погас свет. Осталась гореть только небольшая лампочка в нише над дверью. Лампочку эту защищала мелкая металлическая сетка.

— Давай стели и ложись, — сказал Шматов Никите. — Сейчас дубаки обход делать будут, надо чтобы все на шконках были.

Никитина кровать находилась прямо над Сашкиной, и он неосознанно радовался этому, почувствовав в Сашке какую-то поддержку. Расстелив постель, спросил:

— А в туалет как сходить?

— Попозже сходишь, когда разденешься. Да ложись ты, не маячь! Завтра всё узнаешь!

Первую свою ночь в тюрьме, Никита почти не спал. Только теперь он по-настоящему ощутил, что всё случившееся с ним не недоразумение, не случайность, даже не просто казус какой-то. В свои шестнадцать лет он уже отлично понимал, что судимость отрезает от него все пути к тому, к чему он так стремился...

Разбудил его, буквально оглушив, звук мелодии гимна Советского Союза. Ревело где-то установленное радио, и звук был неимоверно громким. Никита открыл глаза и сразу вспомнил, где находится. Соскочившие со шконок сокамерники застилали постели и выстраивались в очередь перед раковиной. Из медного крана тонкой струйкой текла вода.

— Вставай, Мотыль! — хлопнул по Никитиному одеялу Сашка. — Сейчас проверка будет!

Никита соскочил с верхнего яруса, натянул на себя робу и пошёл вслед за Сашкой к умывальнику.

— Что за проверка? — спросил он у него.

— А щас увидишь! — ответил тот. — Ты иди пока в очередь встань, — добавил Сашка, а сам, оттолкнув стоящего перед раковиной пацана, стал брызгать себе на лицо водой. За ним подошли Цыган, Боча, другие малолетние арестанты, бесцеремонно отодвигая создавшуюся очередь. Странно было Никите, что против подобных действий никто не возражал. Он встал в конец очереди и умылся одним из последних.

— А чем вытереться? — задал он очередной вопрос, подойдя к своей шконке.

— Тебе что, полотенце не дали? — удивился Сашка.

— Нет, — ответил Никита. — А что, должны были?

— Ну, ты когда в каптёрке был, видел, за что расписывался?

— Я не смотрел, — Никита обескураженно хлопал глазами.

— Ну дела! — скривил рот Шматов. — А в баню с чем пойдёшь? На проверке скажи дубаку, а то отоварки тебе не будет. Вычтут за полотенце, да ещё чего доброго карцер схлопочешь!

Никита промокнул лицо краешком своей простыни.

— А вот этого делать не рекомендуется, — наставительно заметил Сашка. — Лучше обсохнуть.

«Чёрт те что! — подумал Никита. — Пока вникнешь во всё...»

— А что это за отоварка такая? — опять спросил он.

— А это когда мать твоя червонец на квиток положит, и ты раз в месяц отовариваться сможешь. Ну, махорки там взять, печенья, конфет... Хочешь, на два раза можешь растянуть, на пять рублей отовариваться.

К ним подошли Боча с Цыганом. Их сдвоенные шконки находились тут же, через проход.

— Ну как, Мотыль, ночь прошла? Никто не подкрадывался? — ехидно улыбаясь, спросил Боча. — Может, клопики подпрашивали?

Никита, конечно, понял, что имеет в виду Бочалин, и ему до боли в суставах за-

хотелось треснуть по его скалящейся физиономии. Но чисто интуитивно он понимал, что этого делать нельзя, что существуют какие-то каноны, о которых он ещё не знает и которые, не дай бог, нарушить.

— Слушай, Боча! Ты чего до пацана докопался? — встрял в разговор Цыган. — Забыл, как сам молодым был? Он же не в курсе ещё, что почём! Тем более не крещёный!

— Да я балдежом просто, — усмехнулся Бочалин и вновь обратился к Никите: — Не кани, Мотыль, мы же все тут кореша, так ведь, Шурик? — он перевёл взгляд на Сашку.

— Так, так, — ответил тот. — То, что ты самый домогной в хате, всем известно!

В коридоре загремели ключами.

— Давай, строиться всем! — на середину камеры вышел культорг. Это был мужик лет сорока, аккуратно постриженный, одетый в тёмно-синий спортивный костюм и домашние тапочки. Когда дверь камеры открылась, все подследственные уже стояли, выстроившись в два ряда. В камеру вошёл офицер в чине старшего лейтенанта, а с ним солдат-контролёр и уже знакомая Никите надзирательница-прапорщик. Офицер пересчитал людей, сверился со своим списком и спросил:

— Просьбы, жалобы будут?

Никита совсем забыл про своё полотенце, но ему неожиданно напомнил об этом Бочалин.

— Гражданин начальник! У нас новенький в хате. Вчера прибыл, а полотенце ему не дали!

— Фамилия? — спросил лейтенант.

Никита сделал шаг вперёд, хотел назвать фамилию, но офицер его опередил.

— Стань на место! — прикрикнул он. — Вот так, а теперь говори!

— Мотылёв! Статья двести шестая, часть вторая!

— Ладно, разберёмся, — сказал старлей. Он что-то отметил у себя в бумагах и, пятясь задом, пошёл к дверям. За ним, так же пятясь, последовали и солдат с прапорщицей. Когда дверь за ними захлопнулась и все разошлись по своим местам, Никита спросил у Цыгана:

— А почему они раком из хаты выходят?

— А случай был, — охотно объяснил тот. — Дубак спиной повернулся, а ему ложку заточенную в спину. Пацан его в карты на «американку» проиграл. Правда, давно это было, но пацану этому на всю катушку навинтили, говорят. С тех пор они вот так раком и выходят. Инструкция у них! — и Цыган захохотал так заразительно, что его поддержали другие.

— А что за игра такая, «Американка»?

— «Американка» — это не игра. В карты играют на «американку». Ну, то есть на желание...

— А, понял теперь! — Никита кивнул головой. — Так это, что же получается, любого проиграть можно?

— Любого, — хмыкнул Цыган. — Пойдём, покурим...

Они присели на скамью возле грубо сколоченного, некрашеного стола, и Никита достал из кармана пачку сигарет.

— Нет уж! Сигареты оставь! Они для дела пригодятся! — остановил его Цыган. — Давай-ка лучше махряк завернём.

Никите ещё не приходилось курить махорку, и он с интересом наблюдал, как Цыган сворачивает то, что в его понимании, называлось «цигаркой». Цигарка получилась на удивление ровной и аккуратной. Тем временем за дверями зазвучали голоса, слышалось какое-то звяканье, шум хлопяющихся створок.

— Сейчас завтрак будет, — сказал Цыган. — Вот этот, — он хлопнул ладонью по столу, возле которого они сидели, — для молодых. За него садись.

— Слышь, Витька! — обратился к Цыгану Никита. — Я никак не пойму, кто здесь молодой, а кто старый? Объясни!

— Ты вот три месяца отсидишь, стариком станешь, а пока молодым срок тyani, въехал?

— Ни хрена себе! Три месяца! Это что, так долго следствие идёт, что ли?! — возмущился Никита.

— А ты как думал? Некоторые пацаны и по году сидят! Смотря у кого какая статья. Шурик, вон уже почти полгода торчит. Я — четвёртый месяц... Недавно застариковался только.

— А ты по какой? — полубопытствовал Никита. Он не представлял, удобно ли задавать такие вопросы, и поэтому ждал в ответ какой-нибудь грубости, но Цыган ответил просто:

— Да у меня их букет целый!

— А Боча?

— Боча? Боча второходочник. Он уже на зоне успел побывать, за грабёж. По амнистии вышел и опять на гоп-стоп кого-то обул. За Бочу вообще базара нет!

Хлопнуло, открываясь, находящееся посередине камерных дверей окно.

— Иди. Ложку с кружкой бери — и на кормушку, — проговорил Цыган. — И не зови меня по имени. Здесь у каждого погребуха своя!

Утренняя кормёжка ничем не отличалась от той, какой Никита довольствовался, находясь в КПЗ. Пищу разносил взрослый, уже осуждённый и оставленный в тюрьме на хозяйственных работах арестант. На всю тюрьму таких было много, и их называли хозбандитами или баландёрами. Никита получил миску перловой каши, пайку хлеба с двадцатиграммовым кусочком сливочного масла и налитый в поданную им кружку покрашенный кипятком. Сашка Шматов, взяв с полки чашку с сахаром, отсыпал немного в сделанный из газетного листа пакетик и положил на стол «молодым». Усевшись, Никита исподволь оглядел сидящих рядом пацанов. Большинству из них, а за столом уместилось человек пятнадцать, явно не хватало тюремного рациона. Такие моментально уничтожали пищу и шли к раковине ополаскивать миски. За другим столом, как понял Никита, сидели «старики». Вместе с ними и культорг.

Их стол существенно отличался от того, за которым сидел Никита. Там были и порезанные плавленые сырки, и куски селёдки, и печенье с конфетами. Народу за этим столом было поменьше. Вместе с культоргом Никита насчитал десять человек. И ещё одно поразило Никиту: возле отхожего места, так называемой параша, сидя на корточках и держа миску в руке, зажимая при этом пальцем дырявое дно, поглощал пищу ещё один арестант. У него не было ложки, и ел он, цепляя кашу куском хлеба. Субъект этот всем своим видом вызывал омерзение. В невероятно грязной робе, с каким-то синюшным лицом и затравленным взглядом, он захлёбывался и чавкал, как собака.

«Опущенный, — сразу определил Никита. — Интересно, за что...»

Поев, человек этот не подошёл к раковине и не стал мыть свою миску. Вытер её изнутри оставшимся куском хлеба и присел на шконки, стоящие тут же, рядом с парашей. Второй ярус этих шконок пустовал. Кто-то из «стариков», проходящих мимо, бросил ему кусок печенья. Тот в ответ улыбнулся жалобно и благодарно одновременно.

Опять открылась кормушка и пацан из «молодых», очевидно дежурный, подал туда сложенные друг в дружку миски. Уже потом, когда они вчетвером сидели в своём углу, нешадно дымя махоркой, Никита спросил у Сашки, кивнув в сторону опущенного:

— За что его?

Сашка помолчал. Потом, соорудив серьёзную мину, изрёк:

— Его ещё на КПЗ отшкварили. Он, гнида, сестру свою младшую изнасиловал, третьеклассницу. По идее, грохнуть его надо было бы, да срок лишний кому мотать

охота! У него и погоняло соответственное — Ряба! Ну, курочка вроде... Да и фамилия как нельзя кстати — Рябченко! Да на зоне ему всё равно хана!

— Как! Собственную сестру? Да ещё такую маленькую?! — Никита от негодования даже привстал. — Ну и тварь!

— Цыган! — крикнул Шматов. — Давай Мотыля просвещай! Сам-то примочки по хате не забыл ещё?

— Ага, забудешь их, как же! — усмехнулся тот. — Вон, жувалки до сих пор чешутся! — Цыган похлопал себя ладонями по щекам. Потом, посмотрев на Бочалина, произнёс: — Давай, Боча, вместе, вдруг я забуду чего...

Боча присел рядом.

— Пока ты молодой, тебе примочки только старик имеет право лепить, — начал он, обращаясь к Никите: — Спросят тебя, например, примочки все знаешь? Ты должен ответить: всех тюрьма не знает! Дальше спросят, а каких она не знает? Ответ: а какие по ней не ходят! Запоминай! Вопрос: а какие по ней не ходят? Ответ: а каких она не знает! И так по кругу, уяснил?

Никита лишь хлопал глазами.

— А если я не отвечу?

— Ну, тогда тебе варкушку по челюсти влепят. Ты же видел, как это делается! Тогда быстро запомнишь!

И они наперебой стали задавать Никите свехидиотские загадки и тут же давать на них такие же свехидиотские ответы.

— Ты, главное, запоминай всё! — поучал его Цыган. — Чем больше правильных ответов запомнишь, тем меньше по роже получать будешь!

Подобных примочек они надиктовали около полусотни.

— Как же их все запомнить? — расстроился Никита. — А если я в ответ на варкушку такую же заряджу? — спросил он.

— Не дай тебе Господь старика тронуть! — нравоучительно произнёс Боча. — Если что-то не так, ты у других стариков спросить должен. Они и рассудят, понял? Теперь давай по хате. Видишь? — он указал на поперечные балки на потолке. — Это «Амурские волны». Это жалюзи, — пояснял Бочалин, указывая на оконные решётки. — Тут шконки, там параша! Возле параша — чушка! — Боча показал пальцем на опущенного.

И они вместе с Цыганом продолжали посвящать Никиту в секреты тюремного быта. От всех этих премудростей у него голова шла кругом. Никита недоумевал, для чего это нужно?

— А это чтобы малолетка тебе раем не казалась, — пояснил ему Цыган. — А теперь слушай, что запаadlo, что нет.

И они продолжали этот тюремный ликбез. Уже в конце этой лекции, когда не только Никита, но и сами они не знали, о чём ещё можно рассказать, Цыган резюмировал:

— Тебе ещё два дня полагается, чтобы осмотрелся, с пацанами признакомился, а потом тебя крестить будут.

— А как это, крестить? — спросил Никита у Бочалина.

— А так! Руки в стороны расставишь, как Иисус на кресте, а тебе по прессу стучать будут. Если выдержишь и руки не опустишь — ништяк! Хата тебя примет. Ну а если опустишь, — Боча кивнул в сторону параша, — недолго и самому опуститься!

— Ни хрена себе! И долго мне так по животу колотить будут? И кто?

— А сколько захотят! А кто — старики решат!

Сашка с Бочей в это время, повернувшись спиной к дверному глазку, резались в «очко» самодельнымц картами. Звали и Цыгана, но тот отмахнулся.

Никите же участия в игре не предложили. Видимо, как он понял, это противоречило существующим понятиям. Опять, давешний пацан, по кличке Храпессор, не



ответив на очередную примочку, получил оплеуху. Да такую крепкую, что если бы не стоящие рядом шконки, упал бы наверняка.

— Вот пень! — проворчал Цыган. — Памяти совсем нет!

— А почему Храпессор? Кликуха какая-то странная!

— Да он храпит иногда, вот и погоняло такое. Сёма, вон, — Цыган кивнул в сторону, — хотел как-то в него сапогом запустить, да Шурик не дал. Западло это!

Было совершенно очевидно, что Шматов верховодил и здесь.

— А Сёма кто такой? — опять поинтересовался Никита.

— Да ништяк пацан! За ружьё сидит. Набухался и давай отчима по деревне гонять! Чуть не убил. Да тут такие артисты сидят, умора! Узнаешь со временем...

Опять послышались звуки раздаваемых и получаемых варкушек. Герои были уже другие, но суть оставалась прежней. Кто-то кому-то вправлял мозги.

— А культорг — он кто?

— Боксёр кухонный! По сто тринадцатой сидит. Жену свою таварнул, а она заяву на него накатала. Представляешь? Жена собственная! Я бы такую сучку вообще захлестнул! В принципе, он мужик безобидный, живёт сам по себе. Сильно не вяжется ни к кому. Мы, правда, не наглеем, но и он понимает, что против пацанов не в жилу переть.

— Его Бугай зовут. Верней, зовут его Юркой, а фамилия Бугаев, — продолжал Цыган, — ну и погоняло соответственное.

— Как-то непонятно, — Никита пожал плечами, — культорг! Какая здесь культура может быть?

Так они проговорили какое-то время, и Никита незаметно для себя задремал. Сказалась бессонная ночь. Разбудил его звук открывшейся кормушки. В камеру заглянул дубак.

— На прогулку идёте? — выкрикнул он.

Шматов тут же сорвался со шконок.

— Идём, идём! — крикнул он в ответ. — Эй, старшой, когда телогрейки дадите? Скоро снег выпадет, а вы тянете всё!

На прогулку вышли все. Да иначе и быть не могло. В случае отказа идти на прогулку хотя бы одному, прогулки лишались все. Они шли вдоль коридора по двое, заложив руки за спину, конвоируемые всего лишь одной надзирательницей — дубачкой. Никита никак не мог понять, почему в тюрьме несут службу женщины, вполне резонно полагая, что здесь им совсем не место. Они шли, минуя ряды дверей, и вдруг Боча, шагающий спереди, как бы отвечая на мысли Никиты, проговорил:

— Смотри, Мотыль! В этих хатах биксы сидят! Девчоночки! Прикинь! Тоже малолеточки!

Прогулочный дворик представлял собой железобетонную коробку высотой метра три, где вместо потолка была решётка из толстых металлических прутьев, а стены как будто заляпаны бетоном, образующим кляксы разной формы и величины так, чтобы на стенах невозможно было писать. Здесь они и дышали свежим воздухом в течение часа, а дубачка, стоя на поднятых лесах, образующих нечто вроде балкона, наблюдала за подследственными. Со временем ему пришлось услышать немало историй, так или иначе сломавших судьбы многих людей, но он не считал себя вправе осуждать кого-либо, так как сам находился за решёткой. Естественно, исключения составляли типы, подобные опущенному Рябе. В каждом преступлении существовала какая-то логика. Например, тот же Сёма, до смерти напугавший своего отчима выстрелами из охотничьего ружья за издевательства над матерью. Или же Храпессор — украл с рыночного лотка кусок мяса, чтобы пожарить шашлыков с друзьями на природе и начистил при этом морду продавцу-абхазцу. Мордобой, воровство и грабёж ради наживы — тут всё ясно! Даже убийство, а в его камере находились и убийцы, не казалось Никите чем-то

из ряда вон выходящим, если совершенно было в результате определённых обстоятельств. Единственное, чего он никогда не смог бы оправдать обстоятельствами, так это изнасилование, или преступления, совершённые в отношении детей. С каждой минутой, проведённой в неволе, Никита открывал для себя что-то новое. Это касалось и так называемой тюремной фени, и определённых норм поведения, и способности в нужный момент принимать единственно верные решения. И если для одних его сверстников пребывание за решёткой составляло суть какой-то ими самими выдуманной тюремной романтики, то для других, более здравомыслящих, это было временем тяжких испытаний на прочность и глубокого внутреннего раскаяния. К числу последних принадлежал и Никита. Впрочем, раскаяние его касалось отнюдь не потерпевшего Швецова. Он искренне жалел мать, и ему нестерпимо горько было осознавать, что он стал причиной её слёз. Безусловно, Никита чувствовал себя виновным и перед ребятами-музыкантами, да и себя самого он не мог не пожалеть.

А пока, вдыхая осенний воздух, в котором уже чувствовались запахи надвигающейся зимы, он думал о том, какие ещё сюрпризы ждут его впереди.

По пути в камеру им попала ещё одна группа малолетних арестантов, тоже следующих на прогулку.

— Стоять! — послышалась команда. — Лицом к стене!

Группу эту конвоировал сержант-контролёр с резиновой палкой в руке. «Надо же, — подумал тогда Никита, — у нас баба и то без дубинки, а этот...»

— Эй, пацаны! Какая хата? — раздался вдруг голос Бочалина. — Мастёвые имеются?!

— Три-пять! — раздалось в ответ. — Нет таких!

— А ну молчать! — взревел сержант, и колонна проследовала мимо.

— Кто кричал? — тон у дубачки не предвещал ничего хорошего. Пацаны молчали.

— Значит так, двести тридцать вторая! На завтра прогулки лишается! Культиоргу замечание! Всё! Прямо!

Когда все оказались в камере и дверь захлопнулась, Шматов, предварительно убедившись, что в дверной глазок никто не наблюдает, тут же накинулся на Бочу.

— Те чё, делать больше нехрен, как только варежку разувать?! Или ты думаешь, что воздух в хате курортный, да?!

— А чё такого-то? — искренне удивился Боча. — Подумаешь, на прогулку не сходим один раз!

— Это тебе, подумаешь! — Сашка, казалось, весь кипел. — На кой чёрт тебе знать, есть в соседней хате чушки или нет? Я, может быть, воздухом дышать ежедневно хочу!

— Зато я не хочу! — Боча демонстративно отвернулся и, направляясь к своей шконке, бросил: — Ты, Шурик, не бери на себя больше того, чем вывезти сможешь, понял? Вот когда этапом в зону пойдёшь, тогда тебе самому интересно станет, кто с тобой рядом находится и с кем ты махоркой делиться будешь!

В хате раздался одобрителный гул. Сашка постоял, подумал с минуту, потом буркнул:

— Я и так знал, что в три-пять петухов нет. Мог бы и у меня спросить, а в общем-то, ты прав! Зашквариться запросто можно!

Из этого диалога Никита понял, что и Сашку есть кому осадить и не всё в хате решает один человек, будь он хоть трижды сокамерниками уважаем. Потом уже Никита задал Сашке давно интересующий его вопрос:

— Скажи, Шурик, вот Ряба этот... Опустили его, понятно за что. А за что ещё масть такую словить можно?

— Ну, как за что?.. Да за многое! Ну вот скрысил ты, украл чего-нибудь у товарища своего, или в общак залез втихушку... За беспредел с твоей стороны, за то, что

ментам стучишь на пацанов... Ну ты сам сообразить должен, не дурак же! А бывает, что и беспределом опустят! Закинут в пресс-хату, и Вася не чешись!

— А что такое пресс-хата?

— А обыкновенная хата! Только сидят в ней суки ментовские. Заставят тебя признаваться в том, что тебе и не снилось, а потом и петухом сделают! Понял?

— Как это заставят? — наивность Никиты не имела предела.

— А так! Поотшибают всё на свете! Почки там, печень... Короче, здоровье отнимут, чтобы всю жизнь потом на аптеку горбатился!

— А зачем это надо?

— Ну как ты не врубишься! У ментов же дел нераскрытых немерено. Это только в кино всегда преступников ловят. А им отчётность нужна, вот и находят крайних.

— Ничего себе! Так это что, любого можно в чём угодно обвинить и срок впать? А суд на что?!

— А наш самый справедливый и гуманный только на материалах дела основывается. Что следак накаляет в бумажке, то и в приговоре тебе засветит!

— Да, дела... — протянул Никита. И это было далеко не первое откровение, в котором он смог убедиться. Загремела кормушка.

— Мединцев, Кубанов, Зимин! Получите передачи!

— Оба-на! — к дверям подскочил один из стариков. Все называли его Гогой. Это был невысокий, но крепко сбитый паренёк, попавший в тюрьму откуда-то с периферии. Обвинялся он в угоне автомобилей и завоевал определённые симпатии тем, что умел превосходно рисовать и делать татуировки, что весьма ценилось среди арестантов. Кроме того, будучи стариком, он не позволял себе каких бы то ни было издевательств над молодыми. Под следствием он находился уже восемь месяцев, и в положенное время исправно получал передачи. Гога забрал объёмистый свёрток и удалился к своим корешам, а у кормушки уже суетился следующий.

— Фамилия? — донеслось из коридора.

— Мединцев, — дрожащим от возбуждения голосом произнёс новоявленный счастливчик.

— Распишись и получи.

Мединцев расписался, забрал небольшую картонную коробку и отошёл в сторону, уступая место следующему. Выражение лица у него в этот момент было таким счастливым, что Никита, внимательно наблюдавший за этой процедурой, невольно позавидовал.

— А ну-ка иди сюда! — крикнул ему Шматов. — И ты потом подойдёшь, — добавил он, обращаясь к последнему, получающему передачу. Когда Мединцев подошёл, то Сашка спросил его, по-хитрому прищурив глаза:

— Ты которую по счёту дачуху получаешь?

— Первую, — потупив взгляд, ответил тот.

— Ну и как поступить с ней, знаешь?

— Знаю, конечно, — уныло протянул Мединцев. — Первая отменяется, вторая пополам, ну а третья — моя уже!

— Молодец, — похвалил его Сашка, а Боча добавил, ухмыляясь:

— Правильным пацаном живёшь, Мединчик!

Никита не без удивления смотрел, как Сашка, взяв из рук Мединцева коробку, перевернул её, высыпав всё содержимое на одеяло, предварительно расстелив на нём газетный лист. На газете оказалось несколько пачек печенья, кусок сыра, завёрнутый в бумагу, копчёное сало, граммов триста варёного мяса и свежие огурцы с помидорами, уложенные в целлофановый кулёк. Также здесь имелась круглая коробочка с зубным порошком, щётка, несколько стержней для ручки, смена белья, носки и большой носовой платок.

— Чур, марочка моя! — закричал Цыган, увидев платок. Сашка помотал головой:

— Нельзя.

— Тряпки и ширпотреб не отметаются, забыл, что ли? — добавил Шматов, отодвигая в сторону всё, кроме продуктов. — Если только сам отдаст...

Сашка вытащил из общей кучи сложенный вдвое тетрадный листок бумаги и протянул его Мединцеву.

— Держи маляву из дома! А ты чё, не куришь, что ли? Почему курёхи нет?

— Не курю, — буркнул Мединцев, забирая письмо, вещи и собираясь отойти.

— Подожди, — остановил его Сашка. Он, взвесив на руках кусок мяса, протянул его Мединцеву. Потом, подумав секунду, отдал ещё и пачку печенья. — Всё, свободен! — произнёс Шматов.

— А что другие пацаны скажут? — спросил Сашку Цыган, явно недовольный тем, что от него уплыл носовой платок. — Как это ты один мясом распорядился?

— Пацаны поймут, — ответил Сашка. — Что его, зубами рвать что ли? Кто больше откусит? Прикинь сам, как этот кусок на десять человек делить.

— А почему на десять-то? — спросил Цыган. — Стариков девять человек всего!

— А про Бугая забыл? — Шматов кивнул в сторону культорговских шконок.

Со второй передачей поступили уже иначе. Иван Зимин, по кличке Зима, обвинялся по двум статьям. Обучаясь на первом курсе ПТУ, изуверил своего производственного мастера, да так, что тот после побоев не сумел выжить. Зимина частенько возили на какие-то психиатрические экспертизы, но, выходя из камеры, он неизменно возвращался обратно.

До старикования ему оставался один месяц отсидки, но никто из стариков не пытался навязать ему свою волю. Почему, Никите потом уже поведал Цыган. Когда Зима зашёл в камеру, то первым делом ударом кулака согнул ножку крепления стоящей рядом шконки. Затем вторым ударом вернул ей первоначальное положение. И только после этого поздоровался с арестантами. Правда, эти упражнения со шконкой не освободили его от креста, и с его первой передачей поступили по закону, но задевать его лишний раз никто из стариков не отваживался. Тем не менее Сашка сказал принесшему на делёж передачу и молча стоящему рядом Зиме:

— Ты, Зима, правила знаешь, так что сам дели...

Зима вытряхнул из непрозрачного пакета всё содержимое. Кроме новых трусов, куска пахучего мыла и матерчатого кисета с табаком, в пакете обнаружилось всё то же сало, несколько брикетов плавленых сырков, завёрнутый в бумагу кусок топлёного масла и множество галет, уложенных в целлофановый мешочек. Зима, не торопясь, переложил в пакет бельё и мыло. Потом, захватив из кулёка галеты столько, сколько смог, высыпал их туда же. К немалому удивлению окружающих вытащил из воротника куртки половинку бритвенного лезвия и отрезал им изрядный кусок сала, который отправил вслед за всем остальным. Точно так же он поступил с маслом и сыром. В том, что арестанты, увидев обломок лезвия, удивились, не было ничего необычного, так как лезвия выдавались по утрам строго для бритья и тут же возвращались обратно. Как такая штучка могла оказаться у заключённого-малолетки, который к тому же имел пока статус молодого, оставалось загадкой. Впрочем, расспрашивать о подобных вещах здесь было не принято. Зима, подойдя к окну, сунул сквозь прутья решётки масло. Затем, свернув из газетного листа кулёк, ополовинил кисет с табаком. Кулёк оставил на месте, а кисет отправил в пакет. Всё это он проделал молча, и так же, не говоря ни слова, повернулся и отошёл. Сашка положил оставшееся сало на подоконник и, сложив остальную снедь на полку, проговорил:

— Общак стариковский. На ужине похаваем!

Опять открылась кормушка, и Никита вдруг услышал свою фамилию. Он подошёл к двери и увидел пожилого хозбандита, который протягивал ему застиранное вафельное полотенце.

— Спасибо! — поблагодарил его, но тот не ответил, а лишь взглянул удивлённо и захлопнул окно.

— Никогда не говори спасибо! — нравоучительно произнёс Боча, когда Никита вернулся.

— Почему? — спросил тот.

— Не рекомендуется, — совсем как Шматов ответил Боча. — Говори просто «благодарю».

Никита кивнул:

— Ясно! Век живи...

— Вот, вот! — поддержал его Бочалин.

Почти до самого ужина Никиту гоняли по примочкам его семейники — Боча, Цыган и Сашка, или, как его чаще всего называли, Шурик. Шматов был, пожалуй, единственным, кто не имел прозвища. По крайней мере, в камере. В этот раз Никита с удовольствием убедился, что память у него отменная. Он стал понемногу осваиваться в этой, такой непривычной для него обстановке, хотя и времени прошло всего ничего. В настоящий момент он опасался только своего так называемого крещения. К величайшей своей радости Никита узнал, что в тюрьме имеется библиотека и книги приносят прямо в камеру. Правда, книги эти были, как сказал Цыган, в таком состоянии, что читать их было почти невозможно по причине вырванных страниц и неинтересного содержания. Наконец, доносившиеся из коридора звуки возвестили о приближении ужина. В этот раз вместе с пшенной кашей давали ещё и по куску варёного минтая, а благодаря Гогиной дачухе на столе появилось сало с галетами и масло с сырками. Гога, аккуратно разрезав сало и прочее на одинаковые кусочки, наделил ими всех сидящих за столом, затем раздал и галеты. Поужинав, Никита отошёл к своему месту и принялся сворачивать самокрутку. На этот раз она получилась лучше предыдущей.

— А почему мы сигареты не курим? Для чего бережём? — спросил он.

— А это для подогрева кому-нибудь, — объяснил Боча. — Ну, там робу новую у хозбандита урвать или одежду приличную у него выпросить, если, к примеру, на суд едешь. А может, и хату соседнюю подогреть придётся, когда она на голяке сидит. Видишь, вон над парашей кран торчит? Когда ночью воду отключают, его отвернуть можно. И по трубе в соседнюю хату грёв заслать, понял? А если у нас голяк — они нам!

— Ловко! — восхитился Никита. — Ну а если дубаки засекут?

— Тогда карцер!

Никита попросил Бочу рассказать о карцере. Тот пожал плечами.

— А чё о нём рассказывать! Хата как хата! Маленькая только и холодная. Шконка на день к стене пристёгивается. Лавок нет, а на полу долго не просидишь, бетон... Ну, да ещё, день лётный, день нелётный. В смысле, день кормят один раз, а другой день вообще жрать не дают, воду только! В общем, кайф так себе! Попадёшь — узнаешь! — и Боча рассмеялся.

Подошёл Шматов.

— Бугаю сегодня сразу после отбоя чаю должны заслать! Надо насчёт дров подсуетиться, — проговорил он негромко.

— О, ништяк! — воскликнул Цыган. — У меня старые носки есть и простыни кусок! На кружку должно хватить!

— Ну и лады! — ответил Сашка. — Лишь бы подогнали только.

Пропикало и тут же смолкло радио. Вслед за этим погас свет, и в камере образовался полумрак. Уже через минуту все обитатели хаты были под одеялами, а ещё немного погода открылась кормушка, и на пол упал какой-то предмет. Встал Бугай, поднял с пола плитку прессованного чая и лёг обратно.

— Ништяк! — вполголоса проговорил Сашка. — Заслали!

Кончились первые сутки пребывания Никиты в тюрьме. Он уснул.

А рано утром по ушам опять резанули звуки гимна. В камере началась обычная утренняя суета, а у Никиты в этот момент было такое чувство, будто находится он здесь уже целую вечность, что всегда он видел эти стены, эти решётки, эти лица, и вроде бы и не было ничего в прошлом кроме этого. И его охватила такая тоска, что на глаза навернулись слёзы. Он схватил полотенце и, ни с кем не заговаривая, из боязни, что окружающие поймут его состояние, отправился к умывальнику. После утренней кормёжки, когда они все четверо дымили махоркой, Сашка сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Сегодня нам прогулка так и так не светит. Надо чиф варить, когда другие хаты гулять пойдут. Как раз и дубаков поменьше будет. Ты, Цыган, дрова готовь, а я пойду с Бугаем перетру это дело.

И он направился к культорговской шконке. Только чуть позже Никита понял, что подразумевал Шматов под словом «дрова». Они сидели в углу, скрытые рядами шконок, и кипятили воду в железной кружке с помощью туго скрученных тряпок, заменяющих фитиль. Образовывающийся при этом нагар Боча снимал голыми пальцами и тут же бросал в цинковый таз с водой. Таз этот использовался для мытья бетонных полов и находился в ведении Рябы, так как только он натирал по утрам камень, но это обстоятельство, похоже, никого не смущало. Никита понял, что даже «правильные» арестанты иногда пренебрегали устоявшимися здесь неписаными условностями, когда им было это очень нужно, или просто выгодно. Сам Ряба не смел даже к водопроводному кранику прикоснуться иначе, чем через тряпку, а вот на то, что он брался своими руками за таз и тазом этим потом пользовались другие, всем было наплевать. Когда чифир был готов, к культоргу с компанией присоединились остальные старики, и они все вместе стали совершать обряд питья. Обряд этот состоял в том, что каждый, сделав три небольших глотка, или хапки, как эти глотки назывались, передавал кружку другому. Никита, до сих пор не имеющий определённого статуса, участия в этом не принимал. Так же, как впрочем, и никто из молодых.

— Ну и какой кайф от этого? — спросил потом Никита у Сашки. Тот не ответил ничего, а Цыган, хмыкнув, произнёс:

— Настроение повышается! И жить охота!

После обеда, когда все разошлись по своим местам, вдруг неожиданно загремели замки и в камеру заглянул контролёр.

— Мотылёв! — крикнул он. — Кто Мотылёв? На выход давай! Без вещей!

— Без каких вещей? — ничего не понимая, спросил у Сашки Никита.

— Да без майдана, значит. — ответил тот. — Иди скорей! К следаку, наверное, поведут. Ты адвоката требуй, понял? И передачи чтобы разрешили!

Минуя ряд длинных коридоров с множеством закрытых камер, несколько решётчатых перегородок и лестничных маршей, Никита со своим провожатым оказались в ярко освещённом вестибюле. Свет проникал сюда благодаря большим и тоже зарешеченным окнам. Здесь тоже были двери. Правда, они существенно отличались от тех, что запирают камеры. Контролёр открыл одну из них и доложил:

— Подследственный Мотылёв доставлен!

Никита оказался в небольшой комнате с одним окном, тоже под решёткой, столом и стулом. За столом сидела маленькая и, как показалось Никите, какая-то вся высохшая старушка. Чем-то она напоминала египетскую мумию из учебника древней истории.

— Присаживайтесь, молодой человек, — старушка произнесла эту фразу негромко, но достаточно ясно и чётко.

«Интересно, кто это? — подумал Никита. — Надо же, «молодой человек»! Менты так не обращаются!»



Он присел на стул и вопросительно взглянул на пожилую женщину.

— Не удивляйтесь! Я ваш адвокат и буду представлять ваши интересы в суде. Зовут меня Галина Сергеевна. Фамилия — Лаппо.

Она достала из сумочки пачку «Пегаса» и зажигалку. Потом, открыв стол, выудила оттуда чайное блюдце с отбитым краем.

— Это вместо пепельницы, — и пододвинув сигареты Никите, предложила: — Курите! Ваша мама сказала, что вы курите.

«Моя мать! — подумал Никита. — Она виделась с моей матерью!»

— Да, — как бы отвечая на его мысли, произнесла адвокат. — Ваша мама приходила к нам, и я с ней беседовала. В вашем деле много неясностей, и я хотела бы кое-что уточнить. — Она водрузила на переносицу очки в роговой оправе и стала походить на сову. — Рассказывайте! Только... — она взглянула на Никиту, — рассказывайте мне всё, ничего не упуская, и не как милиционеру, а как своему защитнику. Помните, что любая мелочь может быть очень важна.

Никита пожал плечами, закурил сигарету и, вернув обратно на стол зажигалку, сказал:

— Да я ведь всё уже рассказывал, раз двадцать, наверное! Только мне не верит никто!

— Вы не волнуйтесь, Никита! — произнесла она. — Не волнуйтесь и не нервничайте. Сейчас нам вместе надо подумать, как добиться такого приговора, чтобы в тюрьме не остаться, понятно? Поэтому давайте соберитесь с мыслями и рассказывайте. Она внимательно посмотрела Никите в глаза, и он уловил в её взгляде столько доброжелательности, столько живейшего участия, что, загасив в блюдце окурочку и усевшись поудобнее, стал говорить. Беседа их продолжалась долго. Вернее, говорил в основном лишь Никита. Он просто рассказал ей всё без утайки, и даже то, что казалось бы и ненужным вовсе. Рассказал, как создавал свой музыкальный квартет, книги каких писателей любит читать, как тайком выпивает понемножку с друзьями-приятелями, и даже о своих отношениях с противоположным полом. Говорить он умел, и это не укрылось от пожилой женщины. Никита как можно убедительней доказывал Лаппо свою невиновность и полнейшее враньё со стороны потерпевшего. Уже в конце беседы она спросила Никиту:

— Послушай, юноша, а как тебя встретили ребята в камере? Не обидели? Не избили?

И то, что она назвала Никиту на ты, заставило его проникнуться к ней ещё большим доверием.

— Нормально! — чуть помедлив, ответил он. — У меня там знакомый оказался...

— Ну и хорошо! — резюмировала адвокат. — Ты, главное, режим не нарушай, и не вздумай тело своё наколками поганить. На вот, заberi с собой, — она протянула ему «Пегас».

— Спасибо! — поблагодарил Никита, убирая сигареты в карман.

— И ещё, — продолжала адвокатша, — передачи от мамы тебе будут приносить, как и положено, два раза в месяц, и деньги — десять рублей, на твой счёт она перечислила... Будем надеяться на лучшее, — сказала, нажимая спрятанную под столом кнопку для вызова контролёра.

Уже выйдя в коридор и привычно заложив руки за спину, Никита услышал:

— Думаю, что скоро ты будешь на свободе!

В камеру Никита вернулся с таким сияющим лицом, что даже Бугай, приветав со шконки, спросил:

— Ты чё, пацан?! Блестишь, как надраенный полтинник! Амнистию объявили, что ли?

— Какая амnistия! — настроение Никиты вдруг резко упало. — Я с адвокатом разговаривал...

— А... — протянул культорг. Махнул рукой и снова принял лежачее положение. — С вымогателем очередным... Я-то думал, серьёзное что...

— Ну, что? Рассказывай, — встрепенулся Цыган, когда Никита подошёл к своим новым друзьям.

А он уже считал их таковыми, не понимая того, что в подобной системе не может быть друзей. Что каждый здесь выживает в одиночку, несмотря на то, что причислен, может быть, к определённой семейке. И что друг и семейник суть разные вещи, и разница между этими понятиями огромная. Никита кинул на шконку Шматова подаренную пачку «Пегаса» и рассказал о своей беседе с адвокатом. Когда он закончил, Боча, покачив головой, произнёс:

— Конечно! От адвоката многое зависит. Он может так судье по ушам проехать, что тот запросто на волю нагнать захочет, тем более, Мотыль, тебе и сидеть-то не за что! Хотя непонятки тут рисуются. Если бы тебе срок не корячился, то на кой хрен тебя надо было на тюрьму гнать? Могли бы и под подписку отпустить...

— Не кани, Мотыль! На волю сканаешь — факт! — перебил Бочу Шматов. И добавил с сарказмом: — Лет так через несколько!

— Ага, ага! — встрял в разговор Цыган. — Только тебе, Мотыль, окреститься надо успеть! А то вдруг без всякого суда из тюрьмы выкинут? Западлю некрещеным на волю сваливать. — Он театрально откинул в сторону руку и процитировал: — «Если вы вдруг сядете! И к тюрьме прилипнете! Посидите годик-два, а потом привыкнете!»

После всех этих словесных выпадов настроение у Никиты испортилось окончательно. Он забрался на шконку и, заложив руки за голову, уставился в потолок. Так Никита провалялся до вечера. А после ужина один из стариков, Генка Сударев, подозреваемый в поджоге соседского дома, спрыгнул вдруг со второго яруса и, потянувшись всем телом, крикнул в сторону молодых:

— Эй, Химик! С которых шконок на шахматы прыгать будешь? С первых или со вторых?

— Как это? — спросил тот, кого назвали Химиком. А Химиком его нарекли за то, что после окончания школы он, успешно сдав экзамены в химико-технологический техникум, не проучился там и недели. Забравшись в лабораторный кабинет и смешав похищенные там реактивы, он каким-то образом умудрился устроить взрыв. Взрывом этим была покалечена мебель, выбиты все стёкла, безнадежно испорчены различные агрегаты, а сам «диверсант» чудом остался жив. И всё бы ничего, но при всём этом Химик, убегая с места совершенного «теракта», захватил с собой какой-то дорогостоящий прибор, который следствию до сих пор не удалось обнаружить.

— Что, как? Врубаешься хреново, да? — продолжал орать Сударев. — Что-то вы, молодняк, совсем страх потеряли! Ну шас я тебе поясню!

Он подошёл к Бугаеву и что-то стал ему объяснять. Культорг сначала отрицательно покачал головой, но, очевидно, поняв, что Сударев от него не отстанет, пошарил рукой под шконкой и извлёк сложенную пополам шахматную доску. Протянул её Судареву, махнул рукой и уткнулся в газету. Сударев же направился в сторону молодых.

— Так какие шконки выбираешь, я не понял? — спросил он, подходя к Химику. Тот пожал плечами.

— Ну вот смотри! — Сударь открыл доску. Потом высыпал на одеяло шахматные фигуры, положил доску на пол, в проход между шконками. Затем уставил её фигурами.

— Выбирай теперь. Оттуда? — Сударь указал рукой на верхний ярус. — Или отсюда? — продолжал он, переместив руку в сторону нижнего яруса.

Химик молчал, чувствуя в этой затее явный подвох.

— А как прыгать-то? — спросил он. — Ногами?

— Да нет, милый! Ляжешь, как положено, и скатишься вниз...

— Ничего себе! — воскликнул Химик. — Я чё, дурак что ли, рёбра себе ломать?!

— Ты не понимаешь, Химик, — спокойно объяснил ему Сударь. — Сам не скажишься, пацаны тебя силком столкнут. По любому со шконок на шахматы слетишь, так что давай, не тяни...

— Да, со вторых! — решил наконец Химик.

К ним подошёл ещё один пацан из компании Сударя. Последний взял полотенце и стал завязывать Химику глаза.

— А это ещё зачем? — воскликнул тот.

— А это, чтобы ты не видел, где шахматы стоят. А то нарочно мимо упадёшь. Вот теперь залезай! — проговорил он, затянув узел на затылке Химики.

Тот забрался на шконку и улёгся на спину. Тогда Сударь ногой задвинул доску под первый ярус, кивнул головой своему семейнику и скомандовал:

— Скатывайся!

Химик перевернулся на живот, слетел со шконки, но его тут же подхватили Сударь и второй пацан. Они поставили Химики на ноги, и Сударь сдёрнул полотенце.

— Молодец, Химик! — провозгласил он. — Сразу видно, что ты не сачок! Иди шахматы Юрке отдай.

Никита, наблюдавший со своего места весь этот спектакль, спросил у Цыгана:

— А если бы он первые шконки выбрал, что было бы?

— Тогда его ловить бы не стали, — ответил Цыган. — Прикинь, даже если с такой маленькой высоты на фигуры упасть... Точно без рёбер останешься!

— Концлагерь какой-то, — проворчал Никита, — инквизиция...

Цыган ему не ответил.

Вечером в камеру заглянул контролёр.

— Культорг! — крикнул он, просунув голову в кормушку. — Бугаев! Подойди сюда!

Культорг подошёл к двери, и они начали переговариваться о чём-то вполголоса. Потом Бугаев повернулся и крикнул:

— Эй! Как там тебя! Мотылёв, что ли?

— Ну, я, — ответил Никита. Они с Бочалиным в этот момент сидели на шконке, и тот показывал Никите, как делаются обыкновенные ручки для письма. Никита с удивлением наблюдал, как Боча разноцветными нитками из распущенных носков оплетает бумажную трубочку, в которую потом вставлялся стержень.

— Подойди! — махнул ему рукой культорг. — У тебя адвокат кто? Лаппо, да?

— Ну, — ответил Никита. Он уже успел понять, что культорг большой роли в камере не играет, что многие относятся к нему с явным пренебрежением, а иные просто и не замечают вовсе.

— Старая такая, да? — продолжал Бугаев. — Слушай, пацан! А она что, твоих родителей знакомая?

— Кто? — удивился Никита

— Да Лаппо! Адвокатша твоя!

— Не знаю я, — ответил Никита. — Вряд ли, — подумав секунду, сказал он. — Ей лет семьдесят, наверное!

— Точно, точно — подтвердил культорг. — Ты вот что! Когда тебя в следующий раз вызовут, письмо ей передай, хорошо? Пойдём, я тебе сейчас отдам, а ты пока у себя его держи. Только не забудь потом. И ещё! Вдруг меня из хаты нагонят, так ты письмо всё равно передай...

Неожиданно заговорило радио. И звук его, растворяемый в массе других звуков, показался Никите не таким громким, каким казался утром. Передавали последние известия. Что-то об очередной партийной конференции, что ни один человек Никитино возраста не слушает ни при каких обстоятельствах. Но сейчас он прислушался.

И не потому, что ему было интересно. Радио напомнило ему о доме, и опять накатила тоска. Не дожидаясь, когда потухнет свет, откинул одеяло, приготовился снять с себя робу, но его остановил Боча.

— Ты чего, Мотыль, спать собрался?

— Ну да, — ответил тот. — А что?

— Нельзя раньше отбоя ложиться. На одеяле и одетый, хоть целый день валяйся, а так — не катит...

— Чёрт! — выругался Никита. — То нельзя, это нельзя! Закрути, Боча, махорки, покурим, что ли...

— Ну ты, Мотыль, даёшь! — Бочалин выпучил глаза. — Ты ваще, думаешь, чё базаришь-то?! Старик тебе закрутку делать будет?! Во даёт! Слышь, Шурик? Во при-мочка!

— Ты, Мотыль, совсем без мозгов, что ли? Я думал, что о таких-то вещах тебе не надо жевать!

Шматов недоумённо хмыкнул. Цыган же вообще ничего не сказал. Он лежал на своём втором ярусе и, подперев одной рукой щёку, с интересом разглядывал Никиту.

— Да ладно вам, — смутился тот, — не подумал как-то... Ты извини, Боча! Пока в ваших сводах разберёшься, с ума сойдёшь!

— В ваших! — хмыкнул Боча. — А ты что, не с нами? Это хорошо, что не крещё-ный ещё! А то на варкушку в момент раскрутился бы! Кстати, Шурик! Цыган! — об-ратился он к приятелям. — А кто Мотыля крестить будет? Ему на крест послезавтра, а никто не чешется!

— Да успеем ещё! Сударя подтянем. Других пацанов. Долго выбрать, что ли? — Шматов подкурил только что свёрнутую им самокрутку. Сделав несколько затяжек, передал её Цыгану. — На! Хапнем по кругу да по шконкам... Сейчас, один хрен, свет погасят. И как бы отвечая на его слова, запикало радио, и камера погрузилась в полу-мрак.

— На, Мотыль, кури! — Цыган протянул окурочек.

— Тебе оставлять, Боча? — спросил Никита.

— Ну, там, пару раз хапнуть, — миролюбиво ответил Бочалин.

Никита передал ему бычок, быстро разделся и, отбросив одеяло, забрался на шконку.

Утром после завтрака Никита подошёл к Бугаеву. Он не знал, как разговаривать с культоргом. Врождённое чувство такта не позволяло Никите обращаться к нему на «ты» и поэтому он выбрал единственно верное в данном случае решение — безли-кость. То есть никак.

Когда Бугаев поднял глаза на Никиту, тот спросил:

— А как мне книги получить можно? К кому обратиться?

— Здраваться надо, — буркнул культорг. Он провёл языком по только что сде-ланной им самокрутке. — А получить здесь только срок можно! — подкурил и про-должил заинтересованно: — Какие книги ещё?

— Ну, мне сказали, что библиотека здесь есть.

— А... — протянул культорг, — есть библиотека. Только в нашей хате никто книг не берёт. Я один, да и то газеты, да журналы иногда. Ладно, скажу дубаку. А книги-то какие?

— Ну, какие есть. Художественные...

— Лады, — Бугаев махнул рукой, — только ты аккуратней с книгами. Страницы не рви, а то мне лишняя боль головная.

Никита вернулся в свой угол.

— Чё это ты? — любопытствовал Цыган. — Чё у Бугая забыл?

— Да, насчёт книг спрашивал, — ответил Никита. — А то тут с тоски подохнешь!

— О как! — Цыган ухмыльнулся. — С тоски говоришь? Вот завтра во Христа с тобой сыграют, и посмотрю я, как ты тосковать начнёшь! Будешь как акробат с варкушки на варкушку крутиться!

И тут Никита психанул.

— Цыган! Зачем до завтра ждать? Давай сегодня! Сейчас прямо!

Ему действительно опротивело это ожидание. «Да чем скорей, тем лучше, — подумал он. — Это как зуб больной выдернуть...»

Его инициатива заинтересовала Бочу с Сашкой. Да и всю камеру, так как Никита произнёс свои слова достаточно громко.

— Тебе, Мотыль, чё, не терпится брюхо почесать? — Сашка бросил на одеяло кусочек мыла, которым склеивал бумажные листки. — Или ты просто понты колотишь?

— Да какие понты! — ответил Никита. — Выжидать надоело. А то я перед вами, как Карл Первый перед Кромвелем...

— А это чё за мужики такие? — поинтересовался Боча. — Цари древние, что ли?

— Цари, — буркнул Никита. — Такие же древние, как... — он вовремя осёкся, памятуя Бочину вспыльчивость.

Шматов пожал плечами.

— Ладно! Дело твоё! Иди, Боча, Сударя с пацанами подтяни сюда. А ты, Мотыль, отойди пока, — сказал он Никите, — вон, с молодыми побазарь...

Никита отошёл к столу и присел на скамейку, но тут же соскочил с неё — загремели замки, и раздалась команда культорга: «Строиться всем!»

В камеру вошли как обычно старлей и два контролёра. После того как офицер произвёл счёт, тыча пальцем в сторону каждого арестанта, соглашаясь с правилами, спросил:

— Просьбы, жалобы, заявления есть?

— Да, гражданин начальник! — Бугаев сделал шаг вперёд. — Подследственный Мотылёв книги просит!

— Хорошо, — проговорил офицер. — Под твою роспись, культорг!

— Понял, гражданин начальник.

Бугаев, взглянув на Никиту, встал на место. После ухода контролёров Никита опять возвратился на скамью.

— Мотыль! Не передумал ещё? — крикнул ему Бочалин.

В углу собрались все старики, и оттуда потянуло махорочным дымом.

— Ну чё! — начал импровизированное собрание Шматов. — Все слышали? Мотыль хочет сегодня креститься!

— А ему куда больше не терпится? — проговорил один из недавних молодых, пацан по кличке Хромой. — На больничку или... — он махнул рукой в сторону парашки.

Хромой был инвалидом детства и воспитывался в детском доме, откуда неоднократно убегал. В тюрьму он попал за хищение с железнодорожных составов различных товаров, и статья у него была довольно тяжёлая.

— Да при чём тут больничка! — Сашка поморщился. — Любишь ты, Хромой, жути нагнать!

— Ладно, Шурик, — вступил в разговор Сударь. — Всем ясно, что Мотыль — земля твой! Твой и Бочи! Ты вот его по воле знал, так и разжуй за него! Чё за пацан?

— Мы в одной школе учились. И то до пятого класса только. Я потом в другой системе крутился. В интернате. Ты, Сударь, знаешь... Вон, Боча с ним в одном районе жил. Пусть скажет!

— Да чё я скажу-то? — встрепенулся Бочалин. — Пацан как пацан! Знаю, что не сачок! Подраться — всегда пожалуйста! Да, ещё! На гитарах малость повернутый. Они там банду какую-то сколотили, ансамбль какой-то. Ну и бренчат на праздниках! — Бочалин помотал рукой возле живота, изображая игру на гитаре.

— Ух ты! — Сударь даже привстал со шконки. — А чё ты раньше не сказал! Это же... — и заорал на всю камеру: — Шисгара, ой-йя-йя Шисгара! О ништяк! Короче! Я сам его крестить буду! Никто не против? — Сударь хлопнул себя по коленкам.

После того как Сударь со своей компанией отошёл к своему месту, Шматов поманил Никиту. Тот подошёл и спросил:

— Ну, что решило ваше вече?

Сашка разинул рот:

— Какое «вече» ещё?

— Да собрание такое было! У древних новгородцев, — пояснил Никита.

Сашка похлопал ресницами и проговорил:

— Слушай, Мотыль! Когда тебя Сударь пальцами мочалить будет, ты живот не напрягай. Наоборот, расслабься. А вот когда кулаками начнёт, вот тогда напряги, понял?

— Придумали хреновину какую-то! Давай зови Сударя своего!

Никита встал к стене так, чтобы его нельзя было увидеть в дверной глазок. Почему-то ему вдруг стало весело.

Он взглянул на Сударя и проговорил:

— Ты, Сударь, сильно-то не старайся! Вдруг случится, что я до твоего суда застариковаться успею?! Тогда нам вместе стариками жить...

К ним подошли Никитины семейники, остальные старики. Вся камера наблюдала за подготовкой к предстоящему спектаклю. Даже Бугай сквозь дым самокрутки смотрел в сторону Никиты. «Интересно, — подумал Никита. — Почему пацанов всегда тянет к подобного рода представлениям?» Редко какая драка, происходи она хоть где, в школе, во дворе или любом другом месте, обходилась без зрителей. А у Никитиных сверстников в таких случаях всегда имело место одно определение: кто победил, тот и прав! И ничто иное во внимание не бралось. А тут, по сути дела, предстояло обыкновенное избиение, без расчёта на то, что противник осмелится дать сдачи. Никита окинул взглядом камеру и ни в одних глазах не увидел сочувствия. Да и неудивительно! Все прошли через это. Он плотно сжал губы и раскинул руки в стороны. «Чёрт возьми! Как гладиатор, распятый на Аппиевой дороге!»

Сударь сжал кулаки, оставив свободными большие пальцы. Встал почти вплотную к Никите и начал методично тыкать этими пальцами Никите в живот, чуть ниже солнечного сплетения. Тычки эти были не сильными, боли почти не причиняли, и Никита поначалу не мог понять, для чего вообще нужен этот «массаж». Но чем дольше продолжалась экзекуция, тем неприятней она становилась. Никита непроизвольно стал напрягать живот, и всё меньше времени оставлял ему Сударь для того, чтобы он мог сделать выдох. Тычки эти всё убыстрялись, и вдруг совершенно неожиданно для Никиты Сударь нанёс удар. Удар этот был настолько сильным, что Никита даже присел, но внутренний настрой помог ему мгновенно собраться и даже не качнуть руками.

Тем не менее в лёгких почти не осталось воздуха, и, когда он делал очередной вдох, последовал второй удар. Кулак Сударя, казалось, пробил его насквозь, и из горла вылетело какое-то невнятное «хм...».

А Сударь уже опять продолжал свои тычки пальцами, которые теперь стали довольно болезненными. Никиту стало подташнивать. Он бросил взгляд на семейников. Никто — ни Цыган, ни Боча, ни Шматов — не смотрел прямо на него. Взгляды каждого упирались только в его руки. Потом Сударь провёл целую серию мощнейших ударов, и все окружающие Никиту люди и предметы поплыли перед глазами. Казалось, что все внутренности превращаются в сплошное месиво, и боялся он только одного — потерять контроль над руками. Потом Сударь произнёс:

— Поприседай, Мотыль! Только руки держи...

Никита сделал несколько приседаний, и ему действительно стало легче. Он провёл языком по ставшим вдруг сухими губам и опять прислонился к стене.



Вот теперь Сударь отвязался на нём по полной программе. Он молотил по Никитиным кишкам до тех пор, пока не выдохся сам. Никита даже не мог вытереть пот, заливавший ему глаза. Он только слышал стоящего рядом и тяжело дышащего Сударя. Живот уже почти онемел, и даже рук своих Никита почему-то не чувствовал.

— Хорош, Сударь! — как будто издалека донёсся до Никиты голос Сашки Шматова.

А вслед за ним крикнул и Боча:

— Вяжи, Сударь! И так под завязку!

Сударь нанёс ещё один удар, и удар этот был уже последним. Он хлопнул Никиту по плечу и, отдуваясь, как после бани, проговорил:

— Всё, Мотыль! Опускай грабли! Потом подойдёшь, по примочкам прошвырнёмся.

Никита опустил руки. Набрал полные лёгкие воздуха и сделал выдох.

— Ну, ништяк, Мотыль! — Сашка показал ему большой палец. — Сейчас иди приляг. Некоторые, правда, блюют после этого. Ты как?

— Ничего, — прохрипел Никита, разглаживая ладонью живот. — Курить охота! Пойдём, Санька, покурим...

Они вчетвером отправились в свой угол. В этот день Никита не обедал и не ужинал. Даже прогулка не доставила ему никакого удовольствия. С каждым часом живот ныл всё сильнее и сильнее, а к вечеру превратился в сплошной багровый синяк. Тогда же к его шконке подошёл Сударь.

— Не обижайся, Мотыль, — сказал он. — Теперь ты крестник мой, и я за тебя спрос держу. За любой твой косяк с меня спросят!

Никита только усмехнулся. И он отошёл.

Утром после проверки Никита опять забрался на шконку.

— Чё, Мотыль, так и будешь целый день валяться? — спросил его Боча. — Ты лучше походи по хате. Брюхо болеть меньше будет!

Никита давно уже обратил внимание на то, как некоторые пацаны, по двое или по трое, мерили шагами камеру от дверей до противоположной стены и обратно. Сначала это занятие показалось ему просто нелепым, потом он понял, что таким образом арестанты разминали ноги. Это было вроде физзарядки. «А и вправду, — подумал Никита, — может, и мне походить?» Он слез с шконорей и стал прохаживаться вдоль камеры, как это делали другие. Неожиданно к нему присоединился Сударь.

— А ты чё, Мотыль, правда, в ансамбле играешь, да? — спросил он у Никиты.

— Играл... — ответил тот, не прекращая движения.

— А на чём? — любопытствовал Сударь. — На гитаре, да?

— Мог и на гитаре. Но в основном на ударных!

— Ух ты! Надо же! И пел, наверное?

— Да, так... Подпевал иногда, вторым голосом. За барабанами сидя, много не напеёшь...

Никиту раздражали эти расспросы. Ладно, если бы спрашивал кто-нибудь другой. Но Сударь!.. «Мог бы и полегче бить, — думал Никита. — Зверюга!»

Сударь замолчал. Просто вышагивал рядом. Так они разминались некоторое время, и Никита уже хотел отойти к своему месту, но Сударь снова спросил:

— Ты вот скажи, Мотыль! Если тебе срок впарят, ты в зоне сразу в актив полезешь, да? В художественную самодеятельность, там... В СВП?!

— В какой актив? — не понял Никита. — Что такое СВП?

— Ну, в какой... Повязку напаялишь красную! Знаешь, сектор внутреннего порядка?

— С чего ты взял?! — Никита даже остановился. — И что такое этот самый сектор?

— Ну, это те же ссученные! На пацанов стучат, должности всякие занимают... Повязочники... Они вон как культорг наш. Вроде того. А ты, если и в зоне в оркестр залезешь, по-любому активист!

Никита промолчал и опять возобновил хождение. «Надо будет всё у Бочи порасспросить», — подумал он.

— А ты песню знаешь такую? — сменил вдруг тему Сударь. — Ну, там про лошадей поётся. Корабль коней перевозил, ну и потонул! А кони поплыли сами. Думали до берега доплывут, дурные...

Никите вдруг сделалось тоскливо.

— Знаю, — ответил он.

— Ништяк! — воскликнул Сударь. — Перепишешь мне в блокнот потом, ладно?

— Я думал, ты меня петь заставишь, — усмехнулся Никита. — Перепишу, конечно. Трудно, что ли. — И он повернул в свой угол.

Цыган в это время валялся на шконке, а Боча с Сашкой распускали капроновые носки на нитки, чтобы заняться кустаркой.

— Что, опять ручки будешь плести? — спросил Никита, присаживаясь на шконку рядом с Бочалиным.

— Угу, — промычал тот.

— Слушай, Лёха! Расскажи про зону! Что это за актив такой, как попадают туда? Мне сейчас Сударь жевал чего-то, да я не понял...

— Сударь? — Бочалин усмехнулся, — А Сударь-то чё знать может? Откуда? — он отложил в сторону рукоделие, проговорил: — Про зону так просто в двух словах не расскажешь. Там побывать надо...

— Расскажи! — поддержал Никиту Шматов. — Мне тоже не мешает послушать!

— Ага! — встрял Цыган, свесив голову со своего яруса.

— Да вам-то сколько рассказывать можно, не надоело? — Боча протянул руку.

— Дай, Шурик, тарочку, курить охота.

Шматов протянул ему заранее приготовленный газетный листочек, и Боча стал завёртывать самокрутку.

— Чё про неё говорить! Вот если про эсвэпэшников только! Это такие козлы... — затянувшись, Боча выпустил изо рта клубок пахучего дыма. — В зоне после карантина, когда уже по отрядам раскидают, то с каждым в отдельности воспет беседует. Ну, воспитатель то есть! — И, отвечая на недоумённый взгляд Никиты, пояснил: — Там в каждом отряде воспитатель есть. Ну, вроде дубаков наших, — он кивнул в сторону дверей. — Расспрашивает, кто что умеет. Ну, рисовать там, петь-плясать, прочую ерунду... Может, кто кустарку какую лепить может или стихи, к примеру сочинять... Ну и жуёт потом, что вот, мол, в актив зоны надо вступать, помогать администрации порядок поддерживать... На пацанов стучать, короче, ну и прочую канитель. Правильные-то пацаны хрен на примочки эти кладут. Западло это — повязку цеплять. Ну а без этого тебе никаких поблажек! Как все, на работу ходи и норму выполняй! Нас там заставляли резисторы собирать. К телевизорам, там... К радио... Муть такая! Норму не сдашь — в момент без ларька останешься, а то и в шизо загремишь. Ну а краснопёрым лафа, конечно! Только запаadlo это, говорю же я, повязку клеить. Правильные пацаны всяко разнo отбрыкиваются от этого. Режим спецом нарушают, примочки там лепят всякие... Лишь бы в СВП не попасть!

— А петухи туда же ломаются? — спросил Никита. — Их же в зоне, как и на тюрьме, наверняка не жалуют?

— Ну ты чё! Чушек сама администрация туда не допускает. Ну ты прикинь, например, каптёрщик — чушка, хлеборез — чушка, завбаней — чушка! Что будет-то?! Сразу бунт в зоне! А если кипеш начнётся — труба тогда дело ментам! В первую очередь всех повязочников кончат, так-то вот! А гитары и в отрядах есть. Многим

привозят на свиданку, так что ты не кани, Мотыль! Пацаны уважают тех, кто на гитаре балакать умеет. Если, конечно, пацан правильный.

Никита вздохнул. Внезапно с шумом открылась кормушка.

— Бугаев! — крикнул из коридора контролёр.

Юрка подошёл к окну, о чём-то поговорил с дубаком и, повернувшись, крикнул:

— Эй, Мотыль! Гребни сюда!

Никита загасил окурки и, тяжело поднявшись, приблизился к культоргу.

— Это ты книги брать будешь? — наклонив голову к окну, спросил дубак.

— Да, — ответил Никита. — А какие есть?

— А какие дадут, те и будешь читать... Как там фамилия-то?

— Мотылёв!

— Так и запишем. На! Держи! — и контролёр просунул в окно потрёпанную книжку. — А ты, Бугаев, распишись вот здесь.

В окне показалась обыкновенная библиотечная карточка. Никита взял книгу и взглянул на титульный лист. «Чехов. Рассказы» — всё же лучше, чем ничего...

Забравшись на шконку, с удовольствием углубился в чтение.

В этот день, как и в несколько последующих, в камере не происходило ничего необычного, если не считать того, что Никита первый раз посетил тюремную баню. Правда, баней как таковой это мероприятие можно было назвать с большой натяжкой. В холодном помещении душевой имелось несколько стояков с обыкновенными сетчатыми распылителями, из которых непрерывным потоком текла вода. Здесь не было никаких кранов, и температура воды регулировалась откуда-то извне. На помывку отводилось сорок минут, а в это время нижнее бельё малолетних арестантов подвергалось «прожарке». Стоя на холодном бетонном полу, Никита подставлял тело под упругие струи. Целиком он не мылся со дня ареста. Несмотря на то, что и вода была чуть тёплой, и кусочек хозяйственного мыла совсем крохотным, и отсутствовала даже элементарная вехотка, он всё равно испытывал большое удовольствие. После того как принесли из «прожарки» бельё, между молодыми сразу возникли разногласия. Каждый старался урвать, что получше. Старики всегда выбирали бельё попрочней, а на долю молодых приходилось ветхое. Но главное, оно было чистым. Большим облегчением для Никиты было то, что ему покровительствовали Боча с Сашкой. Эти пацаны пользовались в камере несомненным авторитетом. Сашка вообще по своей натуре был лидером. Умел великолепно драться, или, как это здесь называлось, «стыкаться». Боча же был второходчиком, что само по себе объясняло всё. «Покровительство» это было негласным, скрытым каким-то. Не было принято на малолетке кому-либо покровительствовать, но тем не менее старики Никиту не задирали. Один лишь раз он на себе испытал, что такое варкушка. И наказал его Цыган. Никита случайно утром не уступил ему место в очереди к умывальнику. Тогда Цыган, сжав кулак особым образом, согнув лишь крайние фаланги пальцев, треснул его по челюсти, чуть ниже уха. Удар, нанесённый таким образом, был не то чтобы сильным, а каким-то оглушающе-ошеломляющим. У Никиты даже зазвенело в ушах.

— Ну, как? — спросил его Боча, когда Никита, потирая щёку, присел на шконку рядом с ним.

— Нормально! — ответил Никита. — Только стрёмно, что ответить нельзя... Бить, как я понимаю, за дело надо, а так... — он махнул рукой.

— Он тебе и врзал за дело! На хрена ты вперёд его мыться полез?

Никите оставалось только молча пожать плечами.

— Знаешь, Мотыль, — Боча отбросил в сторону полотенце, — есть ведь ещё одна масть на хате, и не западловая, между прочим.

— Что за масть? — заинтересовался Никита.

— Можно тебя на права старика поставить. Так делается в некоторых хатах, если,

конечно, все старики поддержат. Тогда до тебя вообще докапываться не будут. Прикинь!

— Ну а в рожу я могу кому-нибудь из них залезть, при желании? — спросил Никита.

— Если только старик тебе первый врежет. Такие вот понятия, — пояснил Боча.

— Хм, — Никита почесал затылок, — заманчиво, конечно. Только что-то не верится, что всё так просто и гладко. Наверняка, тут примочка какая-то очередная. Одни всё положенное время на варкушках крутятся, а кто-то просто так, без напряжения, в старики влазит?

— При чём здесь просто так! За просто так могут только раком загнать. Как ты не поймёшь! Земляк земляку всегда поддержку оказывает, если, конечно, того раньше не чухнули. Поддержак от земли не в падло принять. Просто в нашей хате такое не накачивало ещё, при мне, по крайней мере. Я-то знаю, что масть такая есть, а вот другие... Ладно, я с Шуриком и Сударем побазарю, потом тебе скажу, что и как.

Никита помолчал. А потом с горечью в голосе произнёс:

— Знаешь, Боча, спасибо, конечно! Только не надо мне этого. Чем я лучше их? — он кивнул головой в сторону молодых. — И опять же неизвестно, когда кого на суд потянут. А мне жить с ними...

Боча поморщился:

— Ну сколько раз тебе повторять, не спасибай! Слов других нет, что ли? — и он откинулся на подушку. — А всё-таки я с пацанами побазарю.

Никита пожал плечами и полез на шконку.

А на следующий день его отвели к адвокату. Увидев Галину Сергеевну, Никита обрадовался.

— Проходи, сынок, присаживайся! — на морщинистом лице Лаппо играла улыбка.

— Здравствуйте, Галина Сергеевна!

— Проходи! — повторила она, указывая на привинченный к полу стул. — Ну, как ты? Как здоровье?

— Да ничего, спасибо, нормально всё, — ответил Никита. — Галина Сергеевна, а когда...

— Погоди, погоди, не спеши, — перебила она. — Сейчас я тебе всё расскажу. Присядь сначала.

Никита послушно опустился на стул. Адвокатша достала из сумочки пачку «Пега-са», зажигалку и, протянув руку, вынула из стола пепельницу-блюдец.

— Закуривай!

Никита с удовольствием подкурил сигарету, затянулся ароматным табаком и, выпустив в сторону струю дыма, приготовился слушать.

— Так вот, сынок, — Лаппо подняла взгляд на Никиту, — к следователю тебя больше не повезут, и показания свои ты уже в суде давать будешь, понял?

Никита кивнул.

— Далее, — продолжала она, — обвинительное заключение тебе передадут прямо в камеру. Ты с ним внимательно ознакомишься, и что тебе будет не ясно или с чем ты не будешь согласен, подчеркни прямо в тексте. У тебя до суда будет ещё три дня, и мы с тобой успеем эти моменты обсудить. Понятно?

Никита опять кивнул.

— А как долго мне этого заключения ждать? — спросил он.

— А вот этого даже я не знаю, — ответила адвокат. — Мы — твоя мама и я — делаем всё возможное, чтобы судебное разбирательство состоялось побыстрее. Но ты, сынок, пойми, от меня как от адвоката сейчас мало что зависит. Суды, к сожалению, завалены делами, поэтому приходится ждать. И ещё, если до конца месяца ничего не выяснится относительно сроков, то тебе разрешат свидание с мамой, и передачку,

естественно. А это, — она достала из-под стола объёмистый матерчатый баул, — мама попросила тебе передать. Посылка внеочередная, поэтому не распространяйся сильно. Да, в общем-то, — она помолчала секунду, — тебя и спрашивать никто не будет. Ну, ты меня понял? Теперь главное — терпение.

— Спасибо вам, Галина Сергеевна! — встрепенулся вдруг Никита, вспомнив о культорговском письме. — Тут вот меня попросили вам передать, — и Никита достал из кармана робы сложенный пополам конверт.

— Именно мне? — Лаппо удивлённо вскинула брови. — Кто попросил? — голос у неё внезапно стал строгим.

— Да культорг наш, Бугаев! — ответил Никита. — Просил, чтобы именно вам!

— Бугаев... Бугаев... — Лаппо пожевала губами. — Знакомое что-то... — Она покачала головой: — Нет, не помню... Ты вот что, дружок, никогда никаких записок, а тем более писем никому не передавай. Понятно? Можешь не только себе, но и другим навредить... — она взяла у Никиты конверт и бросила его в сумочку. — В нём, наверное, просьба о защите, — произнесла адвокатша. — Но я ведь уже давно за «взрослые» дела не берусь.

Она поднялась из-за стола. Вслед за ней и Никита.

— Посылку возьми и сигареты... — она кнопкой вызвала контролёра.

Никита ещё раз поблагодарил Лаппо, взял баул, прихватил «Пегас» и сопровождаемый дубачкой зашагал в камеру. Когда за ним захлопнулась дверь, к нему сразу же подскочил Сашка.

— Ну чё? Куда водили? — спросил он, с любопытством глядя на Никиту. — А это откуда? — Сашка ткнул кулаком в баул. — Чё в нём?

— Да я и сам не знаю! — ответил Никита. — Мать через адвокатшу передала.

— Вот это да! — воскликнул Боча, когда Никита, развязав баул, высыпал его содержимое на разложенную на одеяле газету. — Живём, пацаны!

Кроме огромного куска солёного сала, здесь была упакованная в целлофановый мешок варёная картошка, домашние котлеты, две жареные курицы, пирожки, сдобные булочки и целая куча шоколадных конфет и карамели разных сортов, а также две упаковки плиточного чая (продукт в официальной передаче запрещённый) и пачек двадцать сигарет «Родопи». Отдельно завернутое в газету нижнее бельё, тубик зубной пасты, щётка, пачка туалетного мыла, общая тетрадь с вложенными в неё стержнями для ручки и десяток помещённых туда же почтовых конвертов. Один такой конверт был заклеен, и на нём значилась фамилия Никиты. Он даже не стал смотреть, как пацаны будут распределять всё это богатство, а, схватив конверт, забрался на шконку. Уже с первых прочитанных строк Никита почувствовал, как спазмы сдавили ему горло. Мать писала, что живёт только надеждой на его скорое освобождение. Писала, что ежедневно её навещают Никитины товарищи. Что она была в школе и что некоторые учителя готовы ходатайствовать за него перед судом (во что Никита почему-то не поверил), и что ему написали хорошую характеристику, и прочее, прочее, прочее... В конце письма мать очень хвалила Галину Сергеевну и всеми святыми заклинала Никиту не нарушать режим и не делать, не дай Господь, наколок на теле. Она просила не отчаиваться, и сама, в свою очередь, надеялась, что всё обернется.

Никита дважды перечитал письмо, и им овладела такая тоска, что показалось, будто и не доживёт он до суда, а умрёт вот прямо тут! В этих вот стенах! Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. Боялся в этот момент только одного — чтобы никто ни увидел его вздрагивающих плеч. К счастью, Никиту не тревожили. Пацаны занимались делёжкой продуктов, и до Никиты им не было никакого дела.

На следующий день он стал свидетелем того, как тела украшаются татуировками. Делалось это осторожно, так как в случае обнаружения подобного действия контролёрами, виновного немедленно водворяли в карцер. Ещё накануне Гога и пацан из

семейки Сударя по кличке Ушастый (а кличку эту он получил за невероятно оттопыренные уши), приготовили так называемую жжёнку. Сначала они жгли небольшой кусочек каблука от ботинка, а потом, соскоблив с него пережжённую крошку, мешали её с собственной мочой, дабы избежать заражения крови. Таким образом получалась краска для наколок. Ушастый, предварительно выбрав из блокнота Гоги изображение тигра, пожелал перенести его на своё предплечье. Никита ещё в бане видел на теле многих пацанов различные рисунки, но каким образом они наносятся, знал только теоретически. Сейчас же он с интересом наблюдал, как Гога рисует тигра на тетрадном листке. Закончив рисовать, он намочил листок в миске с водой, приклеил к тому месту, где собирался делать татуировку. Когда листок был убран, то на теле Ушастого отпечаталась копия рисунка. Гога ещё некоторое время поработал над рисунком ручкой, затем они отошли в дальний угол, где их нельзя было увидеть в дверной глазок. Там Гога всаживал в тело Ушастого смоченную в краске иголку с намотанной на самый её кончик ниткой. Занятие это было кропотливым и долгим, поэтому продолжалось не один день и, как потом увидел Никита, закончилось весьма успешно. Ушастый на очередной помывке с гордостью демонстрировал оскалившуюся морду зверя. Что же касалось Никиты, то захоти он сделать что-либо подобное, ему не позволили бы старики. Как однажды выразился Сашка: «Загордяк будет молодому партаками козырять!» У самого же Шматова имелось множество наколок на руках, как впрочем, и у Бочи. И если первый приобрёл свои украшения на воле, то последний исколлся, уже будучи в зоне.

Через несколько дней вручили обвинительное заключение Храпессору.

— Ничего себе! — негодовал Боча. — Застариковаться даже не успел, и на суд уже... Тут как дурак паришься в этих стенах столько времени, а этот пряник уже через неделю в зоне будет!

— Да не ори ты! — перебил его Шматов. — Ему ещё в осуждёнке неизвестно сколько чалиться, пока этап на зону пойдёт.

— Эй, Храпессор! Дай-ка обвинилровку сюда! — крикнул неугомонный Сударь. — И скажи заодно, хрен в дерево — какое стерео?

Храпессор протянул ему тоненькую пачку отпечатанных листов. «Двойная раскумарка», — ответил он и поспешно отошёл от Сударя, который, судя по всему, уже изрядно его достал. А тот, нисколько не интересуясь ответом на свою примочку, принялся за чтение.

— Вот так, — Сашка ткнул Никиту в бок, — тут не скроешь, за что закрыли. Всё равно рано или поздно всё узнается...

Следующим днём, когда хата направлялась на прогулку, Боча кивком головы показал на одну из камер.

— Смотри, Мотыль, это обиженка! Здесь одни чушки да лыжники сидят. Запомни, на всякий случай, — шёпотом произнёс он. Разговоры в строю были строго запрещены.

— Зачем? — также шёпотом спросил Никита. Он оглянулся. На дверях камеры стоял обыкновенный трёхзначный номер. — Ну, вот обиженка с чушками — это понятно, а лыжники — это кто такие?

— Ну, это те, которые из хаты выломились. Креста там не выдержали, или варкушек, например. Про таких говорят, на «лыжи» встал. Вот их к чушкам и кидают! Если из одной хаты выломишься, в другой тоже не примут. Въехал?

— Да... — протянул Никита, — пока всю эту премудрость освоишь...

А потом Никите пришлось переехать со своих шконок на сторону молодых. Стариковался Валет, парнишка, угнавший мотоцикл и сбивший на нём пытавшегося его задержать милиционера. Почему его прозвали Валетом, Никита так и не понял. Валет так Валет, какая разница! Стариковал его Сашка Шматов. Валет, заложив руки за



спину, спокойно снёс несколько несильных ударов по животу и, пожав поочерёдно руки всем старикам, водворился на Никитину шконку. А тот, в свою очередь, переехал на его место. Это перемещение никак не сказалось на взаимоотношениях Никиты с семейниками. Он был даже доволен тем, что перешёл ближе к молодым. Его соседом стал весьма словоохотливый пацан, который знал бесчисленное множество тюремных баек и охотно делился ими с Никитой. Вскоре после обычной утренней проверки, когда в ушах не отгремел ещё обязательный советский Гимн, проверяющий дубак сообщил, что сегодня будет отоварка и желающие могут записаться прямо сейчас. Камера загудела. Дубак зачитал список тех, у кого на квитке имелись деньги. Таких оказалось больше половины сидельцев. Среди прочих значилась и фамилия Никиты. Когда в открывшуюся кормушку подали список того, что можно было приобрести в тюремном ларьке, он, пробежав его глазами, только хмыкнул.

— Ну ладно, махорка, конфеты, печенье — это понятно. Тетради и карандаши — тоже. А вот простыни с наволочками, полотенца — зачем?! Ведь и так выдают!

— А вот если ты что-нибудь из белья этого прошахуешь, то и купить должен! Возместить, так сказать, — пояснил находившийся рядом Боча. — Вот шмон будет в хате, и не досчитаются вдруг чего... Или покупай, или в карцер шагай, если денег на квитке нет.

— Ну надо же! — восхитился Никита. — Как тут предусмотрено всё!

Он записал на свою фамилию десять пачек махорки (это было пределом), три простых тетрадки, карандаш (тоже почему-то, в единственном числе), килограмм карамели «подушечки» или, как их ещё называли, «собачьей радости», пять пачек печенья и столько же пар хлопчатобумажных носков. На всё про всё ушло что-то около шести рублей. Часа через два всё это было у Никиты.

— Чё, не стал на весь червонец отовариваться? — спросил его Шматов.

— Так что там брать-то? Махорки — и то десять пачек всего! — негодуя ответил Никита и отправился на своё новое место. Он уже знал, что отоварка — это не дачуха. И никто её отметить или делить не станет, поскольку это кровняк, то есть кровная пайка. Его сосед по шконке, которого звали Тимохой, от фамилии Тимофеев, притащил с отоварки почти то же самое, что и Никита. Он не взял ни носков, ни карандаша, поскольку имел стержень от ручки, который называл пастиком. Всё остальное у них было равноценным.

— Во ништяк! — от души радовался Тимоха. — Хоть с курёхой теперь, а то я забодался побираться! Эй, Чёрный! — крикнул кому-то. — Лови! — бросил пачку махорки одному из пацанов. — Долг, как говорится, платежом... — пояснил он Никите свои действия.

Тот только усмехнулся. При всей своей абсурдности законы малолетки всё же были, как ему казалось, в чём-то и справедливы. Никто не унижал ближнего своего без причины. Другое дело, что причины эти в большинстве своём были надуманными, и весь идиотизм заключался в том, что редко кому удавалось решить возникшую проблему без воздействия морального или физического насилия. Те же самые варкушки, или, проще говоря, обыкновенный мордобой, были настолько обыденным явлением, что на это и внимания особо не обращали. То же касалось и различных «игр», как то «Воду пить с параша, или с коца?», «Мыло со стола есть, либо хлеб с параша?» Как понял Никита, выбирать нужно всегда наихудший вариант. Тогда, в любом случае, пацаны не позволят замаститься. Но существовали примочки настолько каверзные, что выручить в этом случае могли или собственные мозги, или незаметная подсказка со стороны благодетеля. За решёткой Никита находился почти месяц, у него уже не было того внутреннего напряжения, какое чувствовалось в первые дни. Единственное, от чего он не мог избавиться, так это от чувства какого-то ожидания. Ожидание чего-то ещё ему неизвестного. Он, как ему казалось, вроде бы достойно влился

в тюремную среду, стал как бы частью её. Но боязнь совершить что-нибудь не так оставалась. Вскоре хата пополнилась новым сидельцем. Это был Заруба, совсем ещё пацан, даже не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом. Он едва достиг четырнадцатилетнего возраста, как раз такого, чтобы его можно было заключить под стражу. Заруба был фрамужником, иначе говоря, форточником. Несмотря на высоту этажа, он забирался в открытую форточку пустой квартиры и уже изнутри открывал дверь сообщникам. С ним вместе по делу проходили ещё три человека, но находились они во взрослых камерах. По внешнему виду Витька Зарубин никак не тянул на свой возраст. Роста он был небольшого, худощавый и щуплый, но вместе с тем необычайно подвижный и сноровистый. Так как свободная шконка была только одна и помещалась на втором ярусе прямо над Рябой, то Зарубе поневоле пришлось устраиваться там.

— Не кани, пацан! — сказал ему Сударь. — Завтра-послезавтра Храпессор на суд уйдёт. Так что на его шконку переселишься. А пока здесь падай! Ничего западлого здесь нет. А ты, козёл! — он со всего маха пнул сжавшегося в комок опущенного. — Спать теперь на полу будешь, понял! Под собственной шконкой!

— Эй, Сударь! Вяжи борзеть! — крикнул из своего угла Бугаев. — Хочешь, чтобы дубаки ночью всю хату на коридор вывели? Засекут, что шконка пустая и доказывай потом, что ты не верблюд! Пусть чушка спит где спал!

Заруба во время этого диалога стоял и только хлопал глазами. Он ничего ещё не понимал и поэтому спокойно кинул свой матрац на указанную Сударем шконку. Но переночевать на ней ему пришлось всего один раз. Утром, ещё до завтрака, вызвали Храпессора с вещами, и тот, простившись с пацанами, отправился узнавать длину своего срока. Заруба переключался на его место. Через три дня, как и положено, его окрестили. Но крестили только так, для проформы. Уж слишком маленьким и щуплым был Заруба. Боча несколько раз ткнул его кулаком в живот, а потом стал посвящать в тонкости тюремного бытия.

Однажды, уже в послеобеденные часы, открылась кормушка и раздался голос контролёра:

— Мотылёв! На свидание!

У Никиты ёкнуло сердце. Вот оно! Наконец-то он увидит мать! Комната для свиданий была небольшой. Перегороженная застеклённым барьером, с множеством телефонов по обеим сторонам и таким же количеством стульев. Кроме Никиты здесь уже находились несколько человек, как малолетки, так и взрослые. Никита отыскал взглядом свободное место и сел на стул, перед которым на низкой полке стоял телефонный аппарат без наборного диска. Подняв глаза, он по другую сторону барьера увидел мать. Она хоть и улыбалась ему, но в глазах её Никита ясно видел сдерживаемые слёзы. Мать взяла телефонную трубку, знаком предлагая Никите сделать то же самое. Они разговаривали всего пятнадцать минут. Таков уж здесь был временной лимит. Мать в разговоре с ним всё время делала упор на то, что уже скоро суд, чтобы Никита потерпел ещё немного, ни в коем случае не нарушал режим и не перечил начальству.

— Как там музыканты мои? — перебил её Никита. — Приходили?

— Да, да, приходили, конечно! — мать закивала головой, не отрывая трубку от уха. — Они часто заходят, спрашивают про тебя. Особенно Валерка Гуров! И этот ещё приходил, Женька что ли... Тоже всё про тебя расспрашивал. Когда, мол, суд будет, и всё такое прочее... Он у тебя свидетелем будет. Так Галина Сергеевна сказала. Она его к себе в адвокатуру вызывала, беседовала с ним...

Уже на прощанье, когда контролёр положил на его плечо руку, Никита крикнул в трубку:

— Не переживай, мама! Всё в порядке у меня!

На его глазах постепенно менялся контингент сидельцев. Уходили одни, на смену им приходили другие, и Никите казалось, что поток этот, как течение реки, был таким же нескончаемым. Ушёл и Сашка. У него, как и у Бочи, это была уже вторая суди-

мость. Вместе с условным сроком, полученным ранее, он раскрутился на пятерик. Из старой компании в камере оставались Боча с Никитой да Сударь с несколькими пацанами.

Жизнь текла своим чередом. Одних крестили, других стариковали, и по-прежнему в хате раздавались щелчки варкушек, и вопли от тех или иных малолетских забав. Пришло время и Рябе отправиться на суд. Он выломился из хаты, как торпеда, может быть, надеясь на то, что где-нибудь в другом месте ему будет лучше.

— Хана ему придёт в зоне, — задумчиво проговорил Боча, когда дверь за Рябой захлопнулась. — Или убьют, или до конца срока собственное дерьмо жрать будет!

— Уж лучше в петлю! — попытожил Никита.

К нему по-прежнему никто не приставал с примочками. Может быть, благодаря Бочалину, может, просто из-за того, что Никита вёл себя несколько иначе, нежели другие. Он и сам чувствовал, что понемногу начинает завоёвывать симпатии пацанов.

Всё изменилось с появлением в камере ещё одного второходочника, Сергея Павлинюка, по кличке Серый. Когда Павлинюк вошёл и за ним захлопнулись двери, он, внимательно оглядев хату и всех, в ней находящихся, подошёл к столу. Затем, поставив на скамью свой майдан, спокойно спросил:

— Блатные есть?

В камере мгновенно воцарилась тишина. Появление в хате новичка было не бог весть какой новостью, но подобный вопрос поставил в тупик даже Бочу.

— Блатные есть в хате?! — громче переспросил новичок. — Нет? Тогда — я блатной!!!

Он переместил майдан с лавки на стол, что по понятиям малолетки делать было не принято. Присел на скамью и, достав из кармана робы пачку «Опала», закурил. Судя по его новейшей робе, крепким ещё коцам, да и по величине майдана, Никита сразу определил, что пацан этот на тюрьме уже не первый раз.

Был он высоким, широким в плечах и узкопосаженными глазами смотрел на мир с неимоверной наглостью и выражением полнейшего превосходства над окружающими. На вид ему можно было бы дать лет двадцать, тогда как на самом деле не было ещё и восемнадцати.

— Кто за хатой смотрит? — Серый обвёл взглядом камеру. — Или под культоргом хата? — он ткнул пальцем в сторону Бугаева.

Тот от такой наглости даже опешил.

— Эй, придурок! Ты чё, совсем нюх потерял? Тебя кто так в хату заходить научил?!!

— Слушай сюда, активист! — нимало не смутившись, ответил Серый. — Мне через месяц на взросляк подниматься. Как ты думаешь, погоняло твоё всплывёт там? Очко-то, небось, сжимается? Знаешь, что у бродяг тебе вилы корячатся? Это ты здесь герой, а там живо под шконари прыгнешь!

Лицо Бугая побагровело.

— Ах ты, щенок! Ещё пугать меня будешь! Да я тебя в карцере сгною! Пока под следствием будешь, не вылезешь оттуда, понял?!

Бугай знал, о чём говорил, и карцером грозил не зря. В его полномочия входили так называемые жалобы на подследственных малолеток. Он мог попросту донести на любого сидельца, обвинив его в нарушении режима, а уж начальство в лице дубаков решало, какое наказание применить в каждом отдельном случае. Наказание могло быть разным. Это и запрещение пользоваться отоваркой, и лишение права на передачу или свидание с родными, или же водворение нарушителя в карцер. Но самым страшным для любого арестанта был перевод его в обиженку. По сути дела, каждый из правильных пацанов, попавших туда, автоматически становился мастёвым. А могли и просто кинуть в пресс-хату, где провинившийся, несмотря на то, что он малолетка,

мог запросто лишиться здоровья. В общем, методов было множество, и любой культорг мог свободно устроить «райскую» жизнь своему подопечному. Единственное, что удерживало активистов от жалоб, так это то, что сами они могли в любой момент отправиться этапом на зону, где им изначально было уготовано отнюдь не райское существование. Быть надсмотрщиком над малолетками — что может быть «западнее»! Эти-то вот понятия и заставляли культоргов быть сдержанными и осторожными, но в данном случае наглость Серого перешла все границы. Бугай, по сути дела, и не препятствовал пацанам жить по своим законам, а о том, чтобы стучать на кого-либо, не могло быть и речи. Поэтому он, хоть и не пользовался авторитетом, будучи активистом, но как к человеку претензий к нему ни у кого не возникало. Неожиданно для всех со шконок соскочил Боча.

— Ты откуда, рысь такая, взялся?!! — каким-то свистящим шёпотом произнёс он. — Чё! Шерстяной сильно, да?! — Боча, не дав Серому подняться с лавки, со всего размаха влепил ему жёсткую затрещину по уху. К чести своей Серый от такого поворота событий не растерялся. Он соскочил с места и ответил Бочалину прямым ударом в челюсть. Мгновенно рядом с ними оказался Сударь. Он вклинился между противниками и, обхватив Бочу руками, оттащил его в сторону.

— Успокойся, кентуха! — уговаривал взбеленившегося приятеля. — Ща разберёмся, что это за хрен с горы.

Он отвёл Бочу к его шконке и вернулся к Серому.

— А ну-ка обскажись, кто ты такой!

— Я-то?! — Серый достал из робы пачку «Опала». — Закуривай, земля! — протянул он сигареты Сударю.

— Благодарю, — отказался тот, — свои имею. — Демонстративно достал точно такой же «Опал» и, закурив, присел на скамью. — Ну, базарь! Кто ты есть и откуда взялся бурый такой.

Бугаев в это время сидел на своей шконке и нервно теребил сделанные из хлеба чётки.

— Короче! — новичок опустился рядом с Сударем на лавку. — Я полтора года зону топтал под Красноярском. Сам я оттуда, и загремел по глупости. Мне тогда ещё и пятнадцати не было. Откинулся по УДО!

— Чё, шибко хорошо вёл себя? — перебил его Сударь.

— Да нет, — ухмыльнулся собеседник, — постановление какое-то вышло, хрен его знает... Мне так-то ещё столько же чалиться оставалось. Ну, так вот, — продолжил он, — в ваш город приехал к тётке своей. Погостить, короче... Познакомился с биксой одной, ну и в кабак намылился её сводить. Пришлось у тётки печатку рыжую позимствовать. На рынке за нехилые бабки сдал её запросто. Ну и всё ништяк, вроде бы, но сучка эта упёртая попалась. Короче, не дала она мне! Ну и раскрутилась, конечно, на «ой, мама, больно мне!» Весь кайф, стерва, обломила! Выкинул я её из квартиры, а она прямым ходом к мусорам пошкияла. Я-то крученный, — заранее приготовил, на всякий пожарный, — он кивнул на майдан. — Как оказалось, не зря. Менты на следующий день ко мне вместе с этой лярвой прикатали. Ну и вот... — Серый развёл руками. — Короче, земля, показывай, куда приткнуться, а с этим, — Серый посмотрел в сторону Бочалина, — я потом разберусь...

Сударь помолчал, затушил окуроч и указал Серому на шконку, которую раньше занимал Ряба.

— Вон! Она одна свободная. Туда и падай!

— Ты чё, земля! Охренел, что ли?! Там же параша рядом! Ты за кого меня держишь-то?!!

— Может быть, мне свою шконку тебе уступить? — зло проговорил Сударь. — Попробуй, другую найди, — добавил он. — Только, учти, за беспредел можно запро-

сто не на шконке, а под ней оказаться! Въехал? А кто ты есть и кем жить будешь — хата решит! — и Сударь, поднявшись с лавки, пошёл к Бочалину.

— Эй, погоди-ка! — крикнул ему вслед Серый. — Я тогда сам себе место найду!

— Попробуй, — повернув голову, ответил Сударь. — Только беспредела здесь никто не допустит!

Все, находившиеся в камере, с пристальным вниманием следили за развязкой этой ситуации. Ничего подобного в хате ещё не было. Тем временем Боча, Сударь и ещё несколько человек из числа стариков устроили между собой что-то вроде совещания.

— Ни хрена себе пассажир! Наглый, как танк! — Сударь развёл руками. — Прёт буром! Я ещё таких оторванных не встречал...

— Чё он там базарил тебе? — спросил Бочалин.

— Короче так, пацаны! Кадр этот мутный какой-то, — Сударь достал из кармана «Опал», угостил всех присутствующих. Они тут же задымили весь проход между шконками.

— Базарит, что в Красноярске чалился, а здесь тётка живёт, — продолжал он. — Раскрутился, видимо, не хило! Лет на восемь, точняк! Бабу покоцал за то, что трахать не дала, а это уже две статьи! К тому же он — крыса! У собственной тётки рыжевьё увёл. А это запахло, я считаю!

— Не только ты! — перебил его Боча. — Не зря я ему вклеил!

— Ну, он в долгу не остался! — усмехнулся Сударь. — Ты же, Боча, опытный. Сам знаешь, что такие дела кулаками не решают! А вообще, всё это не в масть! Что-то с этим гладиатором решать надо.

— А чё с ним решать? — подал голос один из недавно застариковавшихся пацанов по кличке Сухой. Был он высоким и до чрезвычайности тощим, и погоняло своё оправдывал вполне. — На лыжи поставить его — и вся канитель.

— Нельзя на лыжи, — Боча задумчиво тёр пострадавшую скулу. — Не за что пока. То, что он по воле крыса, ничего не значит. В хате он косяков ещё не успел напороть. И за культорга, по понятиям, правильно сказал. Активист, он и в Африке активист! А чего до статей его, тут стрёма тоже нет. Может быть, баба его сама подставила. На воле всякое бывает. Не нам ему приговор выносить. Ну а то, что он борзый такой, за это только мне и Бугаю спрашивать. Бугай как знает, а мне стыкнуться с ним придётся!

— Ой, Боча! Тебе с ним? Посмотри, какой ты и какой он! Ты же огребёшься, факт! — Сударь в упор уставился на Бочалина.

— А у меня выхода другого нет! Иначе правоту его признать придётся. Я и в зоне не позволял никому себе в рожу лезть без причины. Огребусь так огребусь. Но и ему циферблат попорчу.

Пацаны одобрительно загудели.

— Я тут вот что вспомнил, — Боча на секунду замолчал. — Когда по первому сроку чалился, в соседнюю хату вот такой же блатной вломился. Ну и давай кренделя свои заворачивать! Чем-то пацан из молодых ему не понравился. Давай он его с варкушки на варкушку шпынять, а потом и вовсе оборзел. Я, говорит, слово пацана даю, что, мол, после отбоя из него петуха сделаю. Пацаны орут ему, что беспредел это, мол! Не за что! А тот орёт, что пацан этот сам подкатит, добровольно, мол. А культорг у них вольтанутый был какой-то. Вы, говорит, братва, не слушайте его, он не слово пацана сказал, а снова пацана. Знаешь, примочку такую? — Боча повернул голову к Сударю.

— Угу, — кивнул тот. — Фуфловая примочка! Беспредельная...

— Ну и чё? — поинтересовался кто-то.

— А дальше вообще интересно стало! Слово пацана по любому держать надо, а то и самому не долго на шишку прыгнуть! Пацан этот сразу после проверки вены вскрыл себе. Зубами перегрыз, прикиньте?! Ну и на больничку, естественно, моментально



свалил. А когда его из хаты дубаки уводили, ещё и крикнуть успел, что по понятиям теперь, мол, из этого блатного петуха делать следует, так как он слово пацана впустую впарил! Вот так-то.

— Ничего себе! — произнёс кто-то из стариков — Ну и как этот блатной выкрутился?

— А никак, — усмехнулся Бочалин. — На лыжи встал тут же, когда понял, что за косяк такой ответить придётся. Ну а как с него в другой хате спросили... — Боча пожал плечами.

— Вот что, Лёха! — Сударь неожиданно назвал Бочалина по имени. — Спать-то негде ему. Шконка только одна осталась, и та...

— Я-то знаю, что делается в таких случаях, — ответил Боча. — Давайте позовём его сюда и посмотрим, как он заморочку эту вывезет!

Сударь подошёл к новичку, который всё это время продолжал сидеть на скамье.

— Пойдём! — он кивнул. — Пацаны с тобой побазарить хотят.

Тот как бы нехотя поднялся и направился вслед за Сударем.

Новичку пришлось повторить ещё раз свой рассказ, а потом, обращаясь к Бочалину, он произнёс:

— Ты, земля, зря сразу в бузу попёр! За культорга в падло впрягаться.

— При чём здесь культорг? — опять вскипел Боча. — Мне Бугай по уху как-то! Мне просто наглость твоя не в жилу! И то, что ты себя выше других поставить хочешь!

Серый усмехнулся и ничего не ответил.

— Короче так, — продолжал Бочалин, — перед отбоем стукнёмся, один на один, а как дальше вместе жить будем, время покажет.

— Во попал! — рассмеялся вдруг Серый. — Ну и хата у вас! Ну, да ладно, где причалить мне? Не там же! — он кивнул в сторону свободной шконки.

— А ты сам реши, — съехидничал Боча. — Но тебе уже сказали, беспредел тут не катит.

— Ну, ништяк, — вздохнул Серый. — Я ведь тоже не пальцем деланный и в понятиях секу кое-что... — Он закурил, помолчал минуту, а потом спросил, ни к кому конкретно не обращаясь: — Кто из молодых в хату последним пришёл?

— Да вон тот на втором ярусе! — ответил Сударь. — И что?

— Да то... — сквозь зубы процедил Серый и направился к шконкам.

Паренёк, занимавший верхний ярус, в камере находился всего неделю. Фамилия его была Мазаев, и кликуху он имел соответственную — Мазай. Крестил его некто Лава, пацан из окружения Сударя, по фамилии Лавренёв. Сейчас Мазай во все глаза смотрел на своего крёстного, а когда тот поймал его взгляд, то только кивнул головой. Мазай конечно понимал, что обязан выполнить требование второходочника, и поэтому безропотно переместился на нижнюю шконку. Но Серый не торопился водворяться на предоставленное ему место. Он обвёл взглядом шконки, занимаемые молодыми, и спросил:

— Ну чё, пацаны! Никто не хочет старика уважить? С кем шконкой махнёмся?

Все молчали. Молчал и Никита.

— Ну, чё! Онемели все? — чувствовалось, что Серый начинает заводиться. — Вот, ты! — он ткнул пальцем в сторону Зарубы. — Будешь меняться?

Тот отрицательно покачал головой.

— А ты? — взгляд Серого упёрся в Никиту.

— Нет, конечно! — усмехнулся тот. — С какой стати?

Он, в принципе, ничем не рисковал. Явно недоброжелательное отношение к новичку стариков разделяла вся камера. Никита уже достаточно находился в тюрьме, чтобы не сомневаться в том, что сможет отстоять свою позицию.



— Ну, ладно, быки! — Серый скрипнул зубами. — Готовьтесь теперь! — Он закинул матрац на верхний ярус и пошёл к столу забрать майдан.

А вечером все стали свидетелями выяснения отношений между Серым и Бочей. Обычно старики редко когда дрались между собой. Как правило, в любой камере их было меньшинство, и, уступая молодым в количестве, они всегда предпочитали жить в ладу друг с другом. Да и понятия малолетки обязывали их к единению и сплочённости. Это, конечно, не означало, что между ними не возникало конфликтов, но до откровенных физических столкновений дело доходило очень редко. Сейчас же был как раз такой случай, и единственным способом не уронить своё достоинство в глазах сокамерников была драка, или, как здесь было принято говорить, стыкалово. Дело было даже не в том, кто окажется победителем. Дело было в принципе.

Примерно через час после вечернего хлёбова Боча подошёл к Серому, который в одиночестве сидел на лавке у стариковского стола, за которым, естественно, и ужинал, и, смоля одну сигарету за другой, думал о чём-то своём. Он каким-то отсутствующим взглядом посмотрел на Бочалина и спросил:

— Тебе, земля, нужно что-нибудь?

— Ага! — ответил Боча. — Блоть твою смахнуть хочу, а то ты возомнил, что самый правильный тут!

Камера замерла, прислушиваясь к диалогу.

— Да мы все здесь вроде правильные! — Серый щёлкнул окурком в сторону параша. — Мастёвых не видно что-то... Слушай, как там тебя, Боча, что ли? Тебе что, делать больше нехрен? Чё ты непонятки лепишь какие-то? Если на стыкалово лезешь, так это только им прикол, — Серый кивнул в сторону молодых. — Тебе это надо?

Серый явно хотел сгладить возникший между ними конфликт. Чувствуя настрой к себе стариков, он понимал, что драка, даже если он хорошенько взгреет Бочалина, ему не выгодна и его проблем во взаимоотношениях с хатой не решит.

Боча ничего не ответил Серому, повернулся и пошёл к своей шконке. Там он взял полотенце и стал наматывать его на руку. Делалось это для того, чтобы после драки ни у кого из противников не оставалось синяков. Синяк — это однозначно палево, влекущее за собой интерес со стороны дубаков, и как следствие этого — карцер, как минимум, одному из участников стыкалова. Чаше — обоим. Видя, что столкновения не избежать, Серый обвёл взглядом камеру, пожал плечами и тоже отправился за полотенцем. Исход этого поединка был ясен всем. Серый был и выше, и плотнее Бочалина, но, тем не менее, его несколько смущала самоуверенность противника. К тому же симпатии камеры были далеко не на стороне Серого. Эти приготовления не ускользнули и от культорга.

— Эй! — крикнул он, приподнимаясь со шконки. — Вы там чё затеяли?!

— Стыкалово будет! — сообщил ему Боча, выходя на середину камеры. Он посмотрел в сторону молодых, взгляды которых были прикованы к происходящему.

— Эй, кто-нибудь! На пику встаньте!

Это означало, что кто-то должен загородить собой дверной глазок, во избежание неприятностей со стороны контролёров. А неприятности могли возникнуть не только у прямых участников стыкаловки, но и у культорга. За то, что он допустил драку, его запросто могли отправить в зону, а этого боится любой активист.

— А ну-ка вяжи давай! — ещё раз крикнул Бугаев. — Мне чё, казачков позвать?

Казачками называли солдат внутренней службы, которые с помощью резиновых дубинок или столярных киянок, обитых жёстью, наводили порядок и умирляли возникавшие в камерах беспорядки.

— Да не кани ты, Юрка! — толковывал ему Боча. — Мы наскоряк разберёмся — никто не засечёт!

Бугаев в ответ лишь отрицательно покачал головой.

Вдруг раздался голос Серого:

— Ты чё лезешь, сука ментовская! Ссышь, что очко лопнет?

Это вмешательство Серого было непонятным. Ему явно хотелось оттянуть разборку с Бочей до более благоприятного момента, но желание выделиться перед пацанами, оскорбляя культорга, было выше желания предотвратить конфликт. После такой тирады Бугай сжал челюсти, подумал минуту и, махнув рукой, опять улёгся на шконку.

— Если что, я спал в это время, — проговорил, страхуясь заранее.

На пику, загораживая её собой, встал Заруба. Серый, похлопывая обёрнутым полотенцем кулаком по ладони другой руки, вышел из прохода. В этот момент Боча, как коршун на добычу, налетел на него и нанёс удар в область солнечного сплетения. Серый охнул. Он, по-видимому, ожидал удара в лицо и на мгновение растерялся. Но это было лишь на мгновение. Уже в следующую секунду Серый отшвырнул Бочу от себя и нанёс ему прямой удар в голову. Не пригнись Боча в этот момент, его непременно снесло бы с ног. Но он всё же успел пригнуться и, уже не видя противника, ударил просто на удачу. Бочин кулак угодил Серому прямо в адамово яблоко. Тот сразу же схватился рукой за горло и отступил назад. От боли у Серого расширились зрачки глаз. Дыхание было сбито, и он теперь только закрывался свободной рукой от сыпавшихся одного за другим ударов Бочалина. Все вдруг явственно услышали звон ключей и лязг дверных замков. В то же мгновение противники метнулись в разные стороны. Дверь открылась, и ворвавшийся в камеру контролёр, отпихнув зазевавшегося Зарубу, заорал:

— Что тут происходит, мать вашу?! Почему глазок закрываете?! Вы что, правила забыли?! Культорг! Где культорг?!

Бугаев, притворно зевая и протирая глаза, соскочил со шконки и подошёл к надзирателю.

— В чём дело, начальник? — сделал удивлённое лицо, спросил он.

— Что тут творится у тебя, я спрашиваю?! — у дубака от злости лицо сделалось багровым.

— Да ничего не творится, всё нормально, как всегда, — ответил Бугаев. — А чё, случилось-то?

— Почему глазок закрываете? А ну иди сюда! — дубак поманил пальцем Зарубу. — Ты чего у дверей забыл?

— Да ничего не забыл, — удивлённым тоном ответил Заруба. — Просто задумался и...

— «Задумался...» — передразнил его контролёр. — Ты что, правил не знаешь? Тебе культорг не объяснял, что возле дверей запрещено стоять?

— Нет! — совершенно искренне ответил Заруба. И это было его ошибкой.

— Осужденный Бугаев! — повернулся к нему дубак. — Вы про обязанности свои помните? Или забыли?! Почему подследственных не контролируете?

— Да он недавно у нас. Не успел ещё привыкнуть, — ответил Бугаев и зло посмотрел на Зарубина. — Виноват, начальник! — как-то по-военному сказал культорг. — Наведём дисциплину! Нарушений не будет больше!

— Смотри у меня! — контролёр погрозил пальцем. — Он оглядел камеру и перед тем как её покинуть, проворчал: — Я всё равно начальству доложу, что непорядок в камере. Понял, Бугаев?

Тот кивнул головой.

— Смотри! — ещё раз произнёс дубак, захлопывая за собой дверь.

Бугай молча прошёл на своё место. Теперь уже ни о какой стыкаловке не могло быть и речи. В сущности, оба противника остались, как говорят картёжники, при своих. Но каждый из них понимал, что мира между ними уже не будет. С этого момента для молодых наступило время «че». Казалось, что Серый преследует теперь только

одну цель — как можно сильнее досадить не оперившимся ещё пацанам. Мало того, что он знал множество всяких примочек, о которых в этой камере и не слышали никогда, Серый умудрялся ещё и придумывать их. В этом деле он проявил незаурядный талант, складывая загадки в рифмованные строчки. В хате не оставалось молодого, который не огрётся бы варкушкой. Особенно доставалось Никите, и этому было несколько причин. Одна из них та, что Никита имел поддержку от стариков, и в особенности со стороны Бочи. А это не могло не раздражать Серого, поскольку к последнему он испытывал даже больше чем неприязнь. После стыкалова они не контактировали друг с другом. Но от этого скрытого противостояния больше всего страдал Никита. Серый постоянно искал способ лишний раз угостить его варкушкой и этим унижить. А для Никиты это было хуже всего. Спасало его лишь то, что обладал он отличной памятью и никогда не попадался дважды на одну и ту же примочку. Серому всё труднее было придумывать новые, а Никите с его интеллектом тяжелее вдвойне, так как он острее других воспринимал эти издевательства. Серый это чувствовал и унижать Никиту было для него особым удовольствием. Так продолжалось пока наконец после очередной варкушки Никита не выдержал. Он, глядя Серому прямо в глаза, произнёс с сожалением в голосе:

— Знаешь, Серый, я бы на твоём месте Богу молился каждый вечер. Перед сном.

— Чё?! — взревел тот. — Ты чё базаришь! Грозить мне будешь ещё?!!

— Дурак, — спокойно ответил Никита. — Я никогда не опущусь до того, чтобы тебя ночью гасить! Ты Богу молись, чтобы я раньше, чем застарикуюсь, на суд свалил! Я и на карцер потом не посмотрю! Сверну хавальник твой беспредельный! — И отошёл, скрипя зубами.

— Ну, ну... — вслед ему произнёс Серый, — посмотрим.

Эти слова, сказанные Никитой, слышали если не все, то очень даже многие. Среди них и Боча с Сударем.

— Мотыль! — услышал Никита и, обернувшись, увидел, что Боча манит его к себе. Никита кивнул и немного погодя подошёл к Бочалину. Он уже усвоил, что бегать по первому знаку старика считается здесь дурным тоном, поэтому не спешил.

— Присаживайся! — сворачивая самокрутку, сказал Боча. — Базар есть.

— Что за базар? О чём? — спросил Никита.

Боча прикурил, затянулся несколько раз и, протянув Никите бычок, в свою очередь, спросил:

— Тебя пень этот не забодал ещё?

Никита, сразу сообразив, кого имеет в виду Боча, ответил:

— Забодал, конечно! И не только меня. Он, по ходу, всех уже достал! Я ему сказал сегодня...

— Да слышал я! — Боча поморщился.

Всё-таки Серый был стариком, к тому же, как и Боча, второходчиком. Бочалину по этикету не полагалось выслушивать какие-либо нападки на Серого со стороны молодого. Но Боча был земляком Никиты. Они жили в одном районе. Их дома стояли по соседству, и Боча просто обязан был хоть чем-то помочь Никите. Постараться ограничить его от бессмысленного преследования Серого.

— Помнишь, я предлагал тебе правовщиком стать? Ну, на права старика поставить? — уловив удивлённый взгляд Никиты, пояснил он.

— Помню. Ну и что?

— Давай, я с Сударем и с Гогой побазарю. Они ништяк пацаны! Против не будут.

— Против чего? — полюбопытствовал Никита, хотя и понял прекрасно, что имеет в виду Бочалин.

— Ну чё ты, Мотыль, мозги паришь? Не въезжаешь, что ли? — взвился Боча.

— Да понял я тебя! Понял! — Никита загасил окурочок. — Думаю, сiju, вот...

— И о чём? — поинтересовался Боча. — Сколько варкушек ещё на твою долю придётся? Жуwalки-то не болят ещё?

— Думаю, что пацаны скажут, — ответил Никита.

— А тебе не один ли хрен? Ты, Мотыль, как пить дать, скоро на волю свалишь. Сдались тебе примочки эти! Зачем терпеть?!

— Другие ведь терпят... — слабо возразил Никита.

Для себя он уже принял решение, и тому, разумеется, были причины. В нём жила и крепла всячески подогреваемая сокамерниками надежда на условный срок. Иначе — на волю! И ещё ему очень хотелось наказать Серого, а пока Никита был молодым, сделать это было невозможно. Теперь ему представлялась явная возможность остановить зарвавшегося второходочника.

— Ты пойми, — увещевал Никиту Бочалин, — это ведь не запахло масть право-вщика! Наоборот, некоторым загордяк даже. Ну, подумаешь, Сударь тебя пару раз по пузу хлопнет. Не облезешь ведь. Зато Серый на мозги капать не будет! Ну как?

— Ладно, — буркнул Никита. — Иди базарь с кентами своими...

О чём Боча говорил с Сударем, Никита в этот день не узнал. Видел только, что они после того как выкурили вместе по сигарете, стали рвать какие-то тряпки, чтобы вскипятить воду для чифира. Потом, пригласив Бугаева, гоняли по кругу кружку с этим самым чифиром. Звали и Серого, но тот демонстративно отказался.

— Мне в падло с активистом по чифу тащиться, — заявил он, когда кто-то повто-рил приглашение.

А на следующий день сразу же после прогулки Никита был вторично избит Су-дарем. Он встал у стены между шконками и, заложив руки за спину, принял на живот несколько не особо сильных ударов. Сударь, колошматя Никиту, только посмеивался. В этот обряд посвящения неожиданно вмешался Серый.

— Эй! Вы чё там творите, пацаны? — раздался вдруг его голос. — Мотыль! Так ты не крещёный, что ли?!

— А при чём тут крест? — огрызнулся Сударь. — Мотыля на права ставили.

— Ни хрена себе! — возмутился Серый. — Это за какие такие заслуги? Он чё, мента на воле завалил или на тюрьме дубаку в репу заехал?

— Слушай сюда, Серый! — взгляд у Сударя сделался колючим. — Если тебе что-то не нравится, то ты мне предъяви. И не ори на всю хату. Я Мотыля крестил, и мне решать, ставить его на права или нет. За него не с тебя, а с меня спрашивать будут. И если ты чего-то не допонял или против что имеешь, то я хоть сейчас на стык с тобой выйти могу!

— Спрашивать со всех стариков будут, не только с тебя, — сник Серый. — Ну и хата... — добавил он уже тише.

Так, пробыв за решёткой чуть меньше двух месяцев, Никита приобрёл совершен-но новый для себя тюремный статус.

— Ты только смотри, — поучал его Сударь, — с прав слететь, как два пальца... Пульнёт тебе кто-нибудь ради хохмы примочку, а ты забудешь и ответишь, или в игру какую сыграешь. Всё — кранты тогда.

— И ещё, Мотыль! — вмешался Боча. — Самое главное запомни, я тебе говорил уже, правовщик не может первым старика ударить. За это запросто предъявят. Не забудь!

— Да не забуду уж, — рассмеялся Никита и вдруг поймал себя на мысли, что за всё время, проведённое в неволе, смеётся первый раз.

С этого момента существование Никиты в камере изменилось. Раньше, подчиня-ясь неписаным законам малолетки и воспринимая различные ущемления своего до-стоинства как неизбежное зло, он всё-таки мог рассчитывать на моральную поддержку земляков. Теперь рассчитывать нужно было только на себя самого. Любой арестант,

перешедший из разряда молодых в разряд стариков, становился совершенно другим человеком. В нём тут же просыпались инстинкты, присущие любому властью заимевшему. Мгновенно забывались собственные обиды и появлялась потребность в ущемлении других. Никита хоть и перешёл за стариковский стол, но права участвовать в решении каких-либо вопросов не имел. Он стал просто нейтральным представителем этого своеобразного сообщества, не относя себя ни к молодым, ни к старикам, и, по сути, остался в одиночестве против всей камеры. С одной стороны, такое положение его устраивало. Он был независим и неприкасаем, но, с другой, Никита тяготился от мысли, что занял привилегированное положение раньше времени. И хотя никто из пацанов не упрекнул его в этом, всё же со стороны молодых он стал чувствовать по отношению к себе какую-то настороженность. Даже желание схлестнуться с Серым стало не таким сильным. А тот будто и не замечал Никиту. Он последовательно продолжал измываться над молодыми, но при этом границ существующих понятий не переступал. Такое положение вещей не могло оставаться долго. Рано или поздно в отношениях между Серым и Никитой должно было что-нибудь произойти. Слишком уж сильна была их обоюдная неприязнь друг к другу. И развязка, наконец, наступила! Накануне Серого вызвали на очередной допрос к следователю, а вслед за ним ушёл на суд Зима. Зимин занимал шконку, принадлежащую ранее Цыгану, и располагалась она на втором ярусе, как раз над шконкой Бочалина. Боча сразу же предложил Никите занять это место, на что тот немедленно согласился. Ему, разумеется, хотелось быть поближе к земляку. Бочалин знал, конечно, что из-за этого у Никиты обязательно возникнет спор с Павлинуком. В сущности, Серый имел преимущественное право на это место, и Боча специально малость сподличал, чтобы посмотреть, как развернутся события. Догадывался об этом и Никита. И если первому хотелось просто посмотреть, как Никита поведёт себя в этой ситуации, то второму непременно надо было доказать, что он, будучи на правах, не зря удостоился доверия стариков.

Войдя в камеру, Серый окинул всё пространство взглядом и сразу же направился к Никите. Тот, лёжа уже на новом месте, разгадывал то, что осталось от кроссворда в «Огоньковском» журнале.

— Ну и чё ты залез сюда?! — не обращая внимания на задремавшего внизу Бочу, прорычал Серый. — Вали, давай!

— Интересно... — протянул Никита, отбрасывая в сторону журнал. — А на каком основании?

— На таком! Я здесь жить буду! — глаза Серого злобно блеснули.

— А ты что, святой пи...ы клочок что ли? — повернувшись на бок, спокойным тоном произнёс Никита. — Или, может быть, так хозяин\* распорядился?

— Слушай, Мотыль! Не вымогай, а! — Серый весь кипел от ярости. — Вы тут чё, сговорились все что ли?!

— Это ты о ком, сундук? — открывая глаза и приподнимаясь, спросил Боча.

Серый ему не ответил. Он в упор смотрел на Никиту, и тот заметил, что у Серого на глазу дёргается веко.

— Нервы побереги! — сказал ему Никита и потянулся за журналом, считая инцидент исчерпанным. И тут Серый ударил. Ударил подло! Сцепленными в замок руками угодил Никите прямо в солнечное сплетение. Того словно переломило пополам. Никита судорожно глотал воздух широко открытым ртом и в ту минуту сделать ничего не мог. А Серый, сорвав со шконки Никитино же полотенце, стал поспешно наматывать его на руку. Никиту охватила такая ярость, что он, едва восстановив дыхание, прямо из лежачего положения зарядил Серому ногой в голову. Тот едва увернулся, и в этот момент раздался крик Бочалина:

---

\*Хозяин — начальник тюрьмы.

— Стой, Мотыль! Стой! Вяжи стыкалово!

Никита в это время соскочил на пол, и Боча вклинился между ним и Серым.

— Стой! — ещё раз крикнул он. — Ты чё делаешь?! Забыл, что ногами только мастёвых х...рят?! С тебя же спросят!

Никита тяжело дышал. Он совсем забыл, что по неписаным законам малолетки в любой стыкаловке ноги не применимы.

— Ладно, хоть не попал! — продолжал Боча.

Вокруг них уже суетились старики, пытаясь понять, что произошло. Подошёл Бугаев.

— Ну вы чё, пацаны! В натуре, на карцер раскрутиться хотите?! Да?!

Никита даже не посмотрел в его сторону. В нём было столько злобы, столько ненависти к Серому, что было наплевать и на культорга, и на карцер, и на всё тюремное начальство в целом. Он схватил Бочино полотенце, мгновенно опоясал им кулак. Оттолкнув того в сторону и сделав обманное движение левой рукой, правой заехал Серому в челюсть. На этот раз удар достиг цели. Лязгнули зубы, и Серый на мгновение как бы отключился. В ту же секунду Никита нанёс ещё один удар, разворотивший Серому губы. Брызнула кровь, и на плечах Никиты повисли Бочалин и Сударь.

— Всё, Мотыль! — крикнул Сударь. — Вот теперь вяжи! Кровь у него...

Всё это произошло в считанные секунды. Кровь из разбитых губ Серого решила спор. Не дай бог, было войти контролёру. Дело наверняка не кончилось бы одним взысканием в отношении культорга. Но, к счастью, всё обошлось. Серый отошёл к умывальнику, а Никита обратился к Бочалину:

— Давай, Лёха, по сигарете!

Сигареты они берегли для особых случаев, но Боча без слов достал «Родопи» и кивнул Сударю, чтобы тот присоединился.

— Всё теперь с Серым! — задумчиво произнёс Бочалин. — Зря он в нахаловку полез.

Подошёл Сударь и, как бы отвечая на это утверждение, добавил:

— Чё тут говорить, тюрьма не зона! Здесь люди от воли ещё не совсем отвыкли...

Что хотел сказать Сударь этим, Никита так и не понял. Он уже успел остыть, и, странное дело, победа над Павлинюком его почему-то не радовала.

«Теперь эта сука мстить начнёт», — думал Никита. Ему уже приходилось встречать подобных типов, которые, будучи низвергнуты с высот, ими самими же придуманными, начинали строить различные козни. А в тюрьме всяческая подлость, даже самая ничтожная, могла иметь самые печальные последствия для тех, против кого эта подлость была направлена. Никита нутром чуял, что эта стычка с Серым далеко не последняя. Заговорил Сударь:

— Слышь, кентуха! — обратился он к Боче. — Ты же с Серым наверняка в одну зону покатишь, так ведь?

— Ну, наверное, — пожал плечами тот. — А чё такого-то?

— Да вот, думаю, он накеросинит там того, чего не было, а тебе разгребать!

— Х...ня! — Боча ухмыльнулся и не ответил.

— Да... — покачал головой Сударь. — Не зря я говорил, что он мутный какой-то. А Никита молчал. Молчал и переваривал случившееся.

— Не кани, Мотыль! — хлопнул его по плечу Сударь. — Всё ништяк! Всё по понятиям!

Никита только улыбнулся слабо.

А на следующий день он получил обвинилровку. В нём с ещё большей силой вспыхнула надежда на скорую свободу. Этот его документ прочитали все. Вся камера. Один лишь Серый не выказал никакого любопытства. Даже у Бугаева не было сомнений в том, что Никите явно светит условный срок. Правда, сам Никита ничего нового в этой бумаге для себя не увидел. Более того, внимание заострилось лишь на его мнимом подвиге да на показаниях свидетелей, среди которых, к досадному удивлению



Никиты, значилась и фамилия Женьки. Он бегло пробежал глазами текст и, сложив отпечатанные листы пополам, засунул их в карман робы.

«Надо же, — думал Никита, — вот и суд! Может, и зря всё? Может, и не стоило с Серым связываться?»

Вечером Никита впервые попробовал чифир. Ничего, кроме горечи во рту, он не ощутил, но высказываться по этому поводу не стал. Заметил только, кривя душой, что напиток — ништяк. Но лучше бы «Агдама» стакан!

— Вся жизнь впереди! — пропел вдруг Сударь. — Надейся и жди...

На следующий день его отвели к адвокату. Лаппо в этот раз выглядела не такой жизнерадостной, какой была в прежние свидания с Никитой.

— Вот что, сынок, — проговорила она строгим голосом, — ты с обвинением хорошо ознакомился? Взял бумаги эти?

— Да, прочитал так-то... — ответил, запинаясь, Никита.

— Где оно?

— Да, я не захватил! Не думал, что понадобится.

— Ну я же тебе говорила! А... — адвокатша махнула рукой. — В общем-то не важно теперь. Сейчас запомни, что я тебе скажу. Что бы ни говорили свидетели, что бы ни говорил прокурор, не встревай и не перебивай! Это понятно?

Никита кивнул.

— Это первое. Второе. Когда судья спросит тебя, пил ли ты, кроме пива, ещё чего-нибудь, естественно, отвечай — нет! Да и пива ты выпил совсем немного, так, за компанию. Третье. Потерпевший тебя ударил первым, потому что сам был пьян. А гитара была уже сломана, и ею ты никого не трогал. В руки взял лишь для того, чтобы её не доломали окончательно. Запомни хорошенько, гитарой ты потерпевшего не бил, а ударил пару раз кулаком! Дал как бы сдачи, а гитару просто держал в руке.

— Понял, Галина Сергеевна! — ответил Никита. — Но как же быть с моими прежними показаниями? Я, ведь следаку... — он поперхнулся, — извините, следовательно, всё рассказал! Всё как было! Что к гитаре и не прикасался даже!

Лаппо внимательно посмотрела на Никиту.

— Послушай, мальчик! Ты на свободу хочешь выйти? Хочешь? Ну и делай так, как я говорю! Ты в школе вроде как в драмкружке занимался, да?

— Ну, — не понял её Никита.

— Ну... — передразнила его Лаппо. — Представь, что ты на сцене. Скажи, что следователь кричал на тебя. Ну, в общем, ты протоколы, не читая, подписывал, потому что испугался. Ясно?

— Ясно! — вздохнул Никита.

— И вообще, — продолжала Лаппо, — когда последнее слово будешь говорить, попытайся слезу из себя выдавить. Это помогает. Представь себе, что тебе десять лет дадут! Или вспомни что-нибудь грустное... Надо, чтобы лицо у тебя скорбным было.

— Понятно всё, Галина Сергеевна.

— И последнее, — Лаппо поджала губы. — Наверняка на суд придёт много твоих друзей. Так вот, ты там героя из себя не строй! Запомни крепко, что для тебя самое важное сейчас — это свобода! — она покачала головой и вдруг улыбнулась: — Ничего, всё хорошо будет...

— Ну чё там? — встретил его Боча. — Когда на суд?

Никита пожал плечами:

— Послезавтра, наверное. Ты же знаешь порядок.

— Вот что, Мотыль! — Боча сглотнул слюну. — Ты, если на волю сканаешь, зайди к моим, а? У меня предки, правда, не того... Отец алкаш. Мать больная! Дачухи мне не катят! Да и отоварки нет... Ты их попробуй уговорить, пусть хоть пятёрку на квиток кинут. Ладно?

И столько горечи было в Бочиных словах, столько неподдельной тоски, что у Никиты самого защемило в горле.

— Конечно! Конечно, кентуха! — сказал он, обнимая Бочалина за плечи.

— Пойдём курнём, что ли!

Всё оставшееся до суда время он старался не думать о предстоявшем разбирательстве. Всё происходило как обычно, и только для Никиты время тянулось бесконечно долго. На следующий день, когда все возвратились с прогулки, к нему подошёл Бугаев.

— Тебе ведь на суд завтра? — спросил он.

— Ну, — кивнул Никита.

— Напомни, если сам не забудешь, адвокатше про меня! А то ни слуху ни духу от неё! Ты, точно, маляву ей передал?

— Конечно! — Никита возмутился. — При мне она не читала, но то что в сумку свою убрала, отвечаю.

Культорг почесал кончик носа.

— Неужели не согласится? — пробормотал он, отходя от Никиты.

А наутро, когда из открывшейся кормушки Никита услышал свою фамилию, по телу его прошёл лёгкий трепет.

— Ну всё, Боча! Поканал я.

— Давай! — ответил тот, а Сударь, хлопнул его по плечу:

— Шкиляй, крестничек, и не возвращайся сюда больше!

Уже выходя из камеры, Никита услышал голос Бочалина:

— Не забудь, Мотыль!

Он, конечно, понял, что имел в виду Боча, но ответить не успел. Двери камеры закрылись.

Когда Никиту вывели из здания тюрьмы, то на лице он ощутил падающие и тут же тающие снежинки. За высокой оградой, опоясывающей тюремный двор, не было видно, что творится на улице. Сам двор был чисто выметен, только возле стен и забора высились большие сугробы снега. Стояла самая настоящая зима. В прогулочных дворах это ощущалось как-то не так, как здесь. Там зима только чувствовалась. По температуре воздуха, по падающему снегу, по запаху, которым воздух этот был насыщен. А тут Никита, дожидаясь, когда его втолкнут в автозак, даже немного замёрз, несмотря на то, что на улице-то находился всего ничего. В машине их было несколько человек, из которых малолеткой был лишь он один. Люди о чём-то переговаривались между собой, а Никита думал, что вот уже совсем скоро увидит мать. Увидит друзей и такую призрачную сейчас, такую недостижимую для него свободу. Машина остановилась. Один из конвоирующих милиционеров, застегнув на запястьях Никиты наручники, подтолкнул его к выходу. Он спрыгнул с высокого порожка машины и огляделся по сторонам. Несмотря на то, что машина стояла почти вплотную к входу в здание суда, всё же успел увидеть яркий, блестящий на утреннем солнце снег, укрывающий всё вокруг, и множество толпящихся людей.

— Давай, давай! — подтолкнул его милиционер. — Не задерживайся!

Никита прошёл в здание, где с него сняли наручники и поместили в отдельный бокс. Через несколько минут двери бокса открылись, и Никита увидел рядом с милиционером мать и адвокатшу. Он шагнул было к ней, но конвойный предостерегающе поднял руку.

— Стой на месте! — приказал он.

— Мама! — только и смог произнести Никита.

Она сквозь слёзы улыбнулась ему и протянула целлофановый пакет с жареными пельменями. Милиционер захлопнул дверь, но Никита успел поймать затуманенный взгляд матери. Прошло какое-то время, прежде чем дверь снова открылась и милицио-

нер жестом приказал выйти. Никита оказался в коридоре и с волнующим изумлением увидел стоящих вдоль стен одноклассников, дворовых приятелей, нескольких своих преподавателей со школьным завучем. Увидев его, молодёжь загальдела. Никита успел только кивнуть, толком даже не разглядев, кто конкретно пришёл. Милиционер втолкнул его в зал заседаний и указал на скамью, огороженную невысоким деревянным барьером. Никита уселся и взглянул на оставшегося рядом с лобным местом милиционера. Затем зал стал наполняться.

Первой вошла мать, а сразу за ней адвокат Лаппо. Потом появились учителя, за ними потянулись и остальные. Никита увидел весь свой музыкальный состав, одноклассников и тех немногих, кто проживал с ним в одном дворе. Единственное, что беспокоило его в данную минуту, — остриженная почти наголо голова. В тюрьме его стригли пять раз. Он пригладил ёжик волос на голове и ещё раз оглядел зал. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него. Лишь учителя, сидя в первом ряду, тихо переговаривались между собой, да адвокат Лаппо что-то говорила матери.

— Прошу всех встать! Суд идёт! — провозгласила секретарь. Это была совсем молоденькая девушка, почти ровесница Никиты, и он, прежде чем подняться со скамьи, взглянул на неё удивлённо. В зал вошли судья и двое присяжных заседателей. Вернее, не вошли, а, как показалось Никите, вплыли величественно. Председательствовала на суде довольно пожилая женщина, на лацкане костюма которой красовался значок депутата городского Совета. Чем-то она напоминала Никите школьную директрису. Такая же горообразная и неуклюжая.

— Прошу садиться! — произнесла она трубным голосом. — Начинаем судебное разбирательство! Слушается дело по обвинению...

Никита ещё раз внимательно оглядел зал, отыскивая глазами потерпевшего. Тот сидел где-то в углу и, широко раскрыв глаза, внимал словам судьи. На его лице не было уже никаких синяков. Исчезла и повязка с головы.

«Урод! — подумал Никита. — На тюрьму бы тебя, козла!»

Больше он в зал не смотрел. Опустил голову и сосредоточил всё своё внимание на речи судьи. Затем выступила прокурор. Никита вспомнил, что именно она дала санкцию о заключении его под стражу. «Сука», — подумал он почему-то без всякой злобы. Точь-в-точь повторив речь судьи, она в конце её произнесла:

— Прошу суд, в соответствии со статьёй двести шестой, частью второй УК РСФСР, признать Мотылёва Никиту Андреевича виновным и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительно-трудовом учреждении общего режима.

Никита от этих слов похолодел. В висках застучало, и что происходило в дальнейшем, он воспринимал как во сне. Теперь ему не нужно было искусственно изображать на лице боязнь, раскаяние и тревогу. Всё это отпечаталось на его физиономии в один миг.

— Встаньте, подсудимый! — услышал он голос судьи. — Расскажите суду, что произошло, что побудило вас к совершению преступления.

Этот её казённый тон вывел Никиту из оцепенения, в которое он впал после слов прокурора. Никита поднялся и срывающимся голосом рассказал о случившемся. Он, как и учила его Лаппо, слегка приврал. Сказал, что выпил лишь пива и потерпевшего ударил в ответ на то, что тот ударил его первый. Пока Никита произносил эту тираду, он и сам чуть не запутался. Он отрицал, что кого-то вообще бил гитарой, что в общем-то соответствовало истине, и в конце своей речи пролепетал, что гитарой драться было невозможно, так как она была разломана пополам и части её болтались, связанные между собой только струнами.

А потом в зал вызывали свидетелей. Первым появился Женька. Он махнул в сторону Никиты рукой и прошёл к небольшой трибуне. Ничего принципиально нового не

сказал. Вёл он себя довольно развязно, так что судья сделала ему замечание. А в конце речи во всём обвинил самого Швецова.

— Нечего ему самому было лезть куда не надо! — выкрикнул он. — Прошёл бы мимо спокойно, вот и не получил бы! — И взглянул на потерпевшего.

Тот мгновенно отвёл взгляд в сторону.

Потом выступила одна из женщин свидетельниц. Она подтвердила, что Никита действительно размахивал гитарой, но конкретно кого он ею бил, сказать не могла. То же самое заявила и вторая свидетельница. Во время их опроса Никита подумал, уже без всякой горечи: «Откуда эти-то коровы взялись? Им-то кто мог указать именно на меня?» Затем судья допросила одну из учительниц. Она вела в классе Никиты историю, один из его любимых предметов. О Никите она говорила только хорошее, отметив, однако, его неимоверную лень и выразив удивление по поводу того, что Никита вообще стал способен совершить преступление.

А потом наступил перерыв. Никиту снова увели в бокс, где его тут же навестила Лаппо.

— Ну как, сынок? — спросила она его, когда дежурный милиционер открыл двери бокса. Никита пожал плечами. — Ничего, ничего! Не отчаивайся! Я думаю, всё хорошо будет. Ты, главное, когда тебе последнее слово предоставят, в зал не смотри. Смотри прямо на судью, чтобы она глаза твои видела. Чтобы поняла — ты действительно искренне раскаиваешься. Прощения у потерпевшего попроси обязательно! Не известно пока, что он скажет, но думаю, что ничего для тебя нового. В общем, крепись, сынок! Крепись и надейся!

Она повернулась и быстро вышла в коридор. Никита успел выкурить не одну сигарету, пока его снова не отвели в зал.

После традиционного «Встать! Суд идёт!» судья вызвала к трибуне потерпевшего. Она стала задавать ему необходимые вопросы. Швецов отвечал коротко и односложно. В основном «да» или «нет». Когда судья спросила его, заслуживает ли обвиняемый наказания, связанного с лишением свободы, тот, совершенно неожиданно для Никиты, произнёс:

— Не надо его сажать, гражданин судья! Ему и так, наверное, хватило. Может быть, я, действительно, сам виноват. Надо было отдать ему это чёртовое пиво, глядишь, и не было бы ничего...

Никита не поверил ушам: «Что он мелет?! Какое пиво?»

— Что вы сказали, потерпевший? — судья даже приподнялась с места. — Обвиняемый что, пиво у вас отнять хотел?

Швецов видимо понял, что сморозил что-то не то.

— Да нет! Нет! Что вы! — он растерянно хлопал глазами. — Это я сейчас подумал так! Вдруг, если бы я пиво отдал, всё по-другому вышло бы. А он — нет! Он ничего не требовал у меня! Просто ударил.

Судья нахмурилась и забарабанила по столу пальцами.

— А вы что? Даже не пытались дать сдачи? — как-то угрюмо произнесла она.

— Так я же говорю... За пиво боялся! Пива попить хотел, ну и вот...

— Ну и как? Напились? — в голосе судьи зазвучала ирония.

— Нет, конечно! Так, пару глотков успел сделать...

Никита облегчённо вздохнул. «Ну и кретин! — подумал он. — Не хватало ещё, чтобы мне грабёж пришили!»

Судья взмахом руки дала понять потерпевшему, что он свободен. Наступила очередь прокурора и адвоката. Прокурорша, подтвердив виновность Никиты и сочтя его личность опасной для общества, настаивала на том, чтобы Никите дали четыре года. Тон её речи был суровым, не оставляющим никаких надежд. Никита подумал даже, что она по каким-то неведомым ему причинам не столько следует букве закона, сколь-

ко просто ненавидит его самого. Откуда ему было знать, что требовать самого сурового наказания — это её работа. А потом взяла слово адвокат.

Тут уж Никите пришлось просто удивляться, как маленькая, сгорбленная старушка, каковой Лаппо выглядела, мгновенно перевоплотилась в блестящего оратора. Она защищала Никиту горячо и самоотверженно, используя в выступлении своём совершенно незнакомые Никите термины.

По всему выходило, что Никита стал жертвой совершенно случайного стечения обстоятельств и, пытаясь спасти любимый им инструмент, просто волей случая оказался на скамье подсудимых. Никита восхищался, как ловко Лаппо сумела представить всё произошедшее в совершенно ином свете. В конце своей речи она, ссылаясь даже на просьбу самого потерпевшего и данные на Никиту характеристики, просила суд ни в коем случае не лишать Никиту свободы. Речь её произвела огромное впечатление на окружающих, и Никитой вновь овладела, казалось бы, уже потерянная надежда.

— Подсудимый Мотылёв! — услышал он торжественный голос судьи. — Вам предоставляется последнее слово!

Никита встал.

— Граждане судьи и народные заседатели! — начал он каким-то сдавленным голосом. Потом замолчал и вдруг неожиданно для всех, а больше всего для себя самого громко и отчётливо всхлипнул. — Я... — пролепетал он еле слышно, — я больше никогда не буду драться! Простите меня... — И сел на скамью, опустив голову.

Как позже сказала Лаппо, это был кульминационный момент, лучше всяких придуманных, а поэтому и неискренних речей. Наконец, судья и присяжные, которые так и не задали ни Никите, ни кому-либо ещё ни одного вопроса, удалились в совещательную комнату. Все, в том числе и Никита, возле которого уже почему-то не было милиционера, остались в зале. Через какое-то время вновь прозвучал голос девчонки-секретаря.

— Прошу всех встать! Суд идёт!

— Именем Российской Советской... — начала судья.

Никита её почти не слышал. Он жил одним лишь ожиданием. Чего? Он и сам бы не смог сказать определённо. Вернуться обратно в тюрьму было смерти подобно. Но вдруг до него отчётливо донёсся голос судьи:

— ... и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года...

Никита не удержался на ногах и упал на скамью. «Всё! — стучало у него в висках. — Теперь уже всё!»

— Встаньте, подсудимый! Приговор ещё не закончен, — голос судьи вернул Никиту к реальности.

Он медленно поднялся и опёрся руками на загородку.

Судья помолчала, видимо, наслаждаясь произведённым эффектом, а потом продолжила:

— Руководствуясь статьёй сорок шестой кодекса, применимой в данном судебном разбирательстве, суд выносит окончательное решение! Мотылёва... виновного... приговорить к двум годам лишения свободы — условно. Из-под стражи освободить прямо в зале суда. Приговор вступает в законную силу...

Никита, чуть не сломав перегородку, кинулся прямо в объятия матери...

Выйдя из здания суда под руку с мамой и сопровождающей их Лаппо, Никита зажмурился.

Всё вокруг было покрыто ослепительно белым снегом.

«Вот так! — подумал он про себя. — Сел осенью, не за хрен собачий, правда, вышел зимой! Ерунда, в сущности. Но терпила правильно сказал! Хватило вполне...»

Немного поодаль толпилась многочисленная группа тех, кто присутствовал на

суде. Они не решались подойти и, очевидно, ожидали, когда он это сделает сам. Но Никита только махнул рукой.

— Потом, потом! — крикнул и повернулся к адвокатше. — Спасибо! Спасибо, Галина Сергеевна! — проникновенно произнёс он.

Та смотрела на него со строгой улыбкой.

— Теперь я вот что скажу, — сказала, натягивая на руку вязаную рукавичку. — Сейчас для тебя никаких друзей-приятелей! Никакой музыки! Только учёба, и ещё раз учёба! Запомни, ты теперь на волоске зависишь. Ещё хоть одна драка, хоть малейшее правонарушение, и тебя уже никто и ничто не спасёт. Это ты запомни крепко! А теперь отойди. Я с мамой твоей переговорить должна...

Никита оглянулся. Никого из друзей поблизости уже не было. Он пошёл в сторону автобусной остановки, загребая снег кроссовками, и было немного непривычно, что позади нет провожатого, за спиной не раздаются команды и что дышать он может полной грудью, впитывая в себя воздух свободы. Декабрьский мороз ощутимо напоминал о себе. Никита натянул на голову лыжную шапочку, которую ещё в здании суда передала ему мать, оглянулся. Она уже шла к нему, но секундой раньше он успел заметить, как она передала Лаппо какой-то пакет, и та, кивнув на прощание, зашагала прочь.

Выйдя из тюрьмы, Никита внутренне изменился и к жизни стал относиться с невероятным цинизмом. Единственно, что беспокоило его всерьёз, наличие в его биографии судимости. Он ясно сознавал, что судимость, даже в случае полнейшего оправдания, всё равно остаётся судимостью, а это значит, что осуждённый уже до гробовой доски становится человеком, социально неблагонадёжным.

Когда Никита появился на школьных занятиях, его сначала слегка покорило какое-то показное отношение к нему учителей. Все они старательно делали вид, что вроде и не произошло ничего. Он тонко чувствовал любую фальшь по отношению к себе со стороны преподавателей и, в свою очередь, тоже начинал фальшивить. Что же касалось сверстников, тут дело обстояло иначе. Они иногда просто доставали Никиту своими расспросами о тюрьме, и это его чрезвычайно бесило. Он или отмалчивался, или загибал такую тираду на тюремном жаргоне, что любопытные мгновенно теряли всякий интерес к данной теме. Лишь своим друзьям-музыкантам он поведал кое-что о тюремном быте, да и то весьма скупое и односложное. Уже на носу был новогодний вечер, и Никита спросил у Юрки-пианиста, когда у них будет обязательная в таких случаях репетиция.

— Да, знаешь... — замялся тот. — Тебя как упрятали, так мы и не репетировали. Нам с Игорьком и предки запретили. Орут, что экзамены скоро и никаких чтобы гитар больше.

— Ясно! — усмехнулся Никита. — Значит, кранты ансамблю...

Ни на новогоднем, ни на всех последующих вечерах, которые теперь проводились под магнитофон, Никита не присутствовал. Он полностью замкнулся в себе, и ему ни до кого и ни до чего не было дела. Дважды заходил к родителям Бочалина и оба раза так и не смог с ними нормально поговорить. Выпивали Лёшкины предки, судя по всему, крепко и часто, а когда Никита заводил разговор о Боche, только отмахивались.

— Ты мне червонец дай! — орал Бочин отец, едва держась на ногах. — Я с бодуна дохну! Жрать и то нечего, а тому червонец подавай! Он там блатной! Пусть и кормится сам...

Видимо, отец довольно чётко представлял тюремный статус сына. Мать Лёшкина в такие моменты была не в лучшем состоянии.

Никита решил сам съездить в тюрьму. Ему очень хотелось посмотреть на неё снаружи. Он попросил у матери десятку, якобы, на свои несуществующие нужды и отправился к месту недавнего заточения. Здание тюрьмы находилось на окраине города,



и, прежде чем до неё добраться, Никите пришлось сделать несколько пересадок. Он увидел это мрачное сооружение ядовито-розового цвета сначала издали. Потом дежуривший в административном здании офицер указал ему дверь бухгалтерии. Никита положил на имя Бочи десять рублей, а в квитанции, в графе «от кого» указал фамилию Бочалин. «Пусть думает, что от отца», — решил Никита.

— Ты кто ему? Брат, что ли? — спросила у него кассирша, принимая деньги и внимательно разглядывая квитанцию.

— Брат, — буркнул он. — Не всё ли равно...

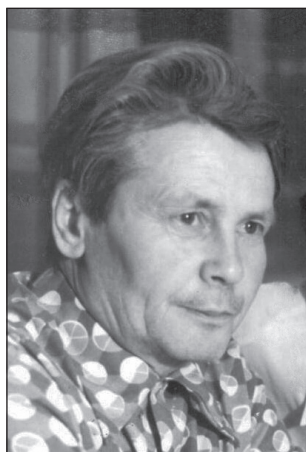
Он взял корешок и вышел на улицу с чувством выполненного долга. Ещё раз оглядел здание тюрьмы. Тяжело вздохнул, поднял воротник полушубка и направился к автобусной остановке.

...Наступила весна, а вместе с ней и выпускные экзамены. Благополучно получив аттестат, с тройками по всем предметам, Никита не пошёл и на выпускной бал. Противно ему было видеть счастливые физиономии одноклассников. Он в семнадцатый раз отметил свой день рождения, никого, впрочем, не пригласив, и, несмотря на уговоры матери продолжить учёбу, хотя бы в техникуме, устроился на работу в её же строительную организацию. Мать занимала там должность экономиста, и Никиту приняли в бригаду учеником плотника-бетонщика. Теперь он большую часть времени проводил в обществе взрослых мужиков, позволяя себе выпить иногда вместе с ними. Чувствовал он себя если и не совсем удовлетворённо, то, по крайней мере, сносно. Так пролетело лето. Наступили осенние дожди, а жизнь протекала без каких бы то ни было изменений. Он стал полноправным членом бригады и вскоре получил рабочий разряд. Правда, принимать в день по десятку машин с бетоном было для Никиты несколько тяжеловато, и он всерьёз подумывал о том, чтобы сменить работу. Он мечтал устроиться музыкантом в ресторан, но до совершеннолетия об этом нечего было и думать. Советская власть диктовала законы, нарушать которые в угоду Никите никто бы не стал. «Надо же, — думал он порой, — бетон месить, носилки неподъёмные таскать в семнадцать лет — это, пожалуйста! Это сколько угодно! А вот в кабаке лабухом работать — ни, ни!»

Иногда у него появлялись и тут же исчезали мысли об армии, но пока военкомат его не тревожил, ожидая, видимо, начала осеннего призыва.



## ПЁТР РЕУТСКИЙ



### Не надо, не кричите о России...

#### Мама

Я помню, был едва повыше стула  
И рос, не зная никакой заботы,  
А мать уже тогда была сутулой  
От непосильной жизни и работы.  
Она носила выцветшие платья  
И кофточку со старомодной складкой.  
По вечерам, когда ложился спать я,  
Она вздыхала от меня укладкой.  
А я не знал, что кто-то третий нужен,  
Что горя не бывает без причины...  
Я как-то зимней ночью был разбужен  
Томительным присутствием мужчины.  
Он у стола сидел в тулупе старом

---

РЕУТСКИЙ Пётр Иванович, поэт (1927, с. Михайловское Павловского р-на Воронежской обл. — 2004, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Следы на камне* (Иркутск, 1957); *О тех, кому нет ещё двадцати* (Иркутск, 1960); *Потомки Корчагина* (Иркутск, 1962); *Горячий ключ* (Иркутск, 1971); *Настоящее* (Иркутск, 1974: Сибирская лира); *Свойство жизни* (Иркутск, 1977); *Тропа золотоискателя* (М., 1983); *Мотивы осени моей* (Иркутск, 1985); *Первозданность* (Ярославль, 1989); *Второе крещение* (1997) и др. Член Союза писателей России.

От бороды его заиндевелой.  
Он подойти хотел к моей кровати,  
И на меня поглядывал несмело,  
Тянуло густо винным перегаром  
Нашарив что-то в глубине кармана,  
Но гневно мать ему сказала: «Хватит!»  
И поднялась со старого дивана.  
И он ушёл, оставив горький запах.  
Я, как щенок, вдыхая воздух носом,  
Насторожился: «Мама, это папа?»,  
Но был испуган собственным вопросом.  
И снова мать вздыхала втихомолку,  
Ходила по избе, ломая руки,  
Наутро, взяв с собою хлеба корку,  
Ушла в разрез, надев мужские брюки.  
Сырой забой, нагруженная тачка —  
И надо привыкать к мозолям, поту.  
Соседи говорили ей: «Чудачка,  
Ну кто ж меняет мужа на работу?»  
О мама, мама! Я забыть не в силах,  
Как седина в твои вплеталась пряди,  
Как ты зимой под ватником носила  
Зачитанные книги и тетради.  
Как по посёлку расходились слухи,  
Что для тебя позор — моё рожденье,  
Как мне во след судачили старухи,  
А девушки смотрели с сожаленьем.  
И ты терпела. Ты была упрямой —  
Какие б ни сводили люди счёты.  
Ты и тогда была всё той же мамой,  
Когда сдавала первые зачёты.  
И не одна в тайге сменилась осень,  
Пока я стал в отряде пионером.  
И ты не в 23 — лишь в 38  
Была в посёлке первым инженером.  
И вот тогда, когда для слёз и боли,  
Казалось, больше не было причины,  
Я был разбужен ночью против воли  
Простуженным дыханием мужчины.  
Он, головы своей не поднимая,  
Сидел, облокотясь на спинку стула,  
А мать стояла, гордая, прямая,  
Как будто сроду не была сутулой.  
Он говорил: «Опомнитесь, простите...  
У нас ребёнок. Посудите сами...»  
Но мать проговорила: «Уходите»  
И указала на порог глазами.  
Он шёл к дверям, надвинув ниже шляпу,  
А я смотрел в его сухую спину,  
Мне было жаль, что он похож на папу  
И не похож на сильного мужчину.

## Мелочь

Пришёл служивый человек  
Из дальнего похода.  
Он дома не был целый век,  
Четыре долгих года.  
Прошёл с боями Крым и Рим,  
Потом ещё полсвета,  
Своим детишкам четверым  
Принёс он власть Советов.  
Уселись дети на диван,  
Как на пенёк опята:  
Наташка, Галька, Глеб, Иван —  
А это кто же, пятый?  
Сидит двухлетний мужичок  
Как равный среди равных.  
Сползла слеза с небритых щёк,  
Горячая. как раны.  
Не верь, солдат, своим глазам.  
И рад не рад служилый,

Что цел их дом, что цел он сам,  
И все детишки живы.  
Что так же злится пёс цепной  
У справногo соседа.  
Молчит солдат. Большой ценой  
Далась ему победа.  
Солдат с соседом водку пьёт —  
Ну что молва людская?  
Попьёт, попьёт, жену попьёт,  
Детишек приласкает.  
Расти, малыш, твоя ль вина,  
Что год без урожая?  
Так повелось, кому война,  
Кому — жена чужая.  
Когда бы не было беды,  
И счастья б не имелось.  
Хватало б только всем еды,  
А остальное — мелочь.

## Гармонь

Стоит гармонь, забытая солдатом,  
Саратовская истинно гармонь.  
Солдат не расставался с ней когда-то,  
И как она вздыхала — только тронь.  
О чём она, болезная, скучала?  
В ней было что-то тайное, своё,  
Солдат был ранен в руку у причала,  
Осколком поцарапало её.

Солдат пришёл с войны в сорок четвёртом,  
Слезой и лаской встретила жена.  
Он в жизнь вступил уверенно и твёрдо,  
Да жаль, гармонь солдату не нужна.  
Но он её не продаёт, не дарит,  
Солдат гармонь поставил на покой.  
Лишь иногда слегка по ней ударит  
Единственную левою рукой.

## В деревне

Пойду пешком к родному дому,  
Там больше года ждут меня.  
Нырну, как маленький, в солому  
И буду спать два первых дня.  
Неслышно мать подсядет с крынкой,  
Поплачет: «Горюшко моё,  
А молоко у нас не с рынка,  
Как говорят, у нас своё».  
«А кто же, мама, сено косит?  
Я нынче снова опоздал».  
Мать помолчит и тихо спросит:  
«Ну, что там нового создал?»  
Я щей поем, пойду с литовкой,  
Ещё обкомы есть пока.  
Мальцом ходил когда-то ловко,  
Но вот уже не та рука.

И кочек нет, а мне всё кочки,  
Тумана нет, а мне туман.  
Напьюсь воды из ржавой бочки  
И закачаюсь, как бурьян.  
В родной деревне нет мне места,  
Не потому, что дрянь дела,  
Что моя бывшая невеста  
Недавно двойню родила.  
Нет! Кто-то там сказал так метко,  
И это точно про меня:  
Ты, как отрубленная ветка,  
Ты, как уздечка без коня.  
Мать соберёт меня в дорогу,  
Спечёт любимый мой омлет.  
«Что, отошёл? Ну, слава Богу»  
И даст мне денег на билет.

## Несбывшееся

*Посвящается Александру Вампилову*

И нет конца, и нет начала  
Моим несбывшимся мечтам.  
Вновь прохожу по тем местам,  
Где ты, счастливая, сучала.  
Как пароход, ищу причала.  
Гореть, гореть моим мостам.

Я никогда не перестану  
Ждать, восторгаясь и скорбя,  
Мне не достанет лишь тебя,  
Когда однажды жить устану.  
Чуть слышно лось проходит к стану,  
Тревогу тайную трюбя.

Пух с тополей летит порошей,  
Его движенья так легки.  
Не подаю друзьям руки,  
Сегодня просто я прохожий.  
Упал, во всём с тобою схожий,  
Луч света поперёк реки.

Хотел бы жить начать с начала,  
Чтоб всё не так и всё не там,  
Но гордость ходит по пятам.  
Ты не ждала и не сучала,  
А я опять ищу причала  
Моим несбывшимся мечтам.

## Настоящее

*Галине Алексеевне*

Мне кажется, что я родился взрослым,  
И памяти не веря, как врагу,  
Пытаюсь тщетно разобраться в прошлом,  
Я ведь и в настоящем не могу.  
Но что считают люди настоящим?  
Мне трудно разобраться — я ленив.  
Пред настоящим, выше нас стоящим,  
Стоим, коленья робко преклонив.  
Пред ним нельзя быть сильным или рослым,  
И на него не глянешь с высоты.  
Пока ты жив, ты вечный царь над прошлым,  
Но кто, скажи, пред настоящим ты?  
Мы к прошлому по всякому вопросу  
Торопимся, чтоб истину черпнуть.  
Но может настоящее без спросу  
Всё прошлое твоё перечеркнуть,  
Всё, что берёг, выращивал и нежил,  
Что в трудный час как Бога призовёшь.  
А кажется, что ты и в прошлом не жил,  
И в настоящем тоже не живёшь.  
Ты как бы остановишься на точке,  
Которая начало всех начал.  
Нет ни друзей, нет ни жены, ни дочки,  
И нет того, что сам ты означал.  
Как нет ни отправлений, ни причала,  
А ты стоишь, о лучших днях скорбя,  
И мига ждёшь, чтоб всё начать сначала...  
Но прошлое не признаёт тебя.

## 9 мая

Женщина погибшего на фронте  
Спит у железнодорожных касс.  
Вы её, пожалуйста, не троньте,  
Пусть она не беспокоит вас.  
Слышите, гремит салют в столице,  
Как гремел он много лет назад.  
Москвичей улыбочивые лица  
Смотрят на торжественный парад.  
Женщина сидит в тени от флага,  
Завернувшись в шалевый платок,  
На коленях фронтовая фляга,  
В ней, должно, спасительный глоток.

И лежит у ног её послушно  
Старый пёс, не видевший войны.  
На людей он смотрит равнодушно,  
Со своей, собачьей, стороны.  
Что бы там такое ни сказали,  
Разве только высунет язык.  
Он привык к ночёвкам на вокзале  
И к причудам женщины привык.  
Всё как есть на свете понимает,  
Одного лишь старый пёс не знал:  
Ну зачем она с приходом мая  
Каждый год приходит на вокзал.

## Наедине

А жизнь становится трудней...  
Не унимаюсь, протестую,  
Всё потому, что много дней  
Бесценных прожито впустую.  
Ну неужели я один  
Свои ошибки понимаю?  
Дожив до старческих седин,  
Болезнью юношеской маюсь?  
Я снова что-то упустил,  
Наедине оставшись ночью,  
Брожу по улицам пустым

И молча сам себя порочу.  
А знаешь, ты меня не жди,  
Решай судьбу свою скорее.  
Идут снега,  
идут дожди,  
Не унимаюсь и старею.  
И дело тут не в седине,  
Я это очень понимаю.  
Когда в ночи, наедине  
С самим собой,  
Как болью, маюсь.

## Последний сон

Спит приговорённый к смертной казни,  
Пережив бессонные недели.  
А в Москве сегодня стольный праздник,  
Бабы юбки новые надели!  
Воздух спёрт от запаха хмельного,  
Пьяный гуд по городу рассеян.  
Будто сроду ничего иного  
Не видала старая Россия.  
А казак, закованный в вериги,  
Сладко спит впервой за многолетья.  
Что ж ты спишь? Вставай, бунтарь великий!  
Люди! Мёду Разину налейте!  
На коня! Ты, как чёрт, бесстрашный,  
Ждут тебя друзья на Красном яре,  
Кремль горит, стрельцы бегут из башен,  
В подворотни прячутся бояре.

Встань, казаче! Ночь ещё в запасе!  
Сколько можно добрых дел наделать.  
Ты пойдёшь к боярине Настасье,  
Пока траур баба не надела.  
Отвори неслышно красны сени,  
Разорви на ней ночну рубашу,  
Положи ей кудри на колени,  
Перед тем как положить на плаху.  
Атамане! Ночь-то, глянь какая —  
Воровская. Всё вернёшь с лихвою.  
Али поостыла кровь донская?  
Но, зарывшись в сено с головою,  
Спит казак. Наверно, это к счастью.  
И в последнем сне, назло боярам,  
Видит он красавицу Настасью  
И Москву, спалённую пожаром.



## Волкодав

Его глаза на угольки похожи,  
В которых еле теплится огонь.  
Всю жизнь свою он лаял на прохожих,  
Всю жизнь лизал хозяину ладонь,  
Валялся по-собачьи у порога  
По целым дням, не требуя еды.  
Бежал на зов охотничьего рога,  
Вынюхивал звериные следы.  
А годы шли, менял хозяин шляпы,  
Сменил немало курток и сапог...  
И вот у пса отяжелели лапы,  
Недавний след он взять уже не мог.  
И стали вдруг глаза его похожи  
На угольки, потухшие давно,  
Он по ночам не лает на прохожих —  
Ему теперь, должно быть, всё равно.

И старый пёс февральской тёмной ночью  
Ушёл в тайгу знакомою тропой.  
За дальним логом встретил стаю волчью  
И яростно вступил в последний бой.  
Три пасти в раз вцепились в шкуру псовью,  
Сплелись в клубок и лапы, и хвосты.  
Сыпучий снег покрылся волчьей кровью,  
Собачья шерсть осела на кусты.  
Пёс слышал зов охотничьего рога,  
Но не за жизнь терял он кровь свою,  
Он не хотел подохнуть у порога,  
Хотел, как верный пес, упасть в бою.  
Когда хозяин, взяв свою двустволку,  
В мороз без шапки прибежал в тайгу,  
Упрямый пес, вцепившись в горло волку,  
Лежал окаменевший на снегу.

## Не загадывай

Не загадывай, не разгадывай  
И не спрашивай почему.  
Не люби меня, чаще взглядывай,  
Мне любовь теперь ни к чему.  
Сколько люблено-перелюблено —  
Не желаю я и врагу.  
То, что крадено или куплено,  
Я ценить того не могу.  
Молодцом-купцом сроду не был я —  
Не по мне сие ремесло.

Верю до сих пор в быль и небыль я,  
Только всё быльём поросло.  
Может, жил-тужил слишком попросту,  
И не знаю сам, почему  
Я любил тебя не по возрасту,  
Разлюбил зато по уму.  
Нет, не куплено и не крадено —  
Не попутает бес меня.  
Но всегда со мной то, что найдено,  
А утеряно без меня.

## Безумие

Нет, не с тобой, мы с той, другой,  
Безумны и ревнивы.  
Я к ней бегу большой рекой,  
К тебе — ручьём ленивым.  
На перекатах с той, другой,  
С тобой — на тихом плёсе.  
Мне до тебя подать рукой,  
А до неё — сто вёсен.  
Я гибну, друг мой дорогой,  
И с сердцем нету слода.  
Не доплыву до той, другой,  
Но плыть безумно надо!

## Россия

Не надо, не кричите о России,  
Всеславием её не обошли.  
Мужчины землю кровью оросили,  
А женщины слезами обожгли.  
Россия! Люди в ней сильны и кротки,  
И славит их история сама.  
Россия! Это слово не для глотки,  
Оно, как мать, для сердца и ума.

Когда лежали мы в кровавых росах,  
Когда казнили нас в концлагерях  
И вешали на наших же берёзах –  
Кричали разве мы о матерях?  
Мы молча повторяли это слово,  
Когда пришлось тонуть или гореть.  
Не зная долга более святого,  
Как за тебя, Россия, умереть!

## Седьмое ноября

Я вижу небо сквозь решётку  
Окна под самым потолком.  
Я пью его одним глотком,  
Легко, как пил когда-то водку.  
Но пересохло всё нутро,  
Как раскалённая пустыня.  
И голос неба, в сердце стыня,  
«Мужайся, — шепчет мне, — Петро».  
И образ видимый Христа  
Мне в тесной камере явился,  
И я ничуть не удивился,  
Когда представил те места  
Моим незамутнённым взором,  
Где был распят Иисус Христос,  
Как басурманин, рядом с вором,  
Чей перебит при пытке нос.  
Все жаждут корма и воды,  
Мыча, похрапывая, воя.  
И подтянуло животы  
У бессердечного конвоя.

Сейчас бы винограда горсть,  
Последнюю на этом свете.  
И вот вколочен первый гвоздь,  
Но взор его ещё был светел.  
И капля первая упала  
На влаги жаждущий песок.  
Я чувствую, как в мой висок  
Вошёл конец того металла.  
Из четырёх христовых ран  
Уже хлестала кровь ручьями,  
И женщины из разных стран  
Пьют кровь Спасителя очами.  
Уже ручьи слились в поток,  
Уже образовали море.  
Я с просветлением во взоре  
Последний делаю глоток  
И прихожу в себя. Дежурный  
На нары положил меня.  
Ноябрь, рассвет седьмого дня...  
На город хлынул марш бравурный!

## Шрамы

Второй инфаркт! Он легче чуть, чем первый,  
И всё равно остался в сердце шрам.  
А о последнем, крепче стиснув нервы,  
Почти не думаю по вечерам.  
Всё чаще вспоминаю батьку с мамой,  
Я перед ними в том и виноват,  
Что, зачерствевши в жизни этой самой,  
С мальчишества на ласки скуповат,

Что, приезжая в дом пустой и светлый,  
Сойдя с экспресса или корабля,  
Я, кроме песен, истовых, как ветры,  
Не привозил и рваного рубля.  
Я не родился хитрым или ловким,  
А жизнь моя — гори она огнём!  
Последний шрам... он будет самым лёгким,  
Поскольку я не буду знать о нём.

## Осень

Умереть не страшно,  
Страшно не родиться.  
Под рябиной рясной  
Белый пар клубится.  
Зеленеет оземь,  
И, как налитые,  
Шлёпаются оземь  
Яблоки тугие.  
С проводов, с деревьев  
Шлёпаются капли,  
Плачут за деревней  
Вымокшие цапли.  
Пастухи отару гонят  
По-над Доном.  
Я живу на пару  
С одиноким домом.  
Дом не дом — избушка,  
Где будильник тикал...  
Здесь вот мать-старушка  
Отходила тихо.  
Так же шли туманы  
Пеленою белой.  
Опустел без мамы  
Дом осиротелый.

Зябко и беззвёздно,  
Страшно выйти в сени.  
Поздно, слишком поздно  
Матерей мы ценим.  
Что же мне не спится?  
Печь трещит под боком,  
Страшно мне напиться  
В доме одиноком.  
Надо мне, чтоб в двери  
Тихо постучали.  
Пусть никто не верит,  
Будто я печален.  
Просто иногда мне  
Хочется поплакать.  
На дороге дальней  
Слякоть, слякоть, слякоть...  
Тихо над рекою  
Крячет уток стая.  
Жизнь люблю такую,  
Есть она какая,  
Доброй, бесшабашной,  
Что кому годится.  
Жизнь прожить не страшно,  
Страшно не родиться.



ВАСИЛИЙ ГИНКУЛОВ



## Вольному воля

РАССКАЗ

Федосья умерла скоропостижно в самом конце Успенского поста. Стирала бельё в банной пристройке и вдруг почувствовала себя плохо, едва успела дойти до кровати, упала ничком на подушку, ноги на полу, да так и застыла.

Пристрой почти в два раза больше, чем сама баня. Тут есть и стол, и печь для обогрева, так что можно целой семьёй разместиться да и перезимовать безбедно. А для удобства стирки Игнат поставил ещё и водяной насос на электрической тяге, рядом — двадцативедёрную бочку. Стиральная машинка была без центрифуги, а валик для отжима белья сломался, поэтому Федосья отжимала вручную, изрядно утомилась, тут её и подкосило.

На сердце-то она никогда не жаловалась в свои шестьдесят девять лет — ни модной ныне гипертонии, ни ишемии. Врачиха, Екатерина Михайловна, сказала, что, скорее всего, тромб оторвался и закупорил сердце, как, скажем, бутылку пробкой. А тромбозом Федосьюшка страдала с тех давних пор, когда носила под сердцем и рожала деток своих, первенца Вовку и потом Настеньку. Игнат всегда со страхом и тревогой взирал на синевато-сиреневые со зловещими кровавыми прожилками узлы на ногах жены, напоминавшие клубки червей, непрошено присосавшихся и чреватых бедой. И беда грянула.

---

ГИНКУЛОВ Василий Владимирович (иногда публикуется под псевдонимом В. Шелехов), прозаик, публицист (род. в 1929 г. в с. Тунка, Бурятия). Автор книг: *Глухариные хитрости*: Таёжные очерки и рассказы (Иркутск, 1974); *Ленские плёсы* (Иркутск, 1977); *Утрата невосполнимая* (Иркутск, 1999); *Живи, тайга!* (Иркутск, 2006); *Даль сибирская*: (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России.

Екатерина Михайловна не раз советовала прооперировать, удалить от греха эти тромбы страшные, но Федосья и слушать не хотела: разве мыслимо, дескать, резать сосуды, по которым кровь движется. Эх, да что тут говорить, чему быть, того не миновать. Все под Богом ходим. От судьбы не уйдёшь...

У кого-то вообще век короток: умирают люди вроде бы беспричинно, едва преодолев тридцатилетний рубеж. Так у них по родове передаётся — чётко, неумолимо. Взглянешь на такого: удалец-молодец, плечи широкие, мускулы тугие, щёки огнём пылают, но на поверку это ничего не значит, обречён бедолага умереть молодым! Долгожители же, как правило, сухопары, жилисты, крупнокостны, порой даже выглядят астеничными, но дюжи, упорны и невозмутимы. Таковым был Игнат Костромин. Семьдесят мужику, а у него и залысин нет. Шевелюра во всю голову, правда, уже седая.

Но горе ломит всех без разбору. А душевная сфера намного раннее телесной. Как потерянный стал Игнат, сломался, рухнул, чувствовал: незачем дальше жить, нет смысла.

Новоявленный вдовец пребывал в прострации, глядел невидяще в никуда, слушал и как бы не слышал, с трудом воспринимал, что ему говорят, и когда обращались к нему за советом или согласием по похоронным делам, однотонно бормотал: «да-да», «конечно, конечно», «ладно, ладно»...

Распоряжался всем сын Володя да его жена Клавдия. Внучка Леночка тоже приехала, она частенько гостила у деда с бабкой. Прилетела из Хабаровска и дочь Настя. Помогали соседи, бывшие сослуживцы, но особенно хлопотала соседка Ульяна, вдова. Да и немудрено: Игнат всегда помогал ей с сенокосом управиться. Все эти суматошные дни Ульяна доила Зорьку; ни дети, ни Игнат этим делом никогда не занимались.

Похоронили Федосью честь по чести, достойно помянули, пустив под нож кабаника и всех кур, так что мясного хватило и на девятый день. Игнат ежедневно ходил на кладбище, сидел там часами на маленькой скамеечке возле могильного холмика и беседовал с покойницей. Родные всерьёз озаботились психическим состоянием отца, думали, мозговали и решили, что нельзя его такого оставлять без опеки, надо забрать его в город хотя бы ненадолго, а лучше насовсем. Благо, у Володи благоустроенная трёхкомнатная квартира в Иркутске, и одна комната, после того как Сергея призвали в армию, свободна. Смена обстановки, городские развлечения подействуют благотворно на старика. Здесь по телевизору только на первом канале нормальное изображение, на втором двоит, троит, фигуры на экране судорожно дёргаются, словно лихорадкой их треплет. А в городе у Костроминых девять каналов, изображение чёткое, звук безукоризненный, глазей хоть круглые сутки!..

Заговорили об этом осторожно с Игнатом, и, вопреки опасениям, он легко согласился поселиться у сына. Опустевший дом его страшил, как та глубокая могила, в которую опустили Федосью-голубушку.

Теперь следовало разобраться с хозяйством и, прежде всего, продать корову, подумать, что делать с бычком. Зорька телилась обычно в январе, и к Октябрьской годовщине её приплод, почему-то непременно бычок, набирал солидный вес, с полкоровы. Мяса хватало и самим старикам, и Володиной семье на всю зиму. Особенно это выручало в те времена, когда в городе с мясом была напряжёнka, у мясного магазина очередь с вечера занимали. Стояли, конечно, не всю ночь напролёт, уходили домой прикорнуть, но ближе к утру толпа становилась всё больше и гуще, к открытию магазина стервенела и, когда отворялись, наконец, заветные двери, диким стадом устремлялась внутрь. Рассказывали, что однажды в дверях подросток упал и был затоптан насмерть! За мясом иркутяне ездили в Черемхово, даже в Улан-Удэ. Володя ухитрялся брать отпуск в июле и помогал отцу заготавливать сено для Зорьки, отрабатывал та-

ким образом долю от осеннего забоя, запасался и говядиной, и свиной. Теперь-то мяса везде навалом, но своё и есть своё, с покупным не сравнится.

С хозяйством разобрались на удивление легко и быстро. В хорошие руки продали Зорьку. Ульяна согласилась ухаживать за бычком до забоя. На календаре уже сентябрь, пора бы картошку копать, но ни у кого такого желания не возникло, продали её на корню. Ну а прочий овощ, оставшийся ещё в огороде: свёклу, морковку, лук, кабачки, — в счет оплаты за труды-хлопоты подарили Ульяне. С собой, разумеется, прихватили немного, столько, сколько не тяжко в рюкзаках унести. Из имущества Игнат взял только бельё да костюм, зимнюю одежду и обувь оставил до ноября.

В поезд сели поздно вечером, приехали в Иркутск ранним-рано, в дороге почти не спали. Чтобы отвлечь Игната от грустных дум, развлекали разговорами, повторяясь и повторяясь о преимуществах городского комфортного жития.

Володя с Клавой сравнительно недавно, простояв в очереди двадцать лет, — уж слишком велик трудовой коллектив, десятки тысяч работников! — получили наконец-то благоустроенную квартиру в панельном доме на пятом этаже. А до этого ошивались по чужим углам, арендовали развалюхи в посёлке Боково. Главная, основная часть посёлка с многоэтажными зданиями самого завода и жилого сектора располагалась на ровной довольно высокой платформе между железной дорогой и обширнейшими болотами, а сбоку (многие считают, что отсюда и название, хотя пошло оно от фамилии первого поселенца — Бокова) в низине, разрастаясь в сторону Ангары, прилепился посёлок частных владений. Молодожёны Костромины арендовали незавидный домишко на самой ближней к болоту и поэтому самой неблагополучной улице. Вдоль неё тянулась двухметровой высоты земляная насыпь, к которой примыкали огороды хозяев-горемык. Их домишки медленно, но верно угружали вглубь, что вынуждало время от времени поддомкрачивать, поднимать, выпихивать их поближе к солнышку. После многоснежной зимы иные усадьбы весною скрывались под водой, и от калитки до родного порога жильцы добирались на плотике, отталкиваясь шестом. Вода хлопала под половицами, поэтому все съестные припасы из подполья надо было своевременно убирать. Получив наконец квартиру, новосёлы были на седьмом небе от счастья. Эйфория длилась и длилась. Каждая покупка мебели: дивана, серванта, стеллажа, стола или хотя бы торшера — сопровождалась очередным взрывом семейного ликования, превращалась в праздник с «обмыванием», и казалось, что этому райскому благоденствию не будет конца. И когда Володя приехал помогать отцу с сенокосом, похвастался:

— Ну, папаня, мы теперь зажили как белые люди!

— Это в каком смысле?

— Есть такая присказка про американских негров, которые из трущоб выбрались, стали цивилизованными, мол, живут теперь как белые люди. Вот и мы с Клавой двадцать лет прозябали в болоте, там приличную мебель от сырости покорило бы к чёртовой матери. А теперь — пожалуйста! Все условия для нормальной жизни. Приезжай, посмотри, как у нас всё прекрасно!

Игнат дважды в прошлые года приезжал в город — на консультацию по поводу больных глаз. Но так и не удосужился погостить в новой квартире. И вот теперь ехал по воле судьбы, отнявшей у него самое дорогое.

Вышли в Иркутск-Сортировочном и пошли пешком. Ждать автобуса, объяснил Володя, в такую рань пришлось бы слишком долго. Когда поднимались по узкой лестнице на пятый этаж по бетонным ступенькам, местами выщербленным, Игнат озадаченно промолвил:

— Ну вы и забрались на такую верхотуру! Не надоедает каждый раз переться?! Волокита-то какая!

— А первый этаж ещё хуже, — парировал Володя.



— Это почему?

— Запросто обворовать могут, хоть в дверь, хоть в окно, даже в форточку специалисты пробраться умудряются. И холоднее на первом этаже, да и вонью из подвала тянет, сыростью. Опять же нечистотами из канализации может запросто квартиру залить. Не любят на первом этаже селиться, считается, самый неблагополучный.

— Как же по таким узким лестницам громоздкую мебель таскаете?

— Да-да, вот это верно, трудновато, — согласился Володя.

— А если гроб? — не унимался отец. — Не дай Бог, ещё опрокинут вместе с покойником, пока в вашу скворешню заволокут!

— Да ладно тебе, папаня, выдумывать! Скажешь тоже! — оскорбился Володя и за «скворешню», и за некстати упомянутый гроб.

Прихожая была чрезвычайно малой, четыре метра квадратных со встроенным шкафом для верхней одежды. Направо узенький проход на кухню, в туалет и ванную. Налево — дверь в комнатку, где теперь будет обитать Игнат, а прямо от порога — самая большая комната, зал на двадцать квадратов с гаком; за ним третья, Леночкина, комната, в два раза меньше. Есть и балкон, правда, небольшой, там зимой хранилась бочка с квашеной капустой и мясо в дощатом ящике. Зал украшали шифоньер на три отделения, сервант с хрусталём, стеллажи с книгами, телевизор с большим экраном, двухламповый торшер, полумягкие полукресла. Диван, на котором спали супруги, на день складывали, убирая постельное бельё. Посреди зала — круглый стол под бархатной скатертью с бахромой. Одним словом, комфорт!

Дорогого гостя провели прежде всего сюда, в зал, пусть по достоинству оценит красоту и великолепие убранства городской квартиры. Но Игнат не спешил высказывать восторга.

— Ну и как? — поторопил его Володя.

— Да-да. Недурно, конечно. Молодцы вы, расстарались, обставили как следует. Хорошо.

А в Серёжиной комнатке с одним окном всё было предельно скромно: диван да двухтумбовый письменный стол занимали почти всё жизненное пространство, между ними едва вписывался единственный здесь стул. Справа у входа этажерка с книгами, слева стойка из реечек — заменитель вешалки.

Клавдия, приглашая всех перекусить с дороги, пошутила:

— Наша кухонька строго диктует: больше трёх не собираться.

И действительно, холодильник, стол, шкаф с посудой, раковина, тумбочка, стул да две табуретки загромождали её основательно. Ещё раз помянули усопшую винцом, закусили колбаской, шпротами, чайку выпили и легли отдыхать.

Спали долго, почти до обеда. Сон — великий лекарь, он и физические силы восстановит, и нервы успокоит, и душу со всеми утратами примирит. Отдалившись от места трагедии, они как бы подводили черту под прошлым и настраивались на будущее.

И вот настал момент, который следует считать без преувеличения судьбоносным для главного героя этого рассказа.

— Вова, мне бы в уборную, — шепнул потомственный крестьянин закоренелому горожанину.

— А-а, пожалуйста. Только у нас говорят «туалет», — Володя открыл дверь в узком проходе, у самого входа в кухню. Глазам Игната предстала крохотная камера, длиной шага полтора, а шириной всего ничего. И единственное, что имелось в этой камере, — ослепительно белый фаянсовый унитаз да ещё пластмассовое ведёрко с мусором.

Игнат так недоуменно смотрел на сантехническое устройство, словно впервые его видел и не понимал: где же тут уборная?

— Вот, пожалуйста, — не совсем понимая реакцию отца, пояснил Володя, — сходишь сюда, потом нажмёшь на этот рычаг, и вода всё смое.

— Да ты что?! Да как же это можно в квартире, рядом с кухней, где ешь, и это самое... ну... это же стыд и срам!

— Папа! Да ты что, не знал, что ли?! — у Володи сначала челюсть отвисла, а потом углы рта поплыли к ушам. — Во всех квартирах такие туалеты, такие унитазы стоят. А как же иначе?..

— Но почему бы не построить настоящие уборные во дворе?

— Во дворе?! Это сколько ж их пришлось бы строить! В нашем доме шестьдесят квартир, представляешь? В каждой квартире трое-четверо жильцов. Дворы и так тесные. Что ж, всю площадь уборными заполнить?! Да и вонь какая будет стоять! Это же просто смешно...

Костромин-старший помолчал, хрипотнул горлом, мотнул отрицательно головой.

— А здесь не вонь? Дверь-то прямо в дверь на кухню открывается, на обеденный стол... Помочиться-то ещё можно, но чтоб по большой нужде — нет, ни за что не смогу.

— Ну ты даёшь! Глупо же. Миллионы людей в благоустроенных квартирах так делают, и ты привыкнешь. А вонь — вон вентиляция сделана — вытянет. Можно дезодорант купить, побрызгаешь — и цветами будет пахнуть или хвоей, когда дверь откроешь.

— А звуки всякие?.. Нет, уборная во дворе лучше, чем этот «не таз».

— Да что ж хорошего?! Зимой, пока там посидишь на холоде да сквозняке с голым задом, как раз радикулит схватишь. Не надо, папаня, капризничать, надо просто пользоваться благами цивилизации, — увещевал сын отца.

— Как хочешь, так и считай, но я чувствую, что не смогу. Невозможно это, нельзя. Позорище.

— Это у тебя в мозгу такая точка, контролирующая поведение, она не дает «добро», уговори эту точку, убеди, что это естественно.

— Я ни про какую точку не знаю. А мозги у меня — какие уж есть. Дюже упрямые, их не уговоришь.

— Что ж будем делать? — сокрушался Володя. — Прямо неразрешимая проблема на ровном месте.

— Ну неужели в городе нет специальных уборных, например, для приезжих?

— Почему же, есть, конечно, на вокзале, в аэропорту, на центральном рынке. Но туда ехать сорок минут, да ещё полчаса прстоишь на остановке.

— Чем в город ехать, в такую даль, может, в лес сходить? Лес-то далеко?

— Лес?! — Володя округлил глаза. — Близко-то, конечно, нету. Надо до «Паруса» автобусом доехать, там пересест на междугородный, на Ангарск. Но простоять придётся, может, час, а то и больше. И выйти, не доезжая до Вдовино. Длинное путешествие получится.

— Нет, это не подходяще.

— Конечно, не подходяще, — согласился Володя и вдруг хлопнул себя по лбу ладонью и захохотал. — Да проще всего в наш гаражный кооператив сходить. Там на задах деревьев никаких нет, но пустырь на километр.

— Далеко до гаража-то?

— Да нет, автобусом три остановки, но зачем его ждать, лучше пешочком, за полчаса дойдём.

По дороге в гараж Володе припомнилось, каково досталось обретение машины и гаража. То была ещё одна долговременная эпопея, свершавшаяся параллельно с жилищной. Семь лет Костромины копили деньги да потом семь лет стояли в очереди на получение заветного «Москвича». Полтора года потратили, чтобы стать хозяевами бетонной гаражной коробки три метра на семь, с подвалом для хранения овощей и прочих съестных припасов.

Сколько было восторгов по этому поводу! Однако эйфория на первых же шагах испарилась: новенький москвичок отчаянно барахлил. Вышибало третью, самую хо-

довую скорость. Капризничал и карбюратор. С развалом колёс постоянно не ладилось. Одним словом, прежде чем насладиться ездой, требовалось капитально освоить матчасть, стать настоящим автомехаником.

Скооперировался в соседом по гаражу Вадимом Мутовиным, часами в свободное время разбирали и собирали узлы своих машин, досконально изучали, что и как должно действовать. Клавдия смеялась: настоящей женой, дескать, стала теперь для Володи машина, а она в роли полузабытой любовницы.

Осмотрев гараж, Игнат спросил:

— Не воруют?

— Нет, охрана ведь круглосуточная.

— Но всё-таки как сложно в городе: полчаса надо топать, чтоб сесть в свою машину, а потом, когда съездил куда-то, опять пешедралом домой перетерся.

— Да, конечно, определённое неудобство есть, — неохотно согласился Володя, — но зато нам не надо печь топить, дрова заготавливать, воду таскать вёдрами или возить на санках в бидоне от колонки. Намучились. Хватит.

— А что страшного с дровами возиться? Мне всегда было в удовольствие пилить и колоть, и выкладывать поленья. Особенно зимой. Мёрзлая древесина, лиственничная, например, хрупкая, как стекло, только топор показывай — так и разлетаются поленья! А как славно горят дрова в печи, знай, потрескивают! А запах какой вкусный, смолистый! Живой огонь — красота!

— Так это ж до поры до времени, папаня! Но с годами-то, когда болезни станут донимать и сил станет меньше, легко ли дом содержать?

Далеко бегать по нужде Игнат не стал. Предприимчивый человек всегда найдёт выход из затруднительного положения. Он с первых дней городского жития объявил уборку мусора своей святой обязанностью и выполнял её с вящим старанием. Не ленился и дважды, и трижды в день прогуляться до мусорных баков с полупустым ведром. Ему требовалось заранее запастись картонной коробкой. Там их всегда валялось много самого разного калибра, а нужна была чуть меньше среднего размера. Поздно вечером, уже в сумерках, когда прекращалось людское мельтешение на улицах и во дворах, Костромин, воровато озираясь, присаживался позади контейнеров и совершал в неположенном месте в некотором смысле криминальную операцию по опорожнению кишечника. Затем, зашипнув края картонки, этот своеобразный «пирожок» упрятывал в пластиковый пакет и препровождал в контейнер. Каверзная и отчасти смешная проблема была решена.

Ночью мешал спать Игнату гул автомашин за окном, но гораздо хуже жужжания автомобилей голоса людей: встретятся двое запоздалых пешеходов, а может, жильцов этого же дома, остановятся как раз под окном и беседуют о чём-то, обсуждают, должно быть, какие-то свои проблемы долго и нудно. Днём на это никто и внимания б не обратил, никого нисколько они не обеспокоили б, потому что днём все бодрствуют, совсем другое дело ночью... Но самое скверное — музыкальные концерты после отбоя, иной раз далеко за полночь! Уснуть под музыку Игнат даже и не пытался, лежал и терпеливо ждал, когда любителя-меломана сморит сон. И всякий раз, когда музыка обрывалась, с облегчением вздыхал: ну, наконец-то! Однако через несколько секунд попытка возобновлялась, оказывалось, что садист просто менял пластинку!..

Зная, что нарушение ночной тишины после одиннадцати часов вечера запрещено, старик спрашивал сына, почему люди не звонят в милицию, почему милиция не пресекает хулиганов. Володя объяснял, что милиция на подобные пустяки не реагирует, а самостоятельно вычислить, где, в каком доме, в каком подъезде, в какой квартире нарушитель тишины, и призвать его к порядку затруднительно, хлопотно: надо встать, одеться, выйти во двор, прислушаться, потом карабкаться по этажам, стучать в дверь, скандалить... Вот и получается, что даже если кого-то слабонервного достала дурац-

кая ночная какофония, побеждает соображение, что пока ходишь да волокитишься, нервы портишь, дуropolis сам, может быть, утомившись, выключит свою шарманку и ляжет спать.

Досаждали не только внешние шумы. В квартире № 31 на третьем этаже обитали средних лет супруги Крючковы, он шофёр, она билетёрша в клубе. Попивали не так чтобы чересчур, но всё ж таки изрядно, и довольно частенько устраивали семейную разборку. С кем не бывает! Ну, поскандалили люди, покричали, выпустили пар — и ладно. Можно жить дальше и ни себе, ни окружающим не мешать. Но скандал у Крючковых начинался почему-то всегда глубокой ночью и длился немыслимо долго. Очень странный характер конфликта! Бузотёры как будто нарочно растягивали удовольствие, наслаждались атмосферой дебоша. Только начнут разбуженные соседи задремывать, из тридцать первой вновь раздавались гневные вопли, а потом слышались скрежет и удары передвигаемых и падающих тяжёлых предметов. Крючковы, предположительно, затевали развод, делили мебель и растаскивали её по разным углам и комнатам, при этом то ли нечаянно роняли, то ли вполне сознательно расшибали её вдребезги! Эта пытка длилась часами. Утром невыспавшиеся соседи шли на работу с головной болью, а Крючковы, оказывалось, и не думали расторгать семейный союз, и никакой поломанной мебели на свалку не вытаскивали, новую не покупали, так и оставалось загадкой, как, чем и зачем они грохочут, скандаля по ночам.

Где-то в конце сентября разбудил Игната ночью мощный монотонный гул от какого-то мотора. Ему вначале подумалось, что это машина во дворе на холостых оборотах работает, но, прислушавшись, понял, что нарушитель ночной тишины находится в квартире. Поднялся, на цыпочках прокрался в прихожую, изострил слух — гудело из шкафа для верхней одежды. Включил свет, отворил дверцы и увидел злостного гудяра: то была толстущая, в четыре дюйма труба в белой синтетической оплётке, ведущая на чердак.

Утром хозяин городской квартиры объяснил несведущему селянину, что в доме отопление с верхней разводкой, по этой трубе от элеватора горячая вода поднимается на чердак, там по системе более тонких труб рассредоточивается, поступает в батареи, опускается в подвал и по так называемой обратке возвращается в котельную.

— Что же делать? Мешает спать. Голова гудит от этого гула, — жаловался старик.

— Может, поменяться комнатами с Леночкой? — предложил Володя.

— Да нет, зачем же нарушать ваш порядок? — возразил Игнат. — А что, если изолировать трубу чем-нибудь? Синтетическая оплётка бесполезная, надо бы потолще изоляцию.

— Это мысль! — согласился Володя и вынул из дальнего угла старое драповое пальто на вате. — Вот, папана, давно висит без пользы. Раздербанивай и обматывай трубу. Не хватит — ещё что-нибудь отбракуем.

И Игнат запросто упаковал, упрятал трубу под толстым слоем ваты и ткани, для плотности обвязал обмотку шпагатом. Зловредный гул ослаб почти до комариного писка.

Ещё одна каверза гнездилась на втором этаже в квартире № 27. Там жила девяностолетняя Евгения Виссарионовна с нигде не работающим хроменьким сыном-алкоголиком. Грузная, отнюдь ещё не дряхлая, могучая старушня, но совершенно беспомысленная, частенько душила соседей всех этажей тошнотворным смрадом сгоревшего на электроплите говяжьего или бараньего жира. Двери большинства квартир были филёнчатые, обветшалые, для движения воздуха особого препятствия не представляли. Учув знакомый, вызывающий кашель, прогорклый дух, жильцы обречённо вздыхали: «Опять Виссарионовна пожар устроила...» Володя по этому поводу сказал со смехом однажды: «Наше счастье, что в доме не газовые плиты. А то взорвала б Виссарионовна наш подъезд. Обязательно б взорвала и нас всех уничтожила!»

Мыться в ванне под душем Игнат, конечно же, не согласился: уж больно тесной показалась ему ванная комната по сравнению с деревенской баней. Без парной мыться — где это видано! Володя обнадёжил отца: Иркутск всегда, мол, славился своими банями, есть бани и в городе, и в посёлке авиастроителей.

Но не понравились старику городские бани. Его раздражало и многолюдство возле кассы, и суета раздевающихся и одевающихся возле многочисленных кабинок, которые закрывала и открывала громкоголосая рыхлая банщица. Сельскому жителю это напоминало железнодорожный вокзал с его круглосуточной толчеей. В деревне же и без того неторопливый ритм жизни в субботний банный день ещё более замедляется, и все процессы этого длительного, неспешного и почти религиозного действия — сплошное наслаждение, отдохновение, возрождение в новом качестве и тела и души! А самое большое наслаждение — это когда раскалился, распарился докрасна, насквозь — выскочить на мороз и нырнуть с разбегу в сугроб! Ни с чем не сравнимое чувство, будто на седьмое небо запрыгнул, визжать хочется от счастья! Здесь же это неосуществимо, немыслимо, недопустимо! Да и если б и выбежал голышом на улицу в поисках сугроба, сразу все б поняли, что человек сошёл с ума и надо срочно его в психушку!

Парная, правда, разогревала не хуже деревенской, но пар привередливому Игнату показался каким-то техническим, невкусным, не запашистым. Да и вообще всё в банном зале, просторном, гулком, его угнетало: и пол, и стены, и скамьи — всё было из железа и бетона, остро не хватало привычных, любимых с детства, волнующих запахов дымка, распаренного дерева, лопнувших в каменке камней-окатышей. Только благородный пряный дух берёзовых веников удостоверял, что ты действительно находишься в бане. Но и веник тут не свой, не своими руками заготовленный в ближнем лесу, а купленный, стандартный, чужой!

В середине сентября всем семейством, вчетвером, Костромины поехали на «Москвиче» копать картошку, выращенную на полях Максимовского совхоза, в семнадцати километрах от дома. Ежегодно, по стародавней традиции, сложившейся со времён Великой Отечественной войны, рабочие, служащие, студенты, школьники выезжали на поля окрестных колхозов и совхозов на уборку картофеля. И как бы в награду за бесплатную помощь горожанам выделялась земля.

Выехали рано утром и работали крепко весь день. Володя, как только накопалось пять мешков, занялся транспортировкой урожая. Вывез все двадцать мешков, пятым рейсом выехали сами, безмерно уставшие, с ломотой в мускулах и суставах, но довольные собой, совершенно счастливые. Только Игнат портил настроение своими рассуждениями: а что если на следующий год придётся сажать картошку не в семнадцать, а в тридцати семи километрах, да на неизвестно как вспаханной, незабороненной и, быть может, совершенно бесплодной земле?! То ли дело, когда огородный овощ растёт на своей, старательно обихоженной, щедро удобренной земле в нескольких шагах от погреба!

В библиотеке сына Игнат нашёл кое-что завлекательное — приключенческую литературу. Но ни запоем читать, ни часами смотреть телевизор не мог: уставали глаза. Зашёл в Крестовку, поставил свечи, заказал сорокоуст по Федосье. Один раз побывал в театре, один раз в цирке, даже на колесе обозрения прокатился, но большего ему не потребовалось. Осень выдалась в тот год долгая и тёплая, в будние дни сидеть одному в пустой квартире было нелегко, а на улицах и во дворах казалось глухо, тесно, каменные громады домов загораживали небо, и вдовец пристрастился гулять в Комсомольском парке, напоминавшем своими тополями-гигантами и развесистыми ивами дикую природу; канадскими клёнами, широковетвистыми, с прихотливо разделяющимися стволами любовался умиленно, а хилые молодые лиственницы вызывали у него острую жалость, они казались такими же несчастными, насильно пересажен-

ными сюда, в чуждую им среду, как и он сам. «Нет, не приживусь я, пожалуй, в городе, — думалось Игнату, — не про мою честь эта цивилизация. Кто где родился, там и пригодился».

Ночами во второй половине октября подмораживало, на двадцать девятое ударил семнадцатиградусный мороз. Но и в начале ноября днём изрядно пригревало, температура поднималась близко к плюсовой. Решили ехать за мясом после октябрьской годовщины. Володя для подстраховки взял двухдневный отгул, и утром в субботу выехали пораньше, в послеобеденное время прибыли в Базаму. Едва въехали во двор, прибежала Ульяна, улыбочивая, довольнѣхонькая:

— С приездом! Ну, как добрались? Всё ли благополучно?

— Спасибо, спасибо, дорогая! Всё хорошо! — Игнат приобнял и неожиданно для себя и для соседки поцеловал её в щеку. — Ну, а у вас как?

— Да, слава Богу, живѐм, хлеб жуѐм. Бычок ваш подрос, выходился куда с добром! — ответствовала такой лаской смущѣнная Ульяна.

Когда отворили дверь дома, на Игната пахнуло холодом запустенья, и по сердцу, как бритвой, чиркнула короткая и острая боль: «Как же я мог?! Ведь это предательство!»

Изрядно утомлѣнные, отец с сыном затопили печь, перекусили с дороги, сходили к Ульяне, взглянули на бычка. Съездили на кладбище, на могилку Федосьи. Спать легли рано.

Забивать бычка пригласили Ермолая. Игнат и сам это умел, но на вскормленную своими руками, когда-то доверчиво тыкавшуюся нежной мордочкой скотинку рука не поднималась. Пусть уж неизбежное для животинки совершит чужой человек...

Когда развесили стѣгна в сенях, организовали как водится застолье с водочкой, с духовитой, сытной жарениной-скороварочкой, с солѣными огурчиками да душистыми рыжиками. Гости интересовались, разумеется, каково Игнату живѣтся-можетсѣ в городе, но тот лишь загадочно улыбался да отшучивался, везде, мол, жить можно, где наша не пропадала. Он давно решил, что в город не вернѣтся. И только когда гости разошлись, Игнат сказал сыну:

— Остаюсь я, Володя. Здесь мой дом. Нахлебался я вашего городского комфорта от отрыжки. Сыт вот так, — и занѣс ладонь над макушкой головы, — выше крыши!

Тот только руками развѣл:

— Ну что ж, так тому и быть. Вольному воля.





АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ



## По краешку нежности

\* \* \*

Синий-синий вечер.  
Жёлтая солома.  
Золотая встреча  
в серебре черёмух,

в звёздном хороводе,  
где из сарафана  
милая выходит  
словно из тумана.

Тело у голубы —  
золотой цветочек,  
и ласкают губы  
каждый лепесточек.

От волос до пяток  
глажу самородок.  
Словно мёд, он сладок,  
только слаще мёда.

Ничего любимой  
для меня не жалко,  
и неутомимо  
тешусь я подарком.

И моя отрада  
шепчет в липкой чаще:  
— Словно мёд, ты сладок,  
только мёда слаще.

---

ЗМИЕВСКИЙ Анатолий Борисович, поэт (род. в 1959 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Среди божественного хлама* (Иркутск, 1996); *Лагерная Русь* (Иркутск, 1998); *Звезда Вифлеема* (Иркутск, 2001); *Я пришёл из осени* (Иркутск, 2005); *Любовные письма* (Иркутск, 2010); *В полушаге от звезды* (Иркутск, 2012). Член Союза писателей России.

Мёд в объятьях мёда...  
Лишь в любви безмерной  
сласть такого рода  
накрывает смертных.

Нежась с самой нежной  
нежного нежнее,

в нежности безбрежной  
не нанежусь с нею...

Синий-синий вечер.  
Серебро черёмух.  
Золотая встреча.  
Жёлтая солома.

\* \* \*

Пусть не любовь, пусть блажь самообмана  
цветочным бредом брызнула в уста,  
в лиловой бездне розовых туманов  
дрожит от счастья синяя звезда.

Пью, как нектар, благоуханный воздух,  
и трепетней, чем юный мотылёк,  
ласкаю золотую деву-розу,  
что больше дева, нежели цветок.

И роза всеми лепестками рвётся  
на зов, влекущий деву в лунный сон,  
где златоуст ночной над нею вьётся,  
сводя с ума раскрывшийся бутон.

Неотразимым светится свеченьем  
блондинка пышнотелая, и с ней  
готов я не до умопомрачения  
изнеживаться, а ещё нежней.

По деве ослепительной, чьи взгляды  
зефиром облепляют жизнь мою,  
я растекаюсь талым шоколадом,  
и нам тайком завидуют в раю...

Пусть не любовь, пусть блажь самообмана  
нас, точно розу с мотыльком, свела,  
звезда всю ночь была от счастья пьяной,  
цвели всю ночь пустыня и скала.

\* \* \*

Тополя пожелтевшие сыплют листвою.  
Листопад, как всегда, золотой-золотой.  
Златотканым ковром, золотистым налётом  
на округу легла сентябрь позолота.  
Золотится среда, золотится суббота.

Позолоченных всюду считают цыплят,  
журавлей еле видно, но видно — летят.  
Мир немножко побудет ещё золочёным,  
а когда золотинок не станет на клёнах,  
безутешно расплачется, будто ребёнок.

Застучит по вискам нескончаемый дождь,  
и в гортани застрянет тоскливости кость.  
И продлится всё это до самого снега,  
до поры, пока сани не сменят телегу,  
пока свет не ударит в глаза человеку.

Потому что зима так приходит в мой край,  
словно входит царица в бедняцкий сарай!  
Она входит, такую улыбкой сияя,

что, слова восхищенья с трудом подбирая,  
попадаю я в рай — иль в окрестности рая.

Белоснежный Эдем. Краснощёкий Парнас!  
Моё сердце нежнее, скажу без прикрас,  
бьётся в зимнем пейзаже, и райскою птицей  
мнится мне на заснеженной ветке синица,  
и зима наяву как бы сладко мне снится.

Без ума я от зимнего неба — от звёзд,  
вместе с месяцем высыпавших на мороз!  
И других ни страны, ни судьбы мне не надо.  
На земле ничего нет белей снегопада,  
ничего нет милей губ, щебечущих рядом.

\* \* \*

Её жёлтых косынок углы  
дух мимозы в себя впитали;  
пахнут лотосом и белы,  
словно лотос, все её шали.

Взор её — что сирени гроздь,  
сквозь которую блещут звёзды.  
Она вбита в меня, как гвоздь,  
и вдыхаема мной, как воздух.

Лик её можно выдрать из  
рёбер только вместе с дыханьем,

проследив, как теряют смысл  
звуки, свет, само Мирозданье.

Без воды, три вечерних зари  
проводив, умру постепенно;  
без неё — протянув тоже три,  
но минуты, кончусь мгновенно.

Зарываюсь в неё, как в листву,  
лезу в нежности вон из кожи...

Она рядом — и я живу,  
а умру — будь с ней рядом, Боже!

\* \* \*

Пока в цветах не утонул гранит,  
пока мой крест не встал на горизонте,  
твоя любовь, как Бог, меня хранит,  
раскрывшись надо мною, словно зонтик.

Когда-то я позвал тебя во сне,  
и ты, не испугавшись злой планеты,  
перебежала с облачка ко мне  
по мостику висячему из света.

Поймав меня в прицел, как снайпер, рок  
раздумывал, чем завершить картину:  
наслать кровососущих птиц, курок  
спустить или обрушить гильотину...

И взмыли в небо гибельного дня  
тьмы жаркой кровью жаждущих упиться,

но ты, успев на голос мой, в меня  
когтям их не позволила вцепиться.

Могильных птиц прогнав за горизонт,  
ты обернулась стайкою голубок,  
носящих надо мной цветочный зонт  
твоей любви — твои глаза и губы.

Перелюбить и перецеловать  
тебя нельзя, моё очарованье.  
Хочу я жизнь и длить, и продлевать  
с тобою в непрерывном целованье.

Хочу с тобой, пока мы будем жить,  
по краешку лишь нами выносимой  
невыносимой нежности скользить,  
проваливаясь в счастье, как в трясину.

Да, всё пройдёт, но всё пройдёт не зря,  
и на твоих коленях в мёде лета  
я золотые блики сентября  
блаженно расцелую напоследок.



ВЛАДИМИР МАКСИМОВ



## Кот в мешке

РАССКАЗ

Из Владивостока наше научно-поисковое судно «Учёный» вышло тридцатого сентября, почти в полночь. Возвращение в порт планировалось на март. Всё, как в песне Владимира Высоцкого: «Не пройдёт и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода...» Эту песню мы с моим приятелем неоднократно слушали в ресторане «Золотой рог» в последний свободный вечер перед выходом в море, убедившись по частым её заказам посетителями, что не одни мы покидаем этот славный, безалаберный морской город.

Когда за кормой постепенно исчезли последние многоярусные огни Владивостока и кругом плескалась лишь чёрная вода, я обнаружил, что остался на палубе совсем один. Ещё немного постояв, отправился спать. Грустно как-то одному было стоять на палубе...

Команда «Учёного» состояла из тридцати двух человек. Капитан, два его помощника, механики, траловый мастер, кок, матросы... Три женщины: буфетчица, уборщица и фельдшер. Пятеро «научников»: трое — из Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии и двое студентов-дипломников охотоведческого факультета из Иркутска — мой однокурсник Евгений Серебренников и я — Игорь Ветров.

---

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт (род. в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл.). Автор книг прозы: *Морозный поцелуй* (1998); *Формула красоты* (Иркутск, 1998); *В то лето* (Иркутск, 2004); *Не оглядываясь назад*: (Иркутск, 2005); *Предчувствие чудес*: (Иркутск, 2008); *Куда всё это исчезает*: (Иркутск, 2010); поэтич. сб.: *Парижская тетрадь* (Иркутск, 1996); *Сестра моя осень* (Иркутск, 1999); *Памяти солнечный зайчик* (Иркутск, 2007), *Предчувствие чудес* (Иркутск, 2008); *Подарок от бездомной кошки* (Иркутск, 2013) и др. Член Союза писателей России.

Начальник рейса Александр Михайлович Николук и капитан — главные на судне. Николук в обязательном порядке обсуждает с кэпом все предвиденные и непредвиденные зигзаги нашего рейса по учёту и изучению миграционных путей северного морского котика.

На следующий день, первого октября, мы проснулись уже в Японском море. За завтраком (кофе, булочки, сыр, сливочное масло) в кают-компании командой был обнаружен ещё один неучтённый доселе член команды. Пушистая, дымчатого цвета кошечка Муся, которую прихватила в рейс «красивая и одинокая», как она сама о себе говорила, буфетчица Зина.

На вопрос капитана «Откуда на судне кошка?» она невинно объяснила:

— Не с кем было оставить. Я ведь женщина незамужняя.

При этом округлившись «иллюминаторы» её глаз, сияющие небесной синевой, как бы затуманились от наворачившейся слезы, и она, чтобы не дать чувствам воли, так изящно повела крутым бедром под коротенькой в обтяжку юбочкой, что больше никаких вопросов не последовало. По-видимому, в ту минуту наш мрачноватый капитан окончательно осознал, что у него на судне теперь не одна, а две милых кошечки, одна из которых, частенько относившая потом в каюту капитана утренний кофе, обеды и ужины (особенно ужины), стала его любимицей. А ласковая кошечка Муся — стала любимицей всеобщей.

Я, например, ценил её не только за бархатистую, приятную на ощупь шерстку, но и за то, что она во время качки выбирала на судне то единственное место, где качка чувствовалась меньше всего. И мы, бывало, часами сидели с ней там, пережидая волнение. Муся, как и я, качку не переносила, и шерсть у неё в такие минуты становилась сухой и жёсткой, топорщась во все стороны. Наверное, и у меня видок был не лучше.

Старшему механику Муся отчего-то напоминала внучку. И он частенько говорил: «Ну, в точности, как наша Люська. Такая же смышлёная и ласковая». В свободное от вахты время он приходил в кают-компанию, брал Мусю на колени и нежно гладил её своей ручищей, слушая убаюкивающее мурлыканье кошки, шурящей от удовольствия глаза.

Кок любил Мусю за её неприхотливость в еде и за то, что на камбузе с её появлением не наблюдалось мышей, частенько досаждавших ему, пока судно стояло в порту.

И только уборщица Катерина, в отличие от Зинаиды «одинокая и некрасивая» (уже не по её, а по всеобщему мнению), невзлюбила Мусю с самого начала.

Это она настояла в первые же часы рейса, чтобы Зина из их общей каюты кошку выселила.

— Пусть хоть за борт её выкинет, — заявила она капитану. — А я в одной каюте с драной кошкой жить не стану. У меня на кошачий мех с детства аллергия!

Причём о своём недуге она заявила с таким достоинством, будто он был наивысшим достижением в её двадцатисемилетней жизни.

Потому и зажила Мусенька в своё удовольствие на правах хозяйки не в совместной каюте буфетчицы и уборщицы, а в кают-компании, на мягком диване, где она, свернувшись клубком, обычно мирно дремала. А каждый проходящий мимо норовил её погладить.

Но счастье, как известно, не бывает вечным. Вот и эта идиллия вскоре закончилась.

Недели через три после начала рейса резко изменилось поведение самой Муси. То ли от хорошего питания, то ли от постоянного тепла, то ли ещё от чего... Одним словом, теперь, если кто-то заходил в кают-компанию, особенно мужчина, она проворно соскакивала с дивана и, противно с хрипотцой мяуча, начинала, выгибаясь дугой и задирая хвост, тереться о ногу вошедшего. Отчего-то больше всего ей приглянулись всегда идеально отутюженные форменные тёмно-синие брюки второго помощника капитана, молодого симпатичного блондина, не так давно окончившего мореходку во Владике.



— Да она к тебе клеится, Серёга! — гоготали находящиеся в кают-компании члены команды. — Ответь ей взаимностью! Ты ж у нас холостой! — подтрунивали мужики над заливающимся розовым румянцем парнем.

— Во кобели! — разнося еду, презрительно произносила Зина. — Одно у них на уме. — Она направлялась на камбуз, плавно покачивая бёдрами, к которым липла уже не одна пара глаз.

— Вышвырнуть её за борт! — шипела худосочная Катерина, когда Зина покидала кают-компанию. — Стерва! Вся в хозяйку свою. Никакой женской гордости нет, — строго заканчивала она, всем своим видом давая понять, что у неё-то женской гордости хоть отбавляй.

Когда же Муся стала оставлять свои метки на ковровом покрытии в коридоре и кают-компании, надеясь таким образом приманить несуществующего на судне кота, уже большинство членов команды стали относиться к кошке не по-дружески. Нет-нет, да и шуганут её несильным пинком из кают-компании, когда она особо усердно начинала тереться кому-то о ногу.

Особенно старался в преследовании Муси матрос Кухтыль. Он был небольшого роста, с кругло выпирающим животом и крупной округлой головой с коротким детским чубчиком. Так что в целом он действительно напоминал большой кухтыль, прикрепляемый к рыболовным сетям в виде поплавка. Матрос явно хотел понравиться Екатерине, хотя был короче её на целую голову. Тем не менее, их частенько можно было видеть вдвоём и слышать ненароком, проходя мимо, как он самозабвенно рассказывает уборщице о своём родном городе Калуге, где в пригородном посёлке у него с матерью есть свой дом и корова.

Общая неприязнь к Мусе, казалось, коснулась даже Зины, хотя она и старалась, чувствуя себя виноватой, спешно замывать со стиральным порошком метки.

Таким образом, из царственной особы Муся быстро превратилась в презираемую всеми потаскушку. И, с одной стороны, её было жаль — она ведь была не виновата в том, что так могуче властвовала над ней природа, а с другой, пожалуй, уже все понимали, что дальше так продолжаться не может и надо что-то делать.

Для решения этого вопроса и собрались как-то в кают-компании капитан, его старший помощник, фельдшер и начальник рейса, являющийся инициатором данного собрания.

В начале ноября судно должно было зайти в бухту Русскую на Камчатке для пополнения запасов пресной воды. Вот там и решили попытаться добыть Мусе жениха.

По словам капитана, который уже не раз бывал в этой узенькой, причудливо изогнутой, словно ятаган, среди скал бухте, можно встретить другие суда, так же пополняющие запасы пресной воды.

— Может быть, на каком-то из них окажется лишний кот, — вслух размышлял кэп. — На худой конец, спросим у погранцов. Там ведь пограничная застава, — информировал он Николюка, который в этих местах раньше не бывал. — Да ещё на метеостанции семья живёт...

— А может быть, отдать её тем же пограничникам? — посоветовался с присутствующими Николюк. — Просто так ведь не оставишь на берегу помирать. Живое существо...

— Не знаю. Вы начальник рейса — вам решать, — с раздражением ответил капитан. Как будто речь шла о том, чтобы пограничникам передать не Мусю, а Зину.

— А с другой стороны, — продолжил Николюк, — если добудем кота, она ведь гадить где попало перестанет. И пусть себе размножаются. А после рейса у Зинаиды Васильевны пусть голова болит, куда ей своё, то есть Мусино потомство пристраивать, — весело подмигнул он капитану, будто только что решил нелёгкую задачу.

В Русской была уже настоящая зима. Скалы, окружающие бухту, повсюду, где это было возможно, были покрыты снегом. Пушистый снег лежал блистающей, до рези в глазах, периной в узких расщелинах и в широких распадах, полого уходящих вверх по склону. На светло-серой спокойной глади воды, недалеко от входа в бухту, на якоре стояло огромное судно «Волчанск». Проходя рядом с ним, из-за узости бухты, мы задирали головы вверх, на его чёрный борт, пожалуй, превышающий по высоте стену четырёхэтажного дома. Рядом с этой громадой, у его кормы, копошился небольшой, юркий, серого цвета, рыболовный сейнер, спрятавшийся за корпус судна, чтобы пропустить нас в глубь бухты.

— Рыбу пришли сдавать, — прокомментировал метеоролог, измеряющий на палубе какой-то быстро крутящейся вертушкой скорость ветра. — Эти сухогрузы, — кивнул он на чёрную стену борта, вдоль которого мы проходили, — настоящие рыбозаводы. Причём работают там в основном женщины. На каждого, даже такого завалящего как наш Кухтыль, мужичонку, наверное, штук по десять, не меньше, приходится. Хоть гарем заводи! — мечтательно закончил метеоролог, записывая показания ручного прибора в тетрадку.

В середине бухты, очень похожей на норвежский фиорд, рядом с берегом была чуть притоплена выкрашенная в серый цвет баржа, к которой и швартовались суда, набирающие воду из горного источника, вольно стекающего со скал в специальные ёмкости, установленные на ней. Надводная часть бортов и палуба баржи были испещрены надписями, сделанными красной, чёрной и белой красками, — то есть теми, что используются на судах. Надписи были сделаны в разные годы. И чего здесь только не было! «В Сингапуре мы бывали...», «Нас в Австралии видали...», «Гоша из Корсакова, Сахалин, первый рейс...», «Тысяча миль за кормой, скоро вернёмся домой...» И так далее и тому подобное. По названиям различных экзотических портов и мест приписки судов можно было бы изучить географию земного шара. И пока матросы протягивали шланги для закачки воды в танки нашего судна, я с интересом читал эти меты времени. Нашёл там и такую, сделанную в прошлом году: «Дуся с «Волчанска», я тебя не забуду. Юрий Горобец с «Капитана Чернова», порт приписки Владивосток...»

— Игорь! — окликнул меня Николук, стоя у борта нашего судна. — Сгоняешь на моторке с радистом на сухогруз. Он обменяет старые фильмы на новые, а ты постарайся добыть Мусе жениха. Котьяра у них есть. Мы уже с ними по радиции связались, выяснили. Радист тебя с кем надо там сведёт. Может быть, попросить Мусю, чтобы она тебя пометила, — хохотнул румяный и, судя по всему, довольный жизнью и своим местом в ней начальник рейса. — Тогда кот тебя сам отыщет. Да, не подженитесь там с радистом сами, — снова хохотнул он. — Час вам на все дела! — уже официально закончил Николук, внимательно наблюдая, как матросы ручной лебёдкой с левого борта спускают на воду моторную лодку. — С вами ещё трал-мастер поедет. Он будет вас в лодке ждать.

Удостоверившись, что моторка плавно закачалась на спокойной воде, Николук скрылся за металлической дверью рубки, по-видимому, направившись в свою каюту. Я тоже побежал в свою, чтобы надеть под куртку свитер, а вместо ушанки свою любимую красную, как у неумоимого исследователя морских глубин Жака Ива Кусто, вязаную шапочку.

По мере приближения к «Волчанску» я видел, как судно стремительно вырастает в размерах. Когда с его борта нам сбросили шторм-трап, уходящий куда-то далеко вверх, я слегка растерялся: «Как же я по нему заберусь?» Однако, наблюдая, с каким проворством по нему поднимается радист, держа в левой руке авоську, сквозь ячейки которой виднелись большие плоские круглые металлические банки с плёнками фильмов, я немного успокоился.

— Вы там не задерживайтесь, — попросил трал-мастер Хасанов, придерживая низ верёвочной лестницы с плоскими деревянными ступенями, когда я ступил на первую из них. — Не месяц май, — улыбнулся он будто бы сразу всем своим обветренным лицом, когда я оглянулся на него.

Через несколько минут, перекидывая ногу через борт, чтобы ступить наконец на палубу, я ненароком посмотрел вниз и увидел нашу сильно уменьшившуюся в размерах жёлтую лодку на почти чёрной, из-за большой глубины, воде и уходящую, будто в пропасть, верёвочную лестницу.

«А что если бы она вдруг оборвалась? Например, из-за подгнившей где-то верёвки», — мелькнула ужаснувшая мысль, и я с тоской подумал, что мне предстоит ещё спускаться по этой лестнице назад... Дело в том, что я с детства боюсь высоты.

Радист и улыбчивый матрос, встретивший нас на палубе, на ходу о чём-то оживлённо говорили, а я молча следовал за ними, поражаясь громадности судна.

— Пройдём через цех, — обернулся ко мне матрос. — Так короче, — пояснил он уже радисту, — да и теплее.

Открыв железную дверь в боковом проходе, мы оказались в огромном хорошо освещённом помещении с несколькими неспешно движущимися резиновыми лентами транспортёров, вдоль которых в ярко-жёлтых дерматиновых фартуках и резиновых сапогах того же цвета стояли женщины, ловко орудуя ножами. Каждая из них, не мешкая, проделывала какую-то операцию. В конце длинной ленты конвейера металлические банки с яркой этикеткой упаковывались уже в небольшие картонные коробки.

— У нас сейчас сайра идёт. Мы вам потом несколько банок подарим, — беззаботно улыбнулся матрос, кивнув в сторону сосредоточенно работающих женщин, которым, как я понял, некогда было даже головы поднять.

Вспомнив мечты метеоролога о гареме, я подумал, что не хотел бы иметь таких наложниц. Ибо никогда и нигде не встречал я потом в одном месте столько угрюмо-сосредоточенных, не улыбчивых женских лиц, безразличных ко всему, кроме того, что двигалось по транспортёру. Даже на бодрое приветствие радиста «Здорово, бабоньки!» почти никто не отреагировал.

Мастер цеха по переработке продукции, толстенький, с бледным лицом, низкорослый мужичок, которого мы застали в небольшой каюте-конторе за цехом, с безразличным видом объявил, что кот куда-то запропастился и найти его не удалось.

— Может, почуял чего, — прогудел он простуженным низким голосом. В каюте мастера, по сравнению с цехом, было значительно теплее. — Площади-то у нас, хоть и огромные, — лишённым эмоций голосом продолжил он, — но кот обычно в цеху ошивался и обнаружить его было можно. А теперь вот нету. Мог и кроме цеха куда сквозануть. Судно-то, что небольшой городок, почитай, — разведя руками, закончил мастер.

— Ну, тогда дальше пошли, — подытожил сопровождающий нас матрос. И уже на ходу, обернувшись, бросил мастеру: — Мы к тебе на обратном пути зайдём. Банок десять консервов приготовить для гостей.

— Заходите, — равнодушно, ответил мастер, склонившись над разложенными на столе бумагами.

И мы отправились в небольшой кинозал, расположенный над цехом, к судовому киномеханику.

На родное судно вернулись, наверное, минут через сорок. Радист — с лентами новых фильмов, десятью банками сайры, всё в той же авоське, а я — ни с чем.

— Ладно, исправись («Как будто бы я в чём-то провинился!» — мысленно парировал я), — добродушно произнёс Николук. — На метеостанции тоже есть кот. Огромный, пограницы говорят. Сходишь туда. Это километра полтора вверх по рас-

падку. Там семья метеорологов Нечаевых живёт. Оба ленинградцы! Выпроси у них животину. Или предложи обменять на продукты. Да что мне тебя учить! Ты же охотвед, в конце концов! Вот и добудь котяру, можно с возвратом. Мы в конце декабря сюда снова за водой зайдём. Так что вернём живность в виде новогоднего подарка! — весело улыбнулся Николок.

— Женька тоже охотвед. Пусть он теперь идёт, — попробовал я отговориться от нового задания.

— Он моё поручение выполняет, — осадил меня начальник рейса, — вычерчивает для сравнения пути миграции котика из прошлогоднего рейсового отчёта. Впрочем, пожалуйста, если желаешь, можешь ты этим заняться. Я его пошлю. Просто ты у нас ведь самый молодой, — продолжил он, — вот я и подумал, что тебе это в охотку будет — по бережку пробежаться туда-сюда.

— Ладно, схожу, — согласился я, не желая заниматься бумажной работой.

Правда, «пробежаться по берегу» оказалось большим преувеличением. Как только я ступил мимо едва приметной тропки, ведущей от баржи к видимой издалека красной крыше метеостанции на склоне горы, как тут же увяз почти по колено в глубоком снегу.

Так, постоянно оступаясь и порою несколько минут бредя по глубокому снегу, там где тропинка вдруг исчезала, я не скоро добрался до добротного домика с огороженной металлической сеткой площадкой, на которой были размещены различные измерительные приборы.

Аккуратный дом метеостанции в распадке почти на вершине горы чем-то напоминал рождественскую открытку. Кругом всё было белым-бело, и только кое-где из пушистого снега выпирали тёмные скалы.

«Сказка, да и только! — вдохнул я полной грудью, пытаясь восстановить сбившееся от нелёгкого подъёма дыхание. А оглядев сверху чудесную панораму бухты со стоящими в ней судами, так же восторженно додумал: — Сюда бы ещё очаровательную Снегурочку для полного счастья!»

Потоптавшись на крыльце, зашёл в сени и, обметая валенки стоящим у порога венником, деликатно постучал в дверь.

— Войдите! — раздался крепкий мужской голос.

Посреди просторной чистой светлой комнаты стоял овальный стол, за которым, наверное, могло разместиться человек двенадцать даже в рыцарских доспехах. Однако за ним сидели двое: интеллигентного вида «дед» (тогда люди близкие к пятидесятилетнему возрасту казались мне стариками) и... «Снегурочка» (женщина много моложе своего спутника). Перед ними довольно попыхивал самовар. Парящий горячий чай они пили из блюдец. Как-то очень неспешно, словно в замедленной киносъёмке. На коврике, положенном на табурет, приставленный к печи, блаженно дремал здоровый серый кот.

Хозяйка, миловидная женщина с радостным ровным румянцем и синими, как спокойное море, глазами, смотрела на меня с доверием и некоторым любопытством. А мужчина с русой ухоженной бородой и не очень ухоженными, вольно спадающими ему на плечи волосами, глядел с некоторым недоумением, продолжая неспешно прихлёбывать душистый чай, заваренный, по-видимому, с какими-то травами. Рядом с самоваром-пыхтуном стояла вазочка с брусничным вареньем.

— Приятного аппетита! Здравствуйте! Я студент с научного судна, — поспешно начал объяснять цель своего визита и запнулся, видя, как от растаявшего в тепле снега с моих валенок на выкрашенном светло-жёлтой краской блестящем полу образуется тёмная мокрота. — Ой, извините, я сейчас, — осторожно отступил я в сени. Сняв там валенки, потому что хозяйка сидела за столом в белых шерстяных носках, вернулся в комнату и, стоя теперь уже на домотканой дорожке и тоже в светлых шерстяных носках, намерился продолжить свой рассказ, заметив, что лужицы от моих валенок уже вытерты.

— Чай будете пить? — спросила, белозубо улыбнувшись, хозяйка.

— Можно, — ответил я.

— Присаживайтесь, — предложил хозяин, указывая на лавку, стоящую с другой стороны стола и тоже покрытую домотканой дорожкой.

Муж и жена Нечаевы (по-видимому, это были именно они) сидели рядышком, на единственных, как я успел заметить, в этой комнате стульях, и им из двух окон, позади моей спины, открывался чудесный вид на бухту.

Мужчина вытер чистым белым полотенцем усы и бороду, раскурил трубочку и, подождав, пока женщина передаст мне чашку чая, спокойно спросил:

— Ну, а теперь рассказывайте не торопясь, что вас к нам привело.

— У нас Муся есть, кошечка, а у вас — кот, — начал я как заправский сват. — Она заготовала... — И я, прихлёбывая чай с брусничным вареньем, рассказал им о нашей проблеме, не забыв и о том, что кота мы можем обменять на продукты. — А в декабре, когда снова будем здесь заправляться водой, вернём его вам, — закончил я.

— А как вас звать-величать, молодой человек? — снова улыбнулся мужчина, выпуская изо рта клубы приятно пахнущего белого дыма.

— Игорь... Ветров, — добавил я.

— А меня — Николай Михайлович, как Карамзина, — кивнул он на простенок между окон, где на самодельных, от пола до потолка, полках из струганых досок плотно стояли книги. — «Историю государства Российского» читали, надеюсь?

— Ещё нет, — не стал я лукавить. — Мы в институте историю партии проходили.

— Какой? — добродушно улыбнулся Николай Михайлович. — Эсеров, кадетов, меньшевиков? Их ведь много в России было, партий разных.

— Большевиков, — ответил я. — Да вы и сами об этом прекрасно знаете.

— Знаю, — задумчиво ответил он. — Не знаю вот только, правильно это или нет изучать историю одной правящей партии? Ну а что касается Карамзина — прочтёте ещё, думаю, какие ваши годы. Вам ведь года двадцать два, не более?

— Точно.

— Ну вот, я старше вас в два с лишним раза. И почти на столько же лет, сколько вам, Надежда Сергеевна моложе меня, — кивнул он в сторону жены, которая со своей милой, немного застенчивой улыбкой наливала мне уже вторую чашку чая. — Так что вы с ней почти ровесники. — Чувствовалось, что Николай Михайлович любитель поговорить. — Я научной работой на родной кафедре метеорологического института занимался, а Надя у меня диплом писала, — продолжил он. — А потом проблемы начались, и мы с ней сюда, на край географии, укатили. От злых языков да от городской суеты подальше. Думали, поработаем здесь годика два, пока в институте да с бывшей женой моей всё утрясётся, и обратно в Ленинград. Научной работой продолжим заниматься. А вот, приросли как-то и к бухте этой, и к скалам её. Скоро уж семь лет будет, как мы здесь...

Он взглянул на настенные, с гирьками в виде еловых шишек часы и, повернувшись к Надежде Сергеевне, произнёс:

— Надя, время.

— Да, да, я сейчас, — отозвалась она, накидывая на голову цветастый платок. Сняв с вешалки у входа овчинный полушубок, надёрнула его. Затем, приподнявшись на цыпочки, достала с печи просторные валенки, сунула в них ноги и скрылась за дверью.

В окно было видно, как она, стоя в распахнутом полушубке на огороженной площадке, смотрит на термометр, а затем записывает его показания в тетрадку.

— Простудится ведь! — оглянувшись, посетовал Николай Михайлович. — Выскочила после чая нараспашку! — Видно было, что он тревожится за неё и одновременно любит её, её складностью да ладностью, её быстрыми и точными движениями...



— Минус восемь, — информировала нас Надежда Сергеевна, вернувшись в дом и передавая мужу тетрадь. — А высота снега ещё увеличилась...

— Зимы здесь, вблизи океана, обычно мягкие и многоснежные. Да и вообще климат здоровый, — пояснил мне Николай Михайлович и обернулся к жене: — Помогите мне, Наденька, надо передать последние данные и утренние замеры. — Опираясь на плечо жены, он с трудом, на несгибаемых ногах, добрёл до «сундука» рации, стоящей на отдельном столе в углу комнаты. Устроившись на привычно подставленном Надеждой Сергеевной стуле и ласково взглянув на жену, продолжил: — Если бы не суставы — охотился бы на камчатских соболей, чтобы вы, Надежда Сергеевна, могли в собольей шубе хаживать.

— Да зачем она мне, Коля? Перед кем мне здесь красоваться? Перед лодырем нашим, Васькой, что ли? — кивнула она в сторону продолжавшего блаженно дремать у тёплой печи кота.

И тут я вспомнил, для чего, собственно говоря, пришёл.

— Так как насчёт кота? — не зная к кому обращаться, проговорил я громко, словно говорил речь со сцены.

— Не знаю, — подумав, ответила Надежда Сергеевна.

А обернувшийся к нам Николай Михайлович продолжил:

— Вопрос этот не так прост, как кажется на первый взгляд. К сожалению, Бог не дал нам детей, — вздохнул он и, взглянув на жену, тут же переменял тему разговора: — А кот этот года два назад к нам приبلудился. С какого-то судна, видно, сбёг. Уши, лапы, хвост были сильно поморожены. Морозы в тот год стояли необычайно лютые для здешних мест. С тех пор его любимое место в доме у печки. Да и мы к нему привыкли. Он у нас вроде члена семьи теперь. Хотя, поперёк любви не становись! Правда, Наденька? — вдохновился вдруг Николай Михайлович и со значением, о чём-то по-видимому только им двоим ведомом, посмотрел на жену.

— Да и кошку жалко, — откликнулась Надежда Сергеевна, — мучается бедная без кавалера. А так, глядишь, котятки появятся. Потомство от нашего Василия пойдёт. Вы точно зайдёте сюда в декабре? — почти строго спросила она меня.

— Точно. У нас это в рейсовом задании записано.

— Тогда мы вот как сделаем, — решительно проговорила она. — Вы нам даёте наволочку муки, мы вам — кота. А в декабре Ваську вернёте. Уж полтора-то месяца мы без него как-нибудь проживём. Как думаешь, Коля?

— Давай выручим студента и Мусю, — добродушно улыбнулся Николай Михайлович.

— А я у пограничников творожка возьму, — поделилась своими планами Надежда Сергеевна, — и к вечеру ватрушек настряпаю.

Надежда Сергеевна достала из комода чистую наволочку, а из сеней принесла холщовый мешок.

— Пока я переодеваюсь, он тут в комнате согреется, — указала она на мешок, брошенный у печки. И, обращая ко мне, попросила: — Вы уж не обижайте там нашего Ваську.

Надежда Сергеевна удалилась в соседнюю комнату. И порою за занавеской в дверном проёме, отделяющем горницу от другой комнаты, вырисовывался её изящный контур. И мне стоило немалых усилий не смотреть туда.

Вскоре она вернулась в гостиную. На ней был белый грубой вязки свитер и синие спортивные брюки с начёсом. На ногах уже другие серые шерстяные носки.

В этом наряде она выглядела очень моложаво и отчего-то задорно.

Сняв с печки лыжные ботинки, присела на лавочку у двери. Когда со шнуровкой было покончено, достала с вешалки такую же, как у меня, из тонкой шерсти красную вязаную шапочку и такого же цвета перчатки.

— Ну, я готова, — как будто виновато сказала она. — Я на лыжах до моря скачусь и буду вас там у баржи ждать, — обернулась она ко мне. — А вы уж тут сами без меня



кота заберите. Да, ещё, — вспомнила она, — Коля, запиши Игорю как с нами связаться. Пусть их радист нас известит, если у Муси котятки появятся. А Ваську вы, пока в море не выйдете, из каюты не выпускайте, — снова обратилась она ко мне. — А то он у нас бегучий. Даже здесь поначалу всё норовил куда-то удрать, да собаки пограничные его шуганули... И сгущёнки ему давайте. Он её очень любит, как и я, — отчего-то слегка смутившись, добавила она.

Надежда Сергеевна вышла из дома. Николай Михайлович передал мне листок с их координатами.

— Это радисту отдайте. Он всё поймёт, — проговорил он, глубоко вздохнув, и вновь обернулся к рации, чтобы не видеть, как я буду забирать кота.

Через несколько минут по собственным следам, с котом в мешке, нередко вновь утопая в снегу, я направился к бухте. Иногда кот начинал неистово и молча дёргаться в мешке, и мне было жаль его. А потом, будто израсходовав силы, он так же внезапно затихал, словно засыпал или чутко прислушивался к хрусту снега под моими ногами.

Рядом с тропой двумя прямыми стрелами вниз уходила свежая лыжня. И я невольно вновь и вновь размышлял о Надежде Сергеевне. О её доброте. И о том, что нужно, наверное, очень любить друг друга, чтобы жить вот так, вдали от всех и от всего. От больших городов, от друзей, от театров, да и просто асфальтированных улиц...

Когда я подошёл к судну, кок уже передавал через борт Надежде Сергеевне, стоящей на барже, заполненную мукой наволочку. Она аккуратно, чтобы не испачкаться белой мучной пылью, встав на цыпочки, приняла раздутую наволочку и, присев на корточки, аккуратно поместила её в солдатский вещевой мешок, завязав его сверху лямками. Уже с вещмешком за спиной она сошла с баржи. Привычно сунула носки ботинок в крепления лыж и, нагнувшись, закрепила их.

— Ну, я побежала, — негромко сказала она, стараясь не смотреть на мешок за моей спиной. — Всего вам доброго, — положив мне руку на грудь, поспешно проговорила Надежда Сергеевна. И, уже надев на руку перчатку, добавила: — Не забудьте, что обещали сообщить о потомстве и Ваську вернуть.

По-видимому, услышав голос хозяйки, кот отчаянно, но как и прежде молча задёргался в мешке. И я, чтобы она не видела его метаний, продолжал держать пленника за спиной, пытаюсь придать себе при этом беспечный вид и стараясь не шататься из стороны в сторону от сильных и упругих толчков в спину.

Надежда Сергеевна какое-то время ещё постояла в раздумье, а потом, не очень весело улыбнувшись, продолжила:

— Не забывайте нас и своего обещания, — снова напомнила она о возврате кота. — Очень надеюсь увидеться с вами в декабре. В этом таинственном месяце воскресения нового времени и новых надежд... — Она немного помолчала, а потом добавила: — Если уведомите нас о своём прибытии заранее, я напеку своих фирменных пирожков с брусникой и угощу вас. Надеюсь, что до свидания?

— До свидания, — ответил я. Беспечного вида и голоса у меня явно не получалось, потому что мне хотелось сказать ей что-то очень хорошее, важное. И я уже намеревался это сделать. Но тут у борта судна появился Николук и весело заорал:

— Принёс жениха, студент?

Я ничего не ответил, утвердительно кивнув головой. А Надежде Сергеевне, сильно оттолкнувшейся лыжными палками и тронувшейся в обратный путь, всякий раз махал свободной рукой, когда она оборачивалась.

Метров через пятьдесят, на взлобке горушки, она тоже помахала мне в ответ лыжной палкой и стремительно скрылась в низинке распадка.

«Ну вот, и Надежда исчезла», — грустно подумал я.

— Чего застыл-то, как памятник первопроходимцам? — хохотнул своей шутке начальник рейса. — Давай на судно, скоро отходим! — Когда я поднялся на борт, он

заторопил меня: — Пойдём жениха поскорее к невесте в кают-компанию отнесём, пусть он её оприходует.

— Нет, — твёрдо ответил я. — Пока не выйдем в море, кот будет у меня в каюте. И распорядитесь, пожалуйста, чтобы кок выдал мне для него банку сгущёнки.

— А не слипнется у него ничего от банки сгущёнки? — попробовал иронизировать Николук, но потом, взглянув на меня, уже без всякого ехидства добавил: — Ладно, скажу. Делай как знаешь.

В море выяснилось, что Муся совсем не интересуется Ваську. Он бродил по судну, принюхивался к незнакомым запахам. С удовольствием ел сгущёнку. А от настойчивых попыток обольстить его различными прогибами спины, томным мяуканьем и тому подобными кошачьими хитростями отмахивался лапой, норовя ударить Мусю по носу. А порою просто убегал, просясь ко мне в каюту.

Я выпускал его, предоставляя кров и харч в виде сгущённого молока, когда он по долгу не покидал каюту. Подумывал даже поставить ему лоток с газетными обрывками для малых и больших нужд. Однако мой «сокамерник» категорически этому воспротивился. «Ещё запаха кошачьей мочи нам тут не хватало!» — отреагировал он на моё предложение, и мне пришлось с этим примириться.

Слыша, как за дверью каюты истошно орёт Муся, к стенам которой кот настороженно прислушивался, я успокаивал его: «В моей каюте, сударь, вы можете рассчитывать на полное политическое убежище и всякую защиту».

Успокаиваясь, кот с удовольствием лизал из блюда, сгущённое молоко, и чувствовалось, что ему здесь хорошо и спокойно.

— Я вас, дон Василию, обещал вашей хозяйке в целости и сохранности вернуть. Так что живите здесь как дипломат, на неприкосновенной территории посольства, находящегося в недружественном государстве.

Глядя Ваську, после трапезы устраивающегося обычно у меня на коленях, я представлял что, может быть, его, так же вот мурлыкающего от удовольствия, гладила Надежда Сергеевна. И что, вспоминая его, она, возможно, вспомнит и меня. Ведь у нас с ней даже шапочки одинаковые.

К счастью, «истерики» Муси вскоре прекратились. И они с Васькой частенько дремали теперь вместе, как брат и сестра, на диване в кают-компании, под которым проходила труба парового отопления. И не совсем ясно было, то ли у Муси прошёл запал страсти, то ли она решила, как уборщица Екатерина, стать гордой и одинокой. То ли у Васьки не только уши и хвост, но и что-то ещё пострадало от лютых морозов.

\* \* \*

От Камчатки мы спустились на юг, к Курильским островам и подошли к острову Шикотан.

По требованию пограничников, связавшихся с судном по радию, встали на рейде в удобной глубокой и защищённой от всех ветров бухте, не подходя к причалу. Через несколько минут после спуска якоря к борту «Учёного», сделав перед ним лихой вираж на немалой скорости, подошла моторная лодка с бравым лейтенантом и двумя рядовыми пограничниками, сопровождавшими старшего по званию. Старпом, встретивший офицера на палубе, проводил его в каюту капитана.

Вскоре ещё больше раскрасневшийся и явно повеселевший лейтенант появился в кают-компании, куда «для общего инструктажа» были собраны все свободные от вахты члены команды.

— Женщины могут при нашем разговоре не присутствовать, — многозначительно улыбнувшись, сообщил лейтенант, пронзительно глядя при этом на Зинаиду, застывшую в дверях камбуза, выходящих в кают-компанию.

Зина весьма вальяжно опиралась о металлический проём двери, скрестив на груди руки, отчего её немалых размеров грудь, упруго выпирающая в разрезе белой кофты, словно стремилась прорвать материю. А короткая юбочка на крутом изгибе бедра так туго облегла его, что больше подчеркивала, чем скрывала что-то. Всем своим видом и блуждающей полуулыбкой, не относящейся, впрочем, ни к кому, Зина как бы говорила: «Ну что принципиально нового может мне сказать этот безусый, с румянцем во всю щёку офицерик?» И, словно провоцируя его на какие-то действия, она отреагировала на его предложение неприсутствия на инструктаже женщин, с ленцой спросив:

— А если очень хочется?..

— А если очень хочется, — сделал нажим лейтенант на последних двух словах, не дав ей договорить, — то в другое время и в другом месте, где не будет посторонних.

— А если... — решила продолжить игру Зина, но теперь уже поднявшийся со своего места капитан не дал ей договорить.

— Зинаида Васильевна, — твёрдо произнёс он, — инструктаж сугубо мужской.

Когда женщины одна за другой вышли из кают-компании, лейтенант, до самой двери провожающий Зину, шедшую последней, нескрывая восторженным взглядом, вмиг построжел и начал без обиняков, как говорится, с места в карьер:

— Вот что, мужики! Вы прибыли на остров Шикотан, который является пограничной зоной. Только вчера мы отбуксировали, правда, в другую бухту острова, шхуну с японскими браконьерами, промышляющими в наших территориальных водах. Но вопрос не об этом, — резко сменил он тему разговора. — На Шикотане, как вам всем известно (не знаю, как до остальных, мне это было абсолютно неизвестно), расположен рыбоконсервный завод. Это, в отличие от почты, дизельной, больницы, школы, самое большое предприятие острова. И работают на этом предприятии несколько сотен женщин, по большей части одиноких. На каждого, самого заваливающего мужичонку на Шикотане приходится по десять-пятнадцать баб.

«Где-то я, кажется, уже всё это слышал?» — попробовал припомнить я.

— Так вот, — лейтенант сделал значительную паузу, — при такой, вроде бы не благоприятной для женщин острова статистике, на самом деле всё обстоит иначе. Из-за регулярно прибывающих на остров для сдачи рыбы судов, где команды в основном мужские, всё переворачивается с ног на голову. И получается, что на одну самку здесь приходится по несколько самцов. Должен вам сказать, что при небывалой простоте местных нравов, ибо на рыбозаводе только летом работают студенты из стройотрядов, а всё остальное время — «вербота», прибывшая сюда за длинным рублём. А вербуют контингент сами, наверное, знаете, где и как. (Я и этого, увы, не знал.) В любой придорожной канаве, — добавил пограничник, словно специально для меня. — Поэтому здесь на каждую... — он на секунду замялся, — ну, в общем, сами знаете чего, приходится по три километра... — он опять притормозил и снова повторил, — сами знаете чего. Так что с местными мадами, — он сделал нажим на последнем слове, — не советую связываться даже сильно изголодавшимся по женской ласке мужикам. Можете какой-нибудь диковинный гонконгский триппер подхватить или чего похуже, хотя, медосмотр и обязателен на заводе. Но ведь он не каждый день бывает.

— Два пера у нас уже было, — хохотнул Кухтыль, — а три ещё нет.

Лейтенант строго, будто насквозь просверлив его, взглянул на матроса и продолжил:

— А лечить вас потом в море сложновато будет. Так что не советую, — ещё раз обратился он ко всем и быстро обвёл взглядом команду, успев профессиональным взглядом, как рентгеном, просветить теперь каждого из нас. После чего, с чувством выполненного долга, по военному, словно отдавая приказ, чётко произнёс: — Инструктаж окончен! Можете подойти к причалу, — перевёл он взгляд уже на капитана, сидящего с «командным составом» на первом ряду составленных в три ряда стульев.

— Может быть, ко мне в каюту поднимемся? — вставая с места, предложил капитан.

— Не могу, — твёрдо ответил лейтенант. — Служба. — И надел свою форменную с зелёным околышем фуражку, изящным движением ладони проверив центр козырька. Затем чуть ли не строевым шагом в ладно сидящей на нём офицерской форме, с шинелью, перекинутой через руку, направился к выходу, блестя начищенными хромовыми сапогами.

«Форсун, — подумал я о нём, — ноябрь на дворе, а он всё в фуражечке щеголяет».

— Утром причалим. Торопиться нам некуда, — тоном, не терпящим возражения, сообщил Николюку капитан после того, как лейтенант вышел из кают-компания в сопровождении старпома. — Ночь на якоре простои́м, от греха подальше, — уже мягче уточнил он свою позицию.

Расставив по местам стулья, команда начала потихоньку расходиться. И в это время, затарактев мотором, лодка с пограничниками стала стремительно (это было понятно по быстро затихающему гулу) удаляться от судна. Я вышел на палубу взглянуть на лихих погранцов, но лодки уже не было видно. Зато я увидел, как в посёлке на береговых сопках в длинных неприглядного вида бараках и в редких частных домах стали зажигаться манящие янтарным светом огни.

Утром судно подошло к добротному бревенчатому, покрытому сверху нестругаными толстыми досками причалу. И только матросы успели закрепить на кнехтах причальные концы, как через борт, лёгким прыжком перемахнув его, на причал выскочил непонятно как очутившийся на палубе Васька. Прижимая к лобастой голове остатки обмороженных ушей и распушив короткий остаток хвоста, он деранул по длинному причалу, вдоль которого уже стояло несколько судов, с таким проворством и такой скоростью, словно за ним, как за зайцем, гналась свора борзых.

«Куда же ты, дурачок?!» — беззвучно в отчаянии крикнул я, со всей очевидностью неизбежности случая осознав, что не догнать, не вернуть кота, по-видимому, мне уже не удастся.

— Во улепётывает! Никакой инструктаж на него не подействовал, — заржал Кухтыль, крепивший на причале носовой конец. — Чем это его так Муся достала, не знаешь случайно? — подмигнул он Зине, курившей на палубе.

— Да все вы, мужики, котяры одинаковые, — неохотно отозвалась та, выпуская из ярко накрашенных губ колечки дыма, легко поднимающиеся вверх. Эти расплывающиеся и изящно изгибающиеся невесомые колечки, незаметно исчезающие при подъёме вверх, так не сочетались с папиросиной «Беломора» и сложенным гармошкой её бумажным мундштуком, который Зина, тем не менее, весьма изящно держала двумя длинными пальцами, с таким же ярко-красным, как губная помада, маникюром.

— В смысле? — не унимался Кухтыль.

— В простом смысле, Костя (только тут я узнал его имя). Всем вам, грязному мужичью, только бы телом нашим белым насладиться. А потом бросить на обочину дороги, именуемой жизнью, как ненужную вещь, как красивую обёртку от конфетки.

Зина ещё раз пустила колечки дыма и ловким щелчком отправила окурков за борт, в тёмную воду у причальной стенки, где уже плавало несколько его собратьев, неприлично разбухших от воды.

Постояв ещё минутку в раздумье, она объявила в никуда, как бы убеждая в чём-то саму себя:

— Вот я раньше была: «красивая и одинокая». И в этом всё-таки было что-то ценное. А теперь я — «умная и одинокая». И в этом есть уже что-то пошленькое: умная, но одинокая. Это, как в анекдоте: «Если вы такие умные, чего же вы тогда такие бедные?» Катька хоть может оправдать своё невезение тем, что она, мол, гордая. Что не допускает до себя никого. Вот ты, Костя, и то устал её помогать, отстал. И Катька этим тешится, как неприступная для врагов крепость. А умному-то человеку чем оправдаться, чем тешиться, если он всё, или многое, понимает? Нечем на поверку выходит. Зато каких сладких обещаний наслушаешься, пока тебя помогают... А

во Владике, ясно дело, всё вот так же точно будет. Как этот кот, скорей с борта, да к жене, под привычный бочок. И «прощай, моя любовь, прости!» Этот-то котяра гораздо честнее многих мужиков будет — он Муське не то что ничего не обещал, но даже и не домогался её. Тоска, одним словом, смертная, Костя! — остановила она печальный взгляд на матросе. — Словно все мы на обочине жизни. Видно, что-то неправильно то ли в нас самих, то ли в жизни нашей устроено... Постоянно ждёшь, ждёшь чего-то хорошего, а жизнь, глядишь, и промелькнула почти незаметно, как курьерский поезд. Правильно говорят: «Не страшись умереть. Страшись не начать жить».

— Зинаида Васильевна, не стойте на ветру, простудитесь! — послышался с мостика рубки уверенный голос капитана. — Здесь, хоть и Южные Курилы, но не май месяц, — снисходительно произнёс он. — Поднимайтесь ко мне в каюту, а то мы с вами ещё предыдущую партию в шахматы не доиграли. А вы меня там в весьма затруднительное положение поставили, и я хочу попытаться из него выбраться, — лучезарно улыбнулся кэп. И по всему чувствовалось, что у него чудесное настроение.

— И-и-ду! — вяло отреагировала Зина, покидая палубу.

А через минуту судовое радио официальным голосом капитана сообщило, что свободные от вахты члены экипажа могут сойти на берег до девятнадцати часов.

— В девятнадцать тридцать отход. Кто не явится к назначенному сроку на судно, останется на берегу, — тоном приказа закончил капитан.

Радио ещё не было выключено, и вся команда слышала залиvistый смех Зинаиды, будто её ласково щекотали и ей от этого было очень хорошо. Однако длилось это только мгновение. Тумблер радиотрансляции резко щёлкнул — и смех оборвался...

Надев в каюте лёгкую куртку, поскольку было довольно тепло, я пошёл на почту, решив отправить письма — домой и друзьям, написанные накануне. Да и просто побродить по острову, по не качающейся постоянно, в отличие от палубы, земле тоже хотелось. Да ещё теплилась, хоть и слабая, надежда на то что, может быть, я случайно увижу Ваську и смогу его вернуть на борт.

Судно уже готовилось к отходу, когда на палубу с причала, запыхавшись от коротких перебежек и быстрой ходьбы, неуклюже перевалил Кухтыль. Он загадочно улыбался и как заклинание повторял: «Ну, баба! Ну, огонь! Вот это перчик так перчик! Та ещё штучка!..» А вот Васька на судно так и не вернулся...

Испытывая чувство вины, уже в море я зашёл в каюту радиста и попросил его передать на метеостанцию бухты Русской следующее сообщение: «Надежда Сергеевна, Васька сбежал с судна на острове Шикотан. С Мусей у них ничего не сложилось. Извините, что не смог за ним уследить. Игорь Ветров».

\* \* \*

Когда мы во второй раз заходили на Камчатку, в бухту Русскую, я не пошёл на метеостанцию, хотя так мечтал об этом все предыдущие дни. А какие картины нашего чаепития с пирожками мне грезилась порой во сне и наяву! Как я, будто бы случайно, касаюсь руки Надежды Сергеевны, подающей мне чай. И она понимает, что это прикосновение рук не случайно и смотрит на меня внимательно и просто. И не отнимает своей руки. В мечтах моих муж Надежды Сергеевны обычно отсутствовал. Хотя увидеть и Николая Михайловича мне хотелось. Но он в моих мечтах был не главный. Главной была всё-таки Надежда Сергеевна — Снегурочка из прекрасной сказки. Однако чувство вины перед ней не позволило мне осуществить мои намерения. Я боялся, что она меня встретит очень холодно, как настоящая Снегурочка... И, видя с борта судна часть их красной крыши, я всё-таки так и не решился отправиться к ним.

Так вот и закончилась ничем эта история с котом в мешке, перебравшимся с Камчатки на Южные Курилы...

# ПОЭЗИЯ



**БОРИС ОРЛОВ**



## Мне вечно дорог не хватает...

*Вашему вниманию представляется подборка стихотворений Бориса Александровича Орлова — нашего гостя, участника «Дней духовности и культуры» 2012 года на земле Иркутской.*

*Капитан первого ранга, поэт Борис Орлов — лауреат Большой литературной премии, Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, международной литературной премии им. Сергея Михалкова и др.*

*Его поэзия полнокровна, патриотична, гражданственна. Обо всём он говорит искренне и с любовью, сострадательно и мастерски. Настоящий сын своего Отечества, достойно несущий звание русского поэта и морского офицера-подводника.*

*Статьи о его творчестве включены в библиографический словарь «Русская литература XX века», подготовленный Российской академией наук.*

*Знакомьтесь.*

*Василий Забелло*

\* \* \*

Остывает пляж. Речной песок  
Потускнел. На камне сохнет тина.  
Солнышко. Душистый ветерок.  
Налилась и вызрела малина.

Рядом свалка. А тлетворный смог,  
Словно ангел смерти, гибель будит.  
Восхищаюсь тем, что создал Бог.  
Возмущаюсь тем, что губят люди.

---

ОРЛОВ Борис Александрович родился 7 марта 1955 г. Поэт-маринист, секретарь Союза писателей России, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, главный редактор газеты «Литературный Петербург». Автор тринадцати книг стихов.



\* \* \*

К чему вернулся? И отец и мать  
Лежат в земле. Сгорел, как свечка, дом.  
Зачем прорехи в памяти латать?  
И прошлое, и жизнь пошли на слом.

Урочище непуганых осин —  
И нет ветров, и не дрожит листва.  
К чему вернулся? Словно блудный сын,  
Стою. Как слёзы, капают слова.

\* \* \*

В деревне люди чище и добрее,  
Жалеют сумасшедших и калек,  
А странника накормят и согреют,  
И, выслушав, оставят на ночлег.

Бездомных нет.

И все друг другу — ровня.  
Не привечают путников лихих.

Нет зависти. И заповеди помнят,  
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,  
Не рубят избы вдоль кривых дорог.  
Душа России —

русская деревня,  
Где в каждом доме обитает Бог.

\* \* \*

Стали стадными и стайными,  
Славим хищное родство  
И коммерческими тайнами  
Прикрываем воровство.

Добродетели низложены,  
Кто подлец, тот и умней.  
Коммерсанты в куртках кожаных —  
Комиссары наших дней.

## Отцу

Из калитки ты шагнул в войну  
С лёгкою котомкой за плечами.  
И, как предки к правде в старину,  
Шёл по ней и днями и ночами.

В поисках всемирной тишины  
Укрощал безжалостные доты.  
И в Берлине вышел из войны  
Через Бранденбургские ворота.

\* \* \*

Мы в сердце, молитвой согретом,  
Научимся святость беречь.  
Струится спасительным светом  
Алтарная русская речь.

Так было когда-то... Так будет!  
Ход крестный. Победный салют.  
Красивые русские люди  
В намоленном храме поют.

Всё мирно. Отвергнуты войны.  
Над храмом — божественный свет.  
Дышу и легко, и спокойно.  
Есть вечность... Забвения нет.

\* \* \*

*М. Немцову*

Мне вечно дорог не хватает,  
Продрогших в снегу и дожде.  
В них жизнь моя медленно тает,  
Как льдина в апрельской воде.

Знакомые с детства просторы  
Тоской обжигают виски.

А песни люблю, от которых  
Сходили с ума ямщики.

Не станет мой голос напевней  
Ни в храме, ни в хоре осин.  
Я поздний ребёнок деревни,  
Меньшой непоседливый сын.

\* \* \*

Грома, играя, чистят глотки.  
На полушарии — весна.  
Но в тесном корпусе подлодки  
Мы — как ростки внутри зерна.

Дыханье солнца помним смутно —  
Над головою сталь крепка.

Но в люк однажды хлынет утро,  
И мы услышим... облака.

И всплыть — новое рождение —  
Волной ветров окатит нас.  
Предстанет зыбким, как виденье,  
Мир, не вмести́вшийся в приказ.

## Атака

Весь корабль напряжённо дрожит.  
Что за страсть пробудилась в металле?  
Ниже волн наше море лежит.  
Отклоняется курс к вертикали.

Участилось дыханье турбин  
От объятий подводного мрака.  
И в тяжёлом безмолвье глубин  
Оживают торпеды... Атака!

\* \* \*

*Экипажам атомоходов,  
погибшим в океане*

Акустик различает голоса  
Архангелов, а не семей китовых.  
Из глубины всплываем в Небеса,  
Апостол Пётр готов принять швартовы.

Достоинство и Веру берегли,  
А к Господу вели морские мили.  
У нас горизонтальные рули  
Похожи на расправленные крылья.

Качаемся, как будто на весах,  
На облаках — в цене весомость слова.  
Наш экипаж зачислят в Небесах  
В эскадру адмирала Ушакова.

Нет, кроме нас, в отсеках ни души.  
Над перископом белый ангел вьётся.  
В раю мы будем Родине служить  
Под вымпелом святого флотоводца!

## Наш корабль

Россия, не зная курса,  
Плывёт себе наугад.  
Как первый отсек от «Курска»,  
Оторван Калининград.

Гибнем в подъездах и штреках —  
Страшен кровавый след.  
Но «Осмотреться в отсеках!»  
Сверху команды нет.

Не просвещён, не обучен  
Вовремя наш экипаж.  
И по борьбе за живучесть  
Не проведён инструктаж.

Взрывчатка, ножи и пули —  
Топит Россию братва.  
Словно винты, погнулись  
Курильские острова.

\* \* \*

Однажды я вернусь под отчий кров,  
Когда из обихода сгинут войны.  
Сниму шинель. Пойду пасти коров.  
Там лес и поле. Там всегда спокойно.

Мне кто-то скажет: «Ты сошёл с ума...»  
Но я душой не перекасти-поле.  
Мне снятся золотые закрома  
Под стражей одряхлевших колоколен.

Бредут коровы в солнце и пыли.  
Стрекозы в омутах целуют воду.  
Хотя отвыкли руки от земли,  
Не разучился чувствовать свободу.

\* \* \*

Я список кораблей прочёл до середины...

*О. Мандельштам*

Указ или приказ — как вражеский фугас:  
Уходит флот ржаветь на мели и в глубины.  
Я список кораблей прочёл десяток раз,  
А раньше я не мог прочесть до середины.

Останки кораблей — вдоль русских берегов,  
Но сраму ни они, ни моряки не имут.  
Всё тайные враги... а явных нет врагов,  
И гибнут корабли трагичней, чем в Цусиму.

Заморские моря грустят без наших рей,  
Но флаги на морях не нашего пошива.  
О флотские сыны, романтики морей!  
Здесь движет не любовь, а зависть и нажива.

\* \* \*

Я — офицер, нарушивший присягу...  
Назад ни шагу и вперёд ни шагу  
Не сделал. Разворована страна.  
А за развал на мне лежит вина.

Я — офицер, нарушивший присягу...  
Безропотно служу чужому флагу,  
Тому, который раньше презирал.  
Чужому флагу служат генерал  
И рядовой. На всех лежит вина.  
Проиграна холодная война.

Я — офицер, нарушивший присягу...  
Я в плен попал, не проявил отвагу.  
В плену и генерал и рядовой.  
Никто не поплатился головой,  
Но мучается наш народ в плену.  
Я проиграл холодную войну.  
Я — офицер, нарушивший присягу.

\* \* \*

Бог попустил: брат предал брата,  
Решив, что честный труд — изъян.  
Я был свидетелем заката  
Страны рабочих и крестьян.

Опустошались пьедесталы  
И души... Разум слеп и глух,  
Заводы ржавчина съедала,  
В плен брал поля чертополох.

В глазах детей струится холод,  
Забыты деды и отцы.  
В металлоломе — серп и молот,  
У звёзд обломаны концы.

Когда впадает память в Лету,  
Нет у людей иной судьбы:  
Уйдя от Божьего завета,  
Все — господа... и все — рабы.

\* \* \*

И ослепли мы все, и оглохли,  
Затоптали Спасителя след,  
У безбожной сиротской эпохи  
Настоящего имени нет.

Расщепили и совесть, и атом —  
И увязли умом в мелочах.  
Словно гроб  
с Неизвестным солдатом,  
Мы эпоху несём на плечах.

Устаём...  
Но дела подытожу:  
Царь расстрелян, а Бог высоко...  
Нам нести тяжело эту ношу,  
Но и бросить её нелегко.

\* \* \*

Опустели, как в дождь, бельевые верёвки —  
Нищета. Мы у века живём на краю.  
Петербургу не выплакать слёз Пискарёвки  
И не снять Ленинградской блокады петлю.

Прячем взгляды в себя, сторонимся друг друга;  
Как в тугом кошельке, в сердце носим вину  
Перед теми, кто умер. Мы загнаны в угол.  
Шулера, словно карту, тасуют страну.



ИВАН КОМЛЕВ



## Оранжевый медведь

РАССКАЗЫ

### Малява

Воспитателю детского сада, в связи с новыми постановлениями Правительства, понадобилась справка о том, что она не была судима. Теперь судимых надо удалять подальше от детей. Узнала она, что такие справки выдают в областном Информационном центре Министерства внутренних дел, пошла в это учреждение, простояла несколько часов в очереди, написала заявление и вернулась домой. Ждать.

Ясное дело: это же не просто — найти то, чего нет. Как раньше говаривали: «Докажи, что ты не верблюд».

Через месяц справка была готова, о чём ей любезно сообщили по телефону. Поехала, снова несколько часов в очереди, дождалась, получила, расписалась — всё как положено. Справку, не глядя, в сумочку — и домой.

Утром следующего дня, перед выходом на работу, ёкнуло сердце: надо заглянуть в справку, прежде чем отдать её заведующей детским садом. Развернула документ.

Фамилия, имя, отчество, год рождения — всё совпадает. А дальше: «...осуждена 19.06.1978 г. Народным судом Магаданской области по ч. 2 ст. 144 УК РФ к 2 годам л/св условно с привлечением к труду...»

---

КОМЛЕВ Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист (род. в 1940 г. в г. Омске). Автор книг: *Ковыль*: (Иркутск, 1990); *Лепёшка*: (Иркутск, 1992); *У порога*: (Иркутск, 1994); *Когда падает вертолёт*: (Иркутск, 2001); *На рубеже*: (Иркутск, 2008), публикаций в коллект. сб. и журналах. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России.



Осуждена на срок в 2 года?! Условно? Ничего себе! Стала читать дальше. Там ещё круче. Оказывается, после первого суда, когда не посадили, не успокоилась, продолжала что-то творить дальше и вот:

«По определению Народного суда Сквородинского р-на Амурской области от 02.04.1979 г. водворена в места лишения свободы на срок 1 год 6 мес. 15 дней. В соответствии со ст. 86 УК РФ судимость погашена».

В обморок не упала, но долго не могла сообразить, сколько же ей лет тогда было, в каком классе училась, и где находится та самая Амурская область, в которой её, выходит, судили во второй раз и в которой она никогда не была?

Целый месяц трудились в Информационном центре и нашли ей судимость.

Позвонила им. Я, мол, тогда ещё маленькая была, не могла быть судима.

Чиновница, надо отдать должное, не стала настаивать на истинности созданного в их аппарате документа, сказала: «Перезвоните через пять минут».

Через пять минут воспитатель узнала, что судили в 1978 году её однофамилицу, полную тёзку, которая была на пять лет старше, но родилась в том же посёлке, что и она.

Справку обещали выдать новую, а прежнюю попросили вернуть.

Поехала, вернула справку-маляву, а новую, без судимости, прежде чем в сумочку положить, прочла. Не судима — родители детишек могут быть спокойны.

На этот раз в очереди стоять ей не пришлось: и в Министерстве внутренних дел есть понимающие люди.

Вот и вся история.

Удивительно только, что современные средства связи позволяют узнать о человеке всё за пять минут, а чтобы написать «маляву», надо трудиться целый месяц.

## Оранжевый медведь

Было это, когда я работал на Дальнем Востоке, в геодезической экспедиции. В бригаде моей четверо: кроме меня, инженера, помощник, точнее — помощница по имени Галина, тоже инженер, водитель вездехода Иван и рабочий Павел.

Всё лето вчетвером, с остальным миром, с базой экспедиции, связь только по радиии.

Работа заключалась в том, что мы проводили геодезические наблюдения с пунктов, построенных на вершинах гор.

На очередную вершину на вездеходе подняться не было возможности, но нам не привыкать — загрузили себя по полной: палатка, спальные мешки, продукты и, главное, инструменты. Поменьше, чем на верблюдах, но, что называется, под завязку. В последний момент мне пришлось сделать выбор: винтовку взять или фотоаппарат. Решил, что на голой вершине горы винтовка не пригодится, да она и тяжелее, а фотоаппарат полегче и, если выберется свободная минута, хороший пейзаж с высоты можно будет заснять.

Карту посмотрел — и вперёд, в гору!

Вышли сразу после завтрака, шли вначале по ручью, потом продирались по лесу и бурелому, затем лес сменился стлаником, и, наконец, вот и вершина — камни, редкая травка и мох. Выше нас только синее безоблачное небо и солнце. Поднялись за шесть часов и были довольны: успели приготовить обед-ужин и установить приборы для вечерних наблюдений, когда на час-другой воздух становится прозрачным и спокойным.

Деревянная пирамида со столиком для теодолита была построена на скале, с трёх сторон к ней был достаточно пологий подход, а с четвёртой скала обрывалась отвесно, примерно в три этажа обычного городского дома.

Палатку мы установили в ста метрах от пункта, где веток на подстилку можно было нарубить и за дровами далеко ходить не надо.

Вечерние наблюдения прошли без происшествий, да мы их и не ждали, поужинали на закате — и спать. На сон приходилось часа три-четыре, вставать надо было с восходом солнца, чтобы воспользоваться короткой утренней видимостью. Понаблюдать утром удалось с полчаса, но и это уже хорошо: не всякое утро атмосфера бывает спокойной. К вечерней видимости успели сделать и все другие работы, которые не требуют чистого и спокойного воздуха — настроение у моих помощников было хорошее, так как они надеялись, что вечером я закончу наблюдения. Погода стояла отличная.

И вот настал самый ответственный и желанный час: я у теодолита, навожу поочередно трубу на пункты, расположенные в десяти-пятнадцати километрах на окружающих горах, даю отсчёты, Галя записывает, считает углы, сравнивает, контролируя от возможной ошибки. Иван и Павел сперва были у палатки, готовили ужин, потом пришли и переживали:

— Успеем?

Павел вышел на край обрыва и смотрел с высоты на расстилавшуюся внизу картину: август уже позолотил кое-где лиственницы, зелень деревьев и кустарников приобрела десятки оттенков, а за отрогами гор, видимых на десятки километров, белели облака. Солнце клонилось к горизонту, вернее, к вершине на западе и, казалось, просвечивало насквозь лесную чащу, травы и саму землю.

Мне эта картина, захватывающая дух, давно знакома, но любоваться нет времени, ловлю мгновения, когда условия для наблюдений идеальные. Поворот трубы закрепляю винтом, другим винтом, микрометренным, подвожу далёкую мишень, визирный цилиндр, точно в перекрестие сетки нитей, беру отсчёты — градусы, минуты, секунды и даже доли секунд. Движения отработаны, глаз по-снайперски точен, всё быстро, как бег спринтера на стометровке.

Рабочие мои знают, что в этот момент отвлекать меня даже одним словом нельзя. И вдруг Павел сказал:

— Медведь. Сюда идёт медведь.

— Не мешай, — сказал я сердито, — а то не успею.

Иван тоже подошёл к обрыву и посмотрел вниз.

— И правда, медведь, — рассмотрев склон, сказал он растерянно, — сюда идёт.

«Этого ещё не хватало! — пронеслось в голове. — Не только винтовки нет, но даже нашего тупого топора поблизости».

Я прекратил наблюдения и подошёл к рабочим. Тут же рядом стала и Галина.

Внизу по склону поднимался хозяин тайги. Он уже миновал полосу леса и был прекрасно виден: неторопливо обходил кусты стланика, деловито оглядывая их, как, бывает, колхозный агроном осматривает свои поля и прикидывает будущий урожай.

— Дуй к палатке, — приказал я Павлу, — неси топор и фотоаппарат.

Рабочий не шелохнулся, зачарованный видом зверя. А тот всё шёл и шёл по своему маршруту, высматривая что-то не только в стланике, но и на земле у себя под лапами. И вот уже перед ним последний куст, а дальше открытое место и скала, на которой выстроились мы, словно застигнутые врасплох школяры перед строгим учителем. Скала шириной метров пятнадцать. С какой стороны он её обойдёт и станет ли подниматься к нашему пункту, чтобы выяснить, что тут построено и кто чем занимается.

Страх не было, удивление и восторг — вот что владело нами, по крайней мере, мной.

Медведь был ярко оранжевым! Никогда не думал, что такие есть в природе. Он был огромным, откормился за лето, на его широкой спине, как на диване, могла бы свободно разместиться любовная парочка. «Вот это вездеход! Вот на ком бы возить наши инструменты и пожитки!» — мелькнула нелепая мысль. Солнце добавляло ярких красок в его шерсть, видно было, как под шкурой двигались передние лопатки,

мышцы перекачивались неторопливо, словно волны, в лад с его движением, и реальный мир в этот момент исчез для меня, превратился в сказку.

Медведь обошёл последний куст стланика, до скалы оставалось менее десятка шагов, и в этот момент Павел не выдержал:

— Эй ты! Падла! Куда идёшь?!

Медведь остановился, поднял голову, уши его, висевшие до того, расправились мгновенно, словно на пружинах. В то время ещё не придумали Чебурашку, но это было очень похоже: голова и настороженные уши медведя как три огромных круга, как три радара, направленные на нас. Зверь был удивлён неожиданной встречей не меньше людей, и это удивление явно, как у человека, читалось в его глазах.

Я вставил пальцы в рот и свистнул как Соловей-разбойник.

Миг — и медведь оказался за кустом стланика, который шириной не менее шести метров! Движение было столь стремительным, что никто из нас потом не мог объяснить, в какой именно момент зверь развернулся и прыгнул. Он словно там и был. И помчался вскачь вниз, вызывая у нас изумление и хохот. Медведь при беге ставит передние лапы то с одной стороны туловища, то с другой, и создавалось впечатление, что он крутит то влево, то вправо своим огромным оранжевым задом.

От вида бегущего зверя невозможно было оторвать взгляд, особенно когда он перемалывал через кусты, если перед ним оказывалась сплошная стена стланиковых зарослей.

Мы так и стояли зачарованные несколько минут, пока он не промчался вниз, до седловины. Надо было возвращаться к наблюдениям, но зверь миновал лесную полосу, стал подниматься, уже неторопливо, на склон противоположной горы и снова стал хорошо виден. Тут меня дёрнула нелёгкая снова разбойно свистнуть. Медведь рванул вверх так же быстро, как и в первый раз. Скачками в гору! Невероятно! И теперь уже любопытство держало меня на краю обрыва: долго ли он сможет так бежать? Восторг и жутковатое осознание мощи и скорости движения медведя — стало понятно, что никто, никакой другой зверь не сможет выдержать такой гонки. Где уж слабому человеку уйти от погони, если Миша действительно захочет «побеседовать» с ним накоротке!

Наш оранжевый медведь без передышки, всё так же махом, вбежал на вершину горы и скрылся за перевалом. Сколько времени прошло — пять минут или десять?

— Вот, — сказал Павел с завистью и восхищением, — а мы целый день корячились, чтобы зайти на гору! Нам бы такого дрессированного — ни бензина ему не надо, ни запчастей — гусеницы на камнях не рвутся.

А я уже раскаивался, что свистом заставил зверя мчаться в гору. Приходилось слышать от бывалых охотников, что после испуга и такой пробежки у медведя может разорваться сердце. Вдруг и этот красавец погибнет там, за перевалом?

Наблюдения в тот вечер я всё же успел закончить. Переночевали, утром отправились к вездеходу, чтобы продолжать свою работу в другом месте.

Медведей за годы работы в тайге мне приходилось видеть несколько раз, бурых — и до того, и после, но вот так, с глазу на глаз, и такого необыкновенного цвета — больше не случилось.

Остался этот эпизод в памяти, в душе моей как маленький оранжевый сколок неведомого абсолютного счастья.

## Сторож

Садоводство наше большое, сторожей несколько, и один из них жил на моей Пятнадцатой улице, наискосок от моего дачного домика. Невысокого роста, сутуловатый,

с низко опущенными плечами, лицо коричнево-красное от солнца и выпитого горячительного напитка, с цепким взглядом серых глаз — мне этот пенсионер чем-то не понравился при первой встрече, но потом это впечатление забылось, затёрлось, и при знакомстве нашем он даже вызвал у меня симпатию. Я вообще склонен принимать людей с доверием, особенно таких вот: по-деревенски мужиковатых внешне, надёжно скроенных, как пахари.

Он оказался моим однофамильцем, а звали его Владимиром. То, что он любил выпить, — это можно было не спрашивать, но его не качало, мимо моего участка всегда шагал твёрдой походкой.

По субботам по улицам садоводства ходила старая грузовая машина. Володя, так его все звали, с другим постоянно проживающим в саду мужиком, худым и лысым, восседали в кузове и зычными голосами поочерёдно оповещали садоводов: «Муу-соор! Муу-сор!»

И они утрамбовывали в переполненном кузове выносимые пакеты, мешки и всякий хлам.

Однажды в машине что-то сломалось, неподалёку от моего участка, и Володя зашёл ко мне — нет ли у меня подходящего куска проволоки?

Весной эти друзья готовили водопровод к подаче воды, осенью помогали сантехнику обесточить систему.

Как-то раз у меня на участке сорвало кран, Володя был неподалёку и пришёл на помощь: сначала мы с ним забили, преодолевая напор водной струи, в отверстие деревянную пробку, потом он сходил куда-то и отключил воду на нашей линии, затем уже я поставил другой кран, бывший в употреблении, но вполне надёжный, сработанный ещё в советские времена.

После проделанной работы Володя посмотрел на меня внимательно и спросил:

— Не займёшь на пузырёк?

Понятно, помог человек человеку и вполне заслужил благодарность.

— Да ладно, — говорю, — дам тебе «пузырёк», есть у меня бутылка сорокаградусной.

Я вынес ему водку:

— А с валютой у меня, извини, туговато.

— Сойдёт! — он довольно оглядел бутылку. — Может, вместе выпьем?

Я отказался, чему он, похоже, обрадовался, хоть и старался не подать виду.

Потом мы встречались ещё много раз, он даже рассказывал мне, что был в прошлом военным, майором, в Афганистане побывал и потому пенсия у него вполне сносная. В эту историю я не очень поверил, староват он был для Афгана, но кто знает, всё возможно.

Другой раз, после того как он не показывался на улице месяц или больше, он рассказал, что был на операции.

— Повторно, — сказал Володя, выдыхая перегар, — в позапрошлом году меня поронули, чуть дуба не дал. А что-то внутри не так срослось, вот и пришлось им снова меня под нож.

Он задрал рубаху и повернулся спиной — на правом боку, ниже подреберья красовался безобразный шрам шириной с ладонь. Тот, кто зашивал рану, не слишком заботился, чтобы совместить края разреза, и кожа топорщилась буро-красной губой. «Коновал тебя оперировал, а не хирург, или был под газом», — подумал я, но не сказал этого, а спросил:

— А кто тебя, говоришь, «поронул»?

— Да наши там, с предместья.

— За что?

— Урки. Я когда-то от них откололся. Пахана одного зарезали, мне предлагали

вместо него, а я отказался. Мне это зачем? Паханы долго не живут. А тут просто повздорили, в позапрошлом году, когда выпивали. Один молодой зашёл сзади и всадил мне «пику» под ребро.

Тут я поверил ему больше, чем про Афган и про майора — внешность Володина подсказывала, где истина ближе. Но нельзя было исключить и то и другое: времена настали такие.

Так вот и жили в летнее время на даче. Осенью садоводство почти замирало, и в редкие поездки зимой на моей улице была лишь небольшая тропка, протоптанная сторожем и его овчаркой.

Одна беда досаждала садоводам: как только дачники убирались в город, на зимние квартиры, в их обезлюдевшие домики начинали шастать воры. Тащили всё подряд: чайники и кастрюли, садовый инвентарь, инструменты, постельные вещи, если таковые ленивый садовод не увёз в город. Запоры не помогали — либо их срывали ломиком, либо выставляли стекла в окнах.

Однажды я приехал зимой на дачу, чтобы проверить — цела ли? — и покататься на лыжах. Встретил Володю с его верным псом, спросил:

— Ну, как поживаешь? Много воров поймал?

— А вот мы прихватили одних, шелеховских, смотрим: диван волокут, хороший такой диван, на машину грузят. Ну, у ворот мы их прихватили, тормознули, милицию вызвали.

— И что?

— А ничего. Хозяин дивана потом нашёлся.

— Воров-то посадили?

— Нет. Подержали в кутузке немного, допросили и отпустили. Говорят, что заявление только от хозяина можно принять. Хозяин же о краже не сразу узнал, не стал писать, чтобы его не таскали по судам. Чего писать? Диван же вернули.

Несколько сезонов меня это лихо обходило, что, в некоторой степени, я относил на присутствие вблизи сторожа. Но однажды зимой я нашёл вскрытым окно — стекло не было разбито, а было вынuto и аккуратно приставлено к стене. Особенно поживиться в доме вора не пришлось: унесли мои шерстяные вязаные носки, оставленные здесь на случай, если приеду покататься на лыжах, уже не новый свитер, топор и флягу. Жалко было мне флягу. Много лет я оставлял её в сарайчике, где даже двери не было, отчего сарайчик внимания воров не привлекал, а в ту зиму жена настояла, чтобы фляга была в доме — надёжнее, мол. Флягу на зиму я заполнял на три четверти водой, а чтобы её не разорвало льдом, ставил её наклонно и опускал в воду небольшую палку. И вот тяжеленную флягу, даже со льдом, утащили через окно.

Взамен на пустой кровати посетители оставили синие носки с огромными дырами на пятках да оправу от очков, которую, вероятно, надевал вор на нос для маскировки — от глаз случайного прохожего-свидетеля.

Обворован был не я один, здесь, по соседству со сторожем и его собакой, пострадали (были обкрадены) и другие дачники, кто-то годом раньше, кто-то позже. В милицию мало кто обращался, а кто и пытался это делать, только зря тратили время и нервы: ездить надо было в Шелехов, там находились наши «защитники». Сосед белорус пожаловался однажды:

— Вот профессионалы! Бензопилу осенью не увёз, в сарайчике завалил в углу разным хламом, так ведь раскопали, унесли.

Как-то раз я узнал, что председатель нашего кооператива уволил Володю с должности сторожа. Тогда я подумал: председателю надо было хоть как-то проявить свою озабоченность по поводу ненадёжности охраны в садоводстве. Но Володя всё равно в город не уехал, круглый год жил в садоводстве. По выходным к нему иногда приезжал

сын, летом на машине, и тогда с ним приезжала Володина жена с сумками продуктов, оставалась на неделю-другую, потом уезжала, видимо, для лечения. Ходила она по двору с трудом, молчаливая и насупленная. Володя как-то похвалился мне, что ещё в первый год совместной жизни «воспитал» супругу — раз и навсегда:

— Дал ей в лоб, вот так, — он сделал движение рукой и показал, как ударом ладонью между глаз свалил жену, — она с копыт долой, еле отошла. С тех пор не возникает.

Года три назад было. Летом. Приехали на дачу ближе к ночи, с женой. Она сразу в теплицу — была такая построена мной, под плёнкой, — радостно кричит:

— Помидоры поспели!

Было чему порадоваться. Созрели помидоры, семена которых я привёз из Омской области. Мама моя, хоть и не имела никакого образования, агрономом была «от Бога». Если приезжал я в гости к родителям летом, то ничего лучше маминых помидор, да если ещё с настоящей сметаной, придумать было нельзя. Разломишь в ладонях огромную помидорину, она, сахарная, не брызнет соком, искрится, как астраханский арбуз...

И лишь однажды, уезжая в свой Иркутск, сообразил:

— Слушай, мама, что это у тебя за сорт такой, как называется?

— А я уж не помню, как называется и где семена взяла. А ты возьми вот у меня, я всегда свои высаживаю.

Семена я тогда привёз, но весной про них забыл. Мама через год умерла, отца отравили жить к брату, и тогда я вспомнил про родительский подарок. Посеяли семена в горшочки, переживали: взойдут ли? Потом волновались: подойдёт ли земля нашей теплицы для переселенцев. Родовались тому, что крепкие, как дубки, саженцы дружно цвели, и помидорки на них, как по команде, одновременно появились.

И вот настал день, когда они налились и враз покраснели.

Темнело, тут ещё туча надвигалась, мы решили отложить сбор урожая до утра. В теплице ещё два сорта томатов росли: мелкие — для засолки, средних размеров — для приготовления лечо и прочих радостей.

Дождь не заставил себя ждать. Редкие фонари почему-то не горели. Темно стало, хоть глаз коли.

— Воровская ночь, — повздыхал я, укладываясь спать.

Утром вышли мы с моей благоверной за урожаем, а помидоры словно нечистая сила унесла. Пострадали больше всего те самые, привезённые, мамины, хоть они и росли в самом дальнем углу теплицы. Эти были сняты подчистую: одну только, не совсем ещё дозревшую, помидорину нашли. «Работал» тут явно не один человек: надо же было светить фонариком, да и в один рюкзак всё было не уместить. Следы дождём смыло, лишь у самой двери теплицы сохранился отпечаток подошвы сапога, примерно сорок третьего размера.

Пошёл я к Володе, он хоть и не сторож уже, но что-то может подсказать. Подсказал: где председатель нашего садоводства живёт.

С председателем пошли мы на соседнюю, на Шестнадцатую улицу — вездесущая соседка Татьяна сказала:

— У милиционера сын наркоман, он тут с друзьями промышляет.

Дом милиционера стоял напротив Татьянинного. Милиционер, его жена и знакомые сидели за столом на улице, под навесом, праздновали воскресенье. Сына не было.

— Ночевал, — сообщил папаша, — но без друзей. При мне он такого не сделает. А помидоры у нас свои есть, зайдите в избу, посмотрите.

Зашли. В углу дома навалены помидоры, но явно не с моего участка.

В милицию я заявление писать не стал: не будут искать ветра в поле.

Сами садоводы отбивались от воров и грабителей как могли. Иван, бывший лётчик, рассказал мне:



— Глянул в окно, вижу: подъехала иномарка, остановилась, из машины вышли двое, в калитку, и не к дому, а через грядки. Третий в машине остался. Что такое? Я на крыльцо, спрашиваю: «Что вы тут делаете?» Но сам уже вижу, что мак их заинтересовал,росло у меня в одном углу, хоть и не сеял. Один уж и ножичек достал, чтобы срезать. «Зайди в дом, батя, — говорит мне второй, — и сиди тихо». Что делать? Вернулся в дом, снял со стены двустволку, зарядил мелкой дробью, вышел на крыльцо и, слова не говоря, жажнул по машине из одного ствола, потом из другого. И снова заряжаю. Наркоманов как ветром сдуло — один в калитку, другой через штакетник, в машину. «В следующий раз, — кричу им, — стрелять буду сразу, как увижу вас здесь!» Пальнул ещё по машине вдогонку из обоих стволов.

— Не боишься, что явятся на разборку?

— Теперь только так: бей первым, иначе пропадёшь. Но не явятся, трусы перед беззащитными только права качать могут.

Володя в очередной мой приезд поведал мне:

— Мы с Мухтаром твоих «гостей» тут проводили.

— Каких гостей?

— Два парня прошли мимо моего дома, осматриваются по сторонам, и к тебе на участок. Незнакомые. Я вышел, Мухтар со мной. Подошёл к твоему участку, вижу, что они дом осматривают и территорию. Спрашиваю: «Зачем сюда пришли?» Отвечает один: «К знакомому, просил баню ему построить, смотрим участок». «Как зовут вашего знакомого?» Он тогда руку в карман и говорит мне: «Вали отсюда, старый, пока ноги носят!» Я тогда командую: «Мухтар!» Мухтар зарычал. «Уносите сами ноги, пока я собаку на вас не натравил, — говорю, — и в следующий раз не попадайтесь!» Пошли, с матами, но с оглядкой.

— Ну что, дам Мухтару награду, — сказал я.

Зашёл в дом, выловил из борща косточку и вынес псу. Мухтар принял угощение, отошёл немного в сторону от хозяина и захрустел хрящиком.

Прошлым летом приехали мы с супругой на дачу, а соседки, слева и справа, докладывают:

— Володя ваш шифер увёз. С сыном погрузили на машину, прямо на глазах. Вы ему разрешили?

— Нет, конечно!

Шифера было всего два листа, я купил их тут же, неподалёку в садоводстве, у хозяйки, которой они были не нужны, а мне хотелось навес над крыльчком сделать побольше, чтобы его не захлёстывало дождём. Два листа — не велика утрата, но каков Володя, каков «сторож»! Мы судим о людях по себе: у знакомого, давно знакомого, полагал я, Володя тащить не станет. Однако не зря его когда-то воры чуть в паханы не произвели.

Пошёл я к нему. Жена, в десяти шагах, за мной. Пёс Володин, Мухтар, был на улице, но собака меня хорошо знает, мимо хожу, когда приезжаю в садоводство на электричке. Во дворе сын Володи копошится. Здоровый мужик лет тридцати пяти. Я на него внимание, а в это время Мухтар подскочил ко мне и тяпнул за ногу, выше колена! Хватаю камень с земли, швыряю в пса, он увёртывается. Хватаю другой камень и жду повторного нападения, но Мухтар держится поодаль, он своё дело сделал.

— Ты чего собаку бьёшь?! — «наехал» на меня Володин сын.

— Сволочь, укусил меня! Позови отца.

Жена моя тоже возмущённо что-то говорит ему, в это время Володя выходит из дома, спускается с крыльчка:

— Чё?

— Шифер почему взял? Верни.

— Ветер сильный был, у меня сорвало, — не стал отпираться бывший сторож, — я отдам. Куплю и отдам.

— Собаку днём держи на привязи, укусил, — посоветовал я, — а то отвечать будешь. Мы вернулись к себе. Нога в месте укуса вспухла и посинела. На моё счастье плотная джинсовая ткань не позволила собачьим зубам вырвать клочок мяса.

Прошла неделя, другая и третья, шифер у стенки моего дома не появился. Снова пошёл к Володе:

— Где мой шифер? Долго ждать? Или хочешь, чтобы к тебе пришли с разъяснениями?

— Машина поломалась, — оправдывается «сторож». Мухтар привязан у крыльца, смотрит на меня недобро.

Но в следующий приезд на дачу я вижу на том месте, где к стенке были прислонены листы шифера ранее, лист шифера. Большой, но один. Спросил Володю, когда он по своему обыкновению отправился по улице в киоск за водкой:

— Где второй лист?

— Был один всего.

Доказывать что-либо ему бесполезно.

— Ну, смотри, — говорю, — не повезёт крупно тебе.

Жену осенило в тот же день:

— А ведь это они с сыном тогда помидоры у нас украли, больше некому. И соседей обворовывали они, а не таджики.

Бригада южан два сезона нанималась к разным хозяевам что-нибудь строить. Грешили на них.

Теперь и мне было ясно, что вор остаётся вором, надеяться на добрые отношения с ним можно, но думать, что не украдёт, нельзя. Это как хроническая болезнь.

Зимой я на даче не был. Когда же весной прибыл в садоводство, то, проходя мимо Володиного дома, обратил внимание, что Мухтар лежит на крыльце без привязи, но на меня даже голову не повернул. «Так, — подумал я, — похоже, что Володи нет».

Соседи подтвердили, что за зиму все три собутыльника — Володя, его лысый товарищ и ещё один, старый пропойца, живший в дальнем конце улицы, — умерли.

И ещё прошла зима. О том, чтобы какой-то дом в эти две зимы был обворован, я не слышал.

## Чиновник

Несколько лет тому назад в наш подъезд вселилась новая семья, в четырёхкомнатную квартиру. Не бедные, стало быть. Когда они вносили мебель и вещи, я не видел, но вскоре встретил нового жильца и удивился, и даже обрадовался:

— О! Виктор, здравствуй!

Когда-то это был соперник моего сына за шахматной доской. Да и мне пришлось несколько раз играть с ним в соревнованиях. А шахматные соперники — это как товарищи по школе или вузу, почти родственники.

Поговорили, я узнал, что Виктор окончил математический факультет, успешно работал программистом, некоторое время преподавал, а затем оказался начальником отдела в... В солидном государственном учреждении.

Прошло некоторое время. Однажды, столкнувшись у подъезда, он спросил меня:

— Володя где работает? Мне нужен толковый программист на хорошую ставку. Я бы его взял начальником группы.

Я развёл руками:

— Увы! Он далеко и работает, наверное, за доллары или евро.

— Жаль. А может, знаете кого-нибудь из хороших специалистов?

— Знаю. Его тоже, как сына, зовут Владимиром. Владимиром Ильичом.

И я посоветовал ему инженера, тоже кандидата наук, с которым мне довелось работать вместе в течение четырёх лет. Мой товарищ как раз ушёл из организации, где я был главным инженером. Ушёл потому, что не сработался с новым начальством. Но Виктора смутило то, что мой знакомый уже достиг пенсионного возраста. Однако я привёл несколько примеров, когда Владимир Ильич решил такие проблемы, над которыми в нашем ведомстве бился целый отдел в Москве.

Виктор всё-таки взял, с испытательным сроком, этого пенсионера в штат, и вот уже целое десятилетие ветеран на службе, и о замене его молодым специалистом нет речи.

За это десятилетие мой чиновник обзавёлся прекрасным автомобилем, женил сына, выдал замуж дочь, сам же заматерел и заметно округлился. Поправлялся он своеобразно: равномерно со всех сторон и, прости Господи, напоминал мне бочку, такие когда-то делал на заказ мой отец. Прибавляла в весе и его жена.

Недавно я затеял маленький переворот: наше славное «Западное» ЖКХ до того облагло, иначе я их «работу» определить не могу, что захотелось мне избавиться от «услуг» этого управления. Пригласил Виктора быть на собрании и войти в состав будущего совета дома, если, конечно, собственники квартир выберут совет в предлагаемом составе. Он согласился.

На собрание пришёл директор компании, которую я предлагал в качестве новой управляющей. Неожиданно для меня сюда же явился и генеральный директор «Западного» в сопровождении свиты. Тут были его заместитель, маркетолог, главный инженер подрядной организации и ещё несколько человек.

К тому же одна неожиданность: женщина, которая прежде согласилась протоколировать ход собрания, сказала, что ей требуется срочно забрать детей из детского сада, а моя главная надежда — Виктор — тоже увильнул от такого поручения, и я остался один и за председателя собрания (проголосовали), и за секретаря.

Выступил, но несколько жильцов постоянно перебивали меня, выдавая дезинформацию и о новой компании, и о деятельности старой. Люди были явно подготовлены. Но тут взял слово Виктор. Выглядел он солидно: великолепный костюм, белая рубашка, галстук, а главное — хорошо поставленный голос.

— Мне надо, чтобы в доме было чисто. Это вот что? Пол грязный. Почему не убирают? Гостей пригласить стыдно. Что касается перехода. Я не знаю, — сказал он, — ничего ни о той, ни о другой компании. Чем они отличаются друг от друга? Я воздержусь, не буду голосовать ни за ту, ни за другую.

Произвёл впечатление! Вот те раз! Я ведь предлагал ему до собрания посмотреть проект договора, который представляла новая компания, там ясно было сказано, что, например, они отказываются от повышения тарифов на содержание жилья и на ремонт. Ставки, мол, и так завышены. Не захотел Виктор смотреть договор, а теперь возмущается, что нет информации.

Четвёртая часть жителей решила последовать примеру солидного соседа, воздержались при голосовании, и достаточного количества голосов для перехода в новую компанию не набралось.

Пока я заносил столик и стул в свою квартиру, генеральный директор «Западного» и его слуги подсутились, за что-то проголосовали и раздали жильцам тетради с текстом своего договора. Вопреки действующему законодательству и только что вышедшему постановлению Правительства никаких соглашений с собственниками жилья у «Западного» прежде не было.

Я вернулся в коридор, все жильцы втягивались в свои «берлоги», улыбающийся генеральный был уже на выходе из подъезда. Облом, что называется, получился у меня.

Оглядел я облупленные стены лестничных коридоров, раскуроченные почтовые ящики, провода электрические, телефонные и кабельного телевидения, торчавшие на виду из железных ящиков, в которых были счётчики электроэнергии, и только головой покачал: на некоторых из них не только стёкол не было, но и замков. «Вот тебе и народ!» — должен был бы я упрекнуть соседей, но понимал, что перед собранием плохо поработал: мне казалось, что объяснять людям ничего не надо, и так всё ясно. Оказалось, что «западники» провели мощную антиагитацию. Квартир в доме мало, стоило нескольких человек убедить в несостоятельности конкурирующей управляющей организации (попросту оболгать её), дворников, работающих у них в «Западном», припугнули — и вот результат.

А Виктор... молчаливый упрёк в его адрес был.

На следующий день, в субботу, вышел я на улицу, обошёл дом, убедился в том, что просевшая под стенами земля и на ней отмокшая, вследствие весеннего паводка, таят в себе опасность разрушения следующей весной. Когда таяло в мае, звонил несколько раз в управление «Западного», просил заделать дыры, через которые вода уходила под дом, но так ничего и не добился.

Вспомнил, что в кладовке у меня остались обрезки водопроводных труб, которые заменили в моей квартире при установке счётчиков. Вынес одну из них, более двух метров в длину, и погрузил в ямку под стеной. Ямка оказалась огромной ямой — труба упёрлась в дно лишь тогда, когда ушла в неё почти целиком.

Позвонил Виктору. К телефону подошла его жена.

— А Виктор дома?

— Да.

— Может подойти к трубке?

Некоторое время спустя я услышал хрипловатое:

— Слушаю.

— Извини, разбудил?

— Нет, смотрел телевизор.

— Слушай, Виктор, дому нужен ремонт: земля проседает, весной стены могут треснуть. Выйди и посмотри.

— Пусть ремонтируют, — голос у Виктора недовольный, — напиши заявку.

— Я их всю весну тормозил, не помогло. Надо чтобы кто-то ещё подключился.

— Пусть старший по дому беспокоится.

— Не знаешь его? Он поставлен не для того, чтобы беспокоился. Получает какую-то мзду за своё ничегонеделание и доволен. Кстати, яма под домом как раз в том месте, где твоя квартира.

— Это не моё дело! — раздражённо отрезал мой старый знакомый.

Так и живём: с разбитыми коробами электропроводки, с обшарпанными стенами, с грязными лестницами и с регулярным повышением оплаты за коммунальные «услуги». Кому молиться, чтобы весной дом не просел и не стал аварийным?

Вот и всё. А чиновниками не рождаются, чиновниками становятся, когда долго сидят на одном хорошо оплачиваемом месте.



СВЕТЛАНА АНИНА



## Забываю разлуки постылые...

\* \* \*

Любовь моя — линия фронта,  
Где к сердцу ни шагу извне.  
Пусть сосны свои горизонты  
Качают на лапах во сне.

А я в сад антоновки спелой  
Дороги уже не найду.  
Не буду весёлой и смелой,  
Как в прошлом осеннем бреду.

Мой день на верёвке на длинной  
Качается в хрупких руках,  
И я в нём дрожу, как осина,  
Запятнанная в веках...

---

АНИНА Светлана Брониславовна родилась в 1965 году в Казахстане. Работала на строительстве Северо-Муйского туннеля и на сооружении Олимпийских объектов в Сочи. Публиковалась в журналах «Сибирь», «Аргатак-Татарстан», «Северо-Муйские огни», «Белая радуга», «Иркутский альманах». В коллективных сборниках «Иркутск. Бег времени», «Слово о матери», «Жизнь — дорога, ведущая к храму», «Праздник для друзей». Автор книги *«Рвутся наружу крылья»*. Главный редактор журнала «Мой Север». Член Союза писателей России.

\* \* \*

За порог от горячей печі  
С головою в небесное крошево.  
Обожгу поцелуем — молчи!  
Это сердце пылает, хороший мой!

Как обычно шепнёшь: «навсегда»,  
Руки жадные, губы голодные...  
И опять мне твои города  
Будут сниться ночами холодными,

Мы идём — облетают сады.  
Забываю разлуки постылые.  
А на белые наши следы  
Всё летят лепестки шестикрылые.

И зигзаги змеиных дорог,  
И пустынность пристанища райского,  
И забытый на ветках платок  
В ожиданье цветения майского.

\* \* \*

Стремится боль души моей к нулю —  
Последние мгновения считаю.  
Я из любви вчерашней вырастаю  
И обо мне забыть тебе велю!

И как беспечно забываю — кто ты,  
Стоящий на далёком берегу

Ещё представить сложно, но могу,  
Как на себя одну беру заботы,

Реки житейской, бурной и шальной,  
Стремящейся нас поглотить всецело...  
Я, кажется, сейчас спастись сумела,  
Оставшись для тебя навек родной.

\* \* \*

Я в дом свой запустила зло...  
Как виноградная лоза,  
Едва Господь прикрыл глаза,  
Оно через порог вползло,  
В моё тепло.

А я молила об одном,  
Все «против» взвешивая, «за»:  
«Пусть будет светлюю слеза,  
Как март, разлитый за окном,  
Согретый сном...»

И омрачился белый день...  
Казалось, будто без причин  
Затмился горечью кручин  
Весь свет, кругом бросая тень  
Куда ни лень.

Паривший ангел в облаках  
Пал с высоты на спину зла,  
И я проснулась... как была —  
В слезах счастливых на щеках...  
В твоих руках...

\* \* \*

Вечер с дождливым лицом  
Кутается в одеяло.  
Я потеряла кольцо,  
Сердце твоё потеряла.

Вот он дозреет, вот-вот,  
Сном в золочёной карете  
Вырвется в мир и начнёт  
ЗАВТРА расписывать в цвете.

Да и своё в суете  
Жизненной не сохранила.  
Всхлипывая в темноте,  
Вечер вбирает чернила.

ЗАВТРА... Ему я окно  
Настежь открою, бесспорно.  
И ничего, что оно  
Будет намечено чёрным.





\* \* \*

Проводя невидимые оси  
Меж былой и нынешнею мной,  
На коленях приютилась осень  
Кошкой рыжей тёплой и родной.

Обжигает свет лицо и плечи —  
Пылкий день по-юношески скор.  
Жаль, не вечен! Ах, как жаль, не вечен  
Трепетных сердец медовый спор.

В памяти чулки, как паутинки,  
Тонкие — видны едва-едва.  
«Мама, я ночую у Маринки!»  
И — туда, где мятая трава

Гладит кожу шёлковой простынкой...  
Ах, какое сладкое враньё —  
«Мама, я ночую у Маринки...»  
А теперь и, правда, у неё.

У камина глупо скачут тени,  
Ну а мы с Маринкой в мире грёз...  
Осень, приютившись на коленях,  
Щурится от золота берёз,

Тоже замечать ещё не хочет,  
Что там, в замерзающей дали:  
То ли снег, готовящийся к ночи,  
То ли лет степные ковыли.

\* \* \*

За чайком, за самоваром  
Байки да потешки —  
Всё про то, как Фрол с Макаром  
Щёлкали орешки

Да судили да рядили,  
Мол, все девки наши:  
Все Алёны, все Настёны,  
Даши да Наташи.

В это время шла Полина  
Мимо с коромыслом  
В завершение картины  
С однозначным смыслом.

За чайком, за самоваром  
Байки да потешки —  
Больше Фролу и Макару  
Нечем грызть орешки.

\* \* \*

Недобрым словом кроет чемодан  
Дорогу от Байкала и до Сочи —  
Скитаться по стране уже нет мочи  
В трудах на прохудившийся карман.

Скрипи, скрипи... Тоску гоню взащей  
И вновь пакую родину в дорогу,

Привычки отпускаю понемногу  
В обмен на горсть безжалостных грошей,

Затмивших и родных, и отчий дом...  
Не слушай, сердце, разума, не слушай!  
Что продаю? Не много — только... душу,  
Распятую на лайнере крестом.

\* \* \*

Зимний день да кутерьма,  
Гости — лица ясные.  
Снег струится на дома  
Через сита частые.

И светло, и хорошо,  
Весело да молодо,  
Только флюгера флажок  
Всё дрожит от холода.

Ветер дунет на закат —  
Пламя в небе взбесится.  
И не в лад и невпопад  
Вдалеке пригрезится,

Как в конверте шлю тебе  
Сотый День рождения:  
Стылый день да гул в трубе,  
Словно привидение,

Синий сон да кружева	Лишь струится на дома
На окне узорами.	Снег сквозь сита частые.
Ни жива и ни мертва	
Я за этой шторою,	Да скрипит ещё флажок
	И дрожит от холода...
Позабыта кутерьма,	Но кому-то хорошо,
Гости — лица ясные.	Весело и молодо.

\* \* \*

Я не приду! И уже не привстану  
 Рядом на цыпочки встречным движеньем,  
 Не назовусь ни родной, ни желанной,  
 Вслед за тобой не последую тенью.

Это не блажь! И не просто причуда.  
 Это, наверное, где-то на грани  
 Лёгкого бриза весенней простуды  
 И первой завязи смелых желаний,

Склонных бежать по гончарному кругу —  
 Глина стирает ладони до крови,  
 Но воля замысла вне всех условий:  
 Правил, превратностей, страхов, недугов,

Вхожих в процесс затяжной проволочкой...  
 Если бы выплавить нервы из стали!  
 Мы от чужих откровений устали  
 И не находим спасительной точки.

Нам бы свои заглушить, не расплавав  
 Горечью слов по друзьям и знакомым.  
 Комом, в гортани становятся комом,  
 Стынут в глазах восклицательным знаком!

Не задавайте вопросов впустую!  
 Я не отвечу! Выходят из глины  
 Новые формы. И в них всё едино,  
 Всё, от чего и к чему я вслепую

Снова бегу... Но уже не привстану  
 Рядом на цыпочки встречным движеньем...  
 Вечер настоян на валериане.  
 Время настроено на утешенье.

\* \* \*

В долине сероглазой,	Не впрок да не по моде,
Где нет ни колоска,	Ветра со всех сторон.
Дом не белён, не мазан,	Никто в него не ходит —
Построен из песка.	Не ягодный сезон.

Здесь от дождя не скрыться, Здесь нечего искать, Ему давно не тридцать, Давно за сорок пять.	Рассыплется и станет Обычным островком,  Обычной серой горкой Под солнцем. И тогда Ты приходи на зорьке, Ты приходи сюда.
Тоска да скукотища — У нелюбви в плену. И ты за то жилище Не затевай войну!	И по́ — сердцу... беспечно... Горячим летним днём Не зная, что навечно Свой след оставил в нём.
Пусть дом зовёт и манит — Песку и быть песком.	

\* \* \*

Бьют дожди. Мокнут планки берёзовых клавиш.  
Пьёт душа боль из чаши родного следа.  
Если ты в этот миг ничего не исправишь,  
То уже не вернёшь ни за что, никогда.

День тяжёл. За холодной кирпичною кладкой  
Жив едва в тусклой лампе малиновый свет.  
И у рта образуется новая складка,  
И у глаз непонятным становится цвет.

И одна за другою ломаются спички,  
И дрожит на сутулых плечах старый плед...  
Пустяки! Одиночество — дело привычки!  
Нет причин для тоски и уныния. Нет!

Затрещит жар в камине. И досыта будет  
Пить душа — за глотком животворный глоток —  
И огонь, и напиток в изящной посуде,  
И смотреть не отснятую ленту о том,

Как в окне замерзает алмазная крошка,  
На часах до ноля — восемнадцать минут,  
А луна по карнизам бездомною кошкой  
Бродит там, где любимого больше не ждут.

\* \* \*

Не может доля злая Смотреть с добром. Не хочет! То не закат пылает, А небо кровоточит.	Старухи, в огороде Согнувшейся над грядкой. Петух в сторонке ходит И на топор укладкой
Сентябрь, как тот стервятник, Распотрошил рябины, Клюет багряный ватник, Наброшенный на спину	Поглядывает — знает, Видать, на что сгодится. Среди жильцов сарая Нет благородной птицы.

Ни стих о нём не сложат,  
Ни песню на досуге.  
Дай бог бы воплотиться  
В скрипучий ржавый флюгер.

Но он зари дожждётся,  
Дрожащей, тихой, бледной...  
И соловьём залъётся  
Прощально и победно.

\* \* \*

Я вновь оставила снега,  
Вдыхая чуждое, иное.  
Промчалась вечность стороною,  
Как зверь, путившийся в бега.

Но нет, не вызрела вина  
За то, что света было мало.  
Тебя покинув, я искала  
Неомрачённое начало  
Того, в чём истина жила,  
Презрев тела.

День красным подводил черту,  
Мгла обнимала смуглый город  
Там, за окном...

И в эту пору  
Душа рождала пустоту.

Вдали кипела жизнь. Она  
Меня совсем не замечала,  
Цвела, искрилась и звучала,  
Неслась от шумного причала,  
Где я причалом быть могла,  
Но не была.

А мир, закрученный в спираль,  
Чудил и плакал, жил собою,  
Входил безудержной весною,  
Веснушки спрятав под вуаль.

И то была моя весна!  
Она смеялась, льды ломала.  
Душа от счастья ликовала,  
Взлетев туда, где без штурвала,  
Без кормчего — кругла, светла —  
Луна плыла.

Но всюду, где синее плёс,  
Где звёзды жгут, где дремлют горы,  
Хрустящий от крахмала ворот  
И седина твоих волос

Глаза слепили вспышкой сна.  
Душа хрустальный дождь роняла,  
Ночь утешенье обещала,  
Всё непрощённое прощала —  
И — то не сразу поняла — Тебя звала.

А ты уже входил в рассвет  
И, сновиденье отпуская,  
Меня держал, держал у края  
Мирка, сходявшего на нет.

Едва качаясь, пелена  
С зелёных влажных глаз спадала:  
На месте мокрого причала,  
Где чайка белая кричала,  
Стена в цементный пол вросла,  
Сложив крыла...

\* \* \*

Где-то в память заброшено детство,  
Как сундук на всеядный чердак.  
И порой не находится средство,  
Получив дорогое наследство,  
Отыскать долгожданный пятак —

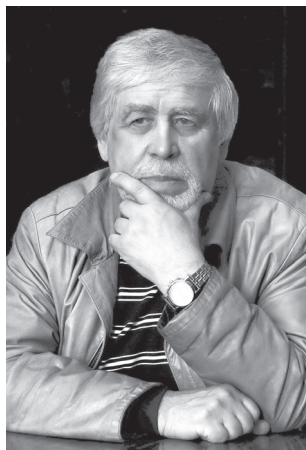
Не из золота! Много дороже!  
Это та родовая черта,  
Что извечные ценности множит.  
То — не сам всемогущий наш Боже,  
Но святая его доброта.

Заберусь на покатуя крышу,  
Где крылатые звёзды парят  
И земные желания выше,  
И макушки раскидистых вишен  
У распахнутых рук шелестят.

Стану детству роднее и ближе  
И, слезу утирая, пойму,  
Что глазами любимицы рыжей  
Снова мир безмятежный свой вижу,  
Снова радуюсь всем и всему.



ВЛАДИМИР СКИФ



## Байкальское Переделкино

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Байкал... Какая притягательная, вдохновенная сила заключена в этом слове, в этом, наполненном таинственного смысла, звучании! Произносишь слово *Байкал* и сразу представляешь неохватную, будто бы разогнутую могучим великаном подкову, видишь священное море-озеро, слышишь пульсирующую живым прибором волну, представляешь этот летящий через материк хрустально-голубой слиток, пытаешься постичь своим сознанием его невиданную протяжённость, непередаваемую, пугающую глубину, ощутить его трепещущую вселенскую душу и животворную, как солнце, светоносность:

*Высокий свет насыщенных небес,  
Лазурью напитавшийся в Байкале,  
Морозом опрокинулся на лес  
И подсинил заснеженные дали.*

*Как звонко в небе и легко в лесу,  
В прозрачных рощах всё переменялось.  
Себя неслышно по тропе несущ,  
Мне это утро будто бы приснилось.*

---

СКИФ Владимир (Смирнов Владимир Петрович), поэт (род. в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской обл.). Автор многих книг, в т. ч.: *Зимняя мозаика* (Иркутск, 1970: Бригада); *Журавлиная азбука* (Иркутск, 1979); *Бой на ратниках*: литер. пародии (Иркутск, 1982); *Грибной дождь* (М., 1983); *Живу печалью и надеждой* (Иркутск, 1989); *К сопернику имею интерес*: литер. пародии (Иркутск, 1993); *Над русским перепутьем* (Иркутск, 1996: Сибирская лира); *Золотая пора листопада* (Иркутск, 2005); *Письма современникам* (Иркутск, 2005); *На срезе времени зелёном* (2006); *Новые стихи* (М., 2007); *Русский крест* (М., 2008); *Молчаливая воля небес* (Иркутск, 2012); книг детских стихов: *Зайчик* (М., 2007); *Шла по улице корова* (Иркутск, 2007) и др. Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России.



*Среди берёз такая благодать!  
Прильну к берёзке и скажу: — «Голубка!  
Твоя душа — моей душе под стать,  
Всё в нас с тобой устроено так хрупко».*

*О, где ещё так плавно, так легко  
Стремится время по сугробам ясным.  
И дышится, как в храме, глубоко,  
И видится грядущее — прекрасным.*

Я всегда знал, что Байкал — это живое существо. Несомненно! Его аквамариновая глубина исполнена великого мистического смысла. Смотришь в Байкал и, кажется, видишь чудесный иконописный облик Всевышнего:

*Незримо времени течение,  
Но осень точит край небес,  
И ночи чёрное свечение  
Хоронит под собою лес.*

*Не движется застылый воздух,  
И лишь Байкал, забыв про сны,  
Всю ночь процеживает звёзды  
Ковшом безмерной глубины.*

*Засветят слабые капли  
Зари на ветках ледяных.  
Тайга отряхивает лапы  
От тяжких сумерек ночных.*

*И лишь Всевышнему угодный,  
В веках, во времени сквозной,  
Байкал, холодный и свободный,  
Сияет звёздной глубиной.*

И, конечно же, не случайно Байкал, как магнит, притягивал и притягивает к себе сотни тысяч, миллионы стремящихся к нему со всего света людей и, прежде всего, — исследователей, учёных, путешественников, моряков, а также людей творческих — писателей, художников, композиторов, фотохудожников, операторов, кинорежиссёров.

Байкал и живопись, Байкал и поэзия, Байкал и искусство — неразделимы. Сколько поэтов, графиков, живописцев, композиторов вдохновил Байкал на неповторимые, яркие произведения: песни и стихи, рассказы и повести, сказки и былины, художественные полотна и графические рисунки.

В Сибирь, сначала в Братский острог, а потом на Байкал был сослан огнеопальный протопоп Аввакум, на его берегах стоял в мучительных размышлениях о смысле жизни Антон Павлович Чехов, ему посвятил свои яркие, глубокие переживания Валентин Распутин, по его волнам умчался в бессмертье Александр Вампилов.

Многие иркутские писатели и художники воспевали и воспевают Байкал в своих произведениях. А чтобы не расставаться с Байкалом, чаще быть с ним рядом, они селились и до сих пор умудряются селиться на его берегах: кто-то в южной оконечности Байкала — Байкальске, Слюдянке, Култуке, кто-то у Шаман-камня, там, где своенравная Ангара сбежала от рассерженного батюшки-Байкала к Енисею.

В Байкальске жил замечательный художник, сын выдающегося русского писателя Алексея Зверева — Валерий Зверев. Это был художник от Бога. Он писал Россию, писал родную Сибирь, создал целый цикл полотен, где жил и дышал Байкал во всей своей

неизмеримой Господней красоте. Валерий Зверев был художником православным и написал много удивительных старинных храмов, как возрождённых, так и разрушенных.

В начале криминальных девяностых, разорвавших и уничтоживших Советский Союз, в его мастерской случился пожар, и вместе с ней сгорели почти все полотна. Это была невосполнимая потеря, утрата части жизни художника. Валерий, конечно же, продолжал работать и кое-что успел сделать заново, но эту трагедию он так и не смог пережить.

## Валерию Звереву

*Байкал — твой мир и свет твоих картин.  
Как прочно он держал твои полотна,  
Не отступал, как будто ты один  
Соединился с ним легко и плотно.*

*Широк простор и непомерна высь,  
Могуч прибой бездонного Байкала.  
Как дерзновенно схватывала кисть  
С палитры краски —  
и на холст плескала!*

*И ты творил, ты создавал Байкал,  
Чтоб современник посреди развала  
И русской боли — вечность отыскал,  
Которая в картинах оживала.*

*Волна и поле, церковь и изба —  
Рождались от любви неизъяснимой.  
Да только приготовила судьба  
Тебе урон, почти невосполнимый.*

*И не помог на этот раз Байкал,  
Даривший красоту тебе охотно,  
Когда пожара яростный оскал  
Оцерился и сжёг твои полотна.*

*...Трагедия осталась жить с тобой,  
Хотя ты по крупицам возрождался...  
И снова возвышался над судьбой,  
И на холстах,  
и в памяти остался.*

В шестидесятые годы там же, в Байкальске, был снят достаточно смелый по тем временам, пророческий фильм Сергея Герасимова «У озера», в котором снимались Василий Шукшин, Наталья Белохвостикова, Михаил Ножкин, Валентина Теличкина, Николай Ерёмченко (младший). В Байкальске успешно работает одно из самых интересных в Иркутской области литературное объединение «Прибой».

С этим городом связали свою творческую судьбу поэт Василий Забелло, поэт и художник Виктор Москальчук, жили поэты Владислав Панкин, Игорь Матюшко, художник Эдуард Возницкий.

Эдуард Возницкий был замечательным резчиком по дереву, и в Байкальске сохранилось много его работ, а сам художник погиб — утонул в Байкале. Катер, на котором они плыли с поэтом Владиславом Панкиным, попал в шторм, все попрятались в трюм, а Возницкий стоял на корме близко к ограждению. Слава Панкин звал его в кубрик, но Эдуарду нравился разгул стихии, и он продолжал мериться силой с волнами. Но в какой-то момент при огромной волне не удержался, и Возницкого смыло за борт на глазах его близкого друга Владислава Панкина. Тело Возницкого так и не нашли. А художником он был очень талантливым, настоящим.

После затопления Иркутского водохранилища большой отрезок Восточно-Сибирской железной дороги пролёг по хребтам от Иркутска до Култука, а старая дорога, которая бежала вдоль Ангары, ушла на дно моря. Воротами в южную оконечность Байкала на новом отрезке стальной магистрали, как и на старой Кругобайкалке, неизменно оставался посёлок Култук. Московский тракт, который является федеральной автодорогой, тоже проходит через этот посёлок, знаменитый своими «тёщиными языками». «Тёщиные языки» — это на высоких перевалах самые крутые, фактически с обратным движением повороты, которых под Култуком сразу несколько. В посёлке Култук вдохновлялись Байкалом и создавали свои произведения прозаики Анатолий Байбородин и Михаил Просекин, замечательные поэты-сибиряки Пётр Реутский и Ростислав Филиппов, у которого есть немало стихотворений о Байкале. Вот одно из них:

*Открывается Байкал из окна вагона:  
Синий, красный, золотой — древняя икона.  
В этот миг и в этот век, в этот мир просторный  
Он являет строгий лик — Спас Нерукотворный.  
Он тревожит и томит, словно весть о чуде,  
Всё что было, всё, что есть, всё, что с нами будет.*

По сей день в Култукe, с весны до поздней осени живёт талантливая поэтесса и прозаик Валентина Сидоренко, а в летние месяцы трудится у себя на даче поэт Василий Козлов.

На 102-м километре Кругобайкалки почти круглый год живёт замечательный русский писатель, автор исторических романов и повестей Олег Слободчиков.

С посёлком Листвянка, который расположился на гористом берегу Байкала, почти у самого истока Ангары, где побывал Чехов, связали свою судьбу несколько известных писателей, художников, артистов. Кстати, Антон Павлович Чехов, собираясь на Байкал и остров Сахалин, пригласил с собой своего друга, великого русского художника Левитана, но тот в последний момент спасовал, сославшись на нездоровье, и настырный Чехов отправился в свою дальнюю, рискованную поездку один. Антон Павлович был потрясён величием Байкала и описал свои яркие впечатления в одном из писем родственникам:

*«20 июня 1890 г. Шилка, пароход «Ермак».*

*Здравствуйте, милые домочадцы! Наконец-таки я могу снять тяжёлые, грязные сапоги, потёртые штаны и лоснящуюся от пыли и пота синюю рубашку, могу умыться и одеться по-человечески. Я уж не в тарантасе сижу, а в каюте I класса амурского парохода «Ермак». Перемена такая произошла десятью днями раньше и вот по какой причине. Я писал Вам из Лиственичной, что к байкальскому пароходу я опоздал, что придется ехать через Байкал не во вторник, а в пятницу и что успею я поэтому к амурскому пароходу только 30 июня. Но судьба капризна и часто устраивает фокусы, каких не ждёшь. В четверг утром я пошёл прогуляться по берегу Байкала; вижу — у одного из двух пароходиков дымится труба. Спрашиваю, куда идёт пароход? Говорят, «за море», в Ключево; какой-то купец нанял, чтобы перевезти на тот берег свой обоз. Нам нужно тоже «за море» и на станцию Боярскую. Спрашиваю: сколько вёрст от Ключева до Боярской? Отвечают: 27. Бегу к спутникам и прошу их рискнуть поехать в Ключево. Говорю «рискнуть», потому что поехав в Ключево, где нет ничего, кроме пристани и избушки сторожа, мы рисковали не найти лошадей, засидеться в Ключеве и опоздать к пятницкому пароходу, что для нас было бы пуще Игорева смерти, так как пришлось бы ждать до вторника. Спутники согласились. Забрали мы свои пожитки, весёлыми ногами зашагали к пароходу и тотчас же в буфет: ради создателя супу! Полцарства за тарелку супу! Буфетик преподаненький, выстроенный по системе тесных ватерклозетов, но повар Григорий Иванович, бывший воронежский дворбый, оказался на высоте своего призвания. Он накормил нас превосходно. Погода была тихая, солнечная. Вода на Байкале бирюзовая, прозрачнее, чем в Чёрном море. Говорят, что на глубоких местах дно за версту видно; да и сам я видел такие глубины со скалами и горами, утонувшими в бирюзе, что мороз драл по коже. Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков не забуду. Только вот что было нехорошо: ехали мы в III классе, а вся палуба была занята обозными лошадьми, которые неистовствовали как бешеные. Эти лошади придавали поездке моей особый колорит: казалось, что я еду на разбойничьем пароходе. В Ключеве сторож взялся довести наш багаж до станции; он ехал, а мы шли позади телеги пешком по живописнейшему берегу. Скотина Левитан, что не поехал со мной. Дорога лесная: направо лес, идущий на гору, налево лес, спускающийся вниз к Байкалу. Какие овраги, какие*

скалы! Тон у Байкала нежный, теплый. Было, кстати сказать, очень тепло. Пройдя 8 вёрст, дошли мы до Мысканской станции, где кяхтинский чиновник, проезжий, угостил нас превосходным чаем и где нам дали лошадей до Боярской. Итак, вместо пятницы мы уехали в четверг; мало того, мы на целые сутки вперёд ушли от почты, которая забирает обыкновенно на станциях всех лошадей...» Из других писем Чехова к родным: «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем... Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины... Вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза.

В Листвянке жила, омытая Байкалом и солнцем, известная сибирская поэтесса Елена Викторовна Жилкина. Я верю, что это Байкал с его неистощимой, космической энергией, лирической красотой и нежной силой взрастил талант Елены Викторовны. Не однажды она возвращалась в своих мыслях и стихах к истоку своей жизни, о котором написала одно из лучших стихотворений «Исток»:

*Не отвергаю и не забываю.  
Воспоминанья не зарыть в золе.  
Как позывными, часто окликаю,  
зову то место лучшим на земле.*

*Леса стоят у отчего порога,  
я слышу их баюкающий гул.  
Сухая каменистая дорога  
уходит в горы, где цветёт багул.*

*Ах, как здесь пахнет в середине лета!  
Я опускаюсь в разноцветье трав.  
Я берегом иду, а он — из ветра,  
из хмурого волненья переправ.*

*Над марью распростёртого Байкала  
в задумчивости брошено весло,  
здесь на закате розовые скалы  
хранят, как люди, для меня тепло.*

*Весь этот мир,  
                  чистейший,  
                  мудрый,  
                  строгий,  
зову своим истоком потому,  
что если по реке плыву широкой,  
то, верно, я обязана ему.*

*Давно он в дымке лет и лихолетий  
живёт незамутнённым, мой исток,  
но мне его биенье слышно, где-то  
он возле сердца моего прилѣг.*

*Нам не дожидаться тихого причала,  
нам памяти не разомкнуть кольца...  
Всѣ видится далѣкое начало,  
и нет ему конца.*

С Листвянкой связано имя выдающегося фотохудожника из Санкт-Петербурга Анатолия Викторовича Пантелеева, недавно издавшего свой многолетний труд «Русский альбом», в котором отображена в документах и фотографиях литературная, культурная и общественная жизнь России конца XX и начала XXI века. Родовые корни Анатолия Викторовича начинались в Листвянке. Его дед Константин Николаевич Фабриканов служил механиком в порту «Байкал». Умер он в 1951 году и ныне покоится на Листвянском кладбище. Четыре его дочери родились и жили в Листвянке, одной из которых была мама Анатолия — Валентина Константиновна, впоследствии вышедшая замуж за ленинградца Виктора Георгиевича Пантелеева, воевавшего под Кёнигсбергом, а в 1946 году переведённого на Восточный фронт, где по дороге на место боевых действий он встретил байкалочку Валентину, женился на ней, увёз из Сибири во Владивосток, потом на остров Сахалин, где и родился будущий фотохудожник Анатолий Пантелеев. У Анатолия есть двоюродный брат Сергей Алексеевич Лагерев, который тоже связал свою судьбу с Байкалом. Ныне он является организатором Рубцовских чтений на Югорской земле и одним из авторов и составителей книг «Венок Рубцову» и «Поэту посвящается».

В восьмидесятые годы в Листвянке поселился и создал свою знаменитую галерею архитектор и поэт Владимир Пламеневский, приехавший на берега Байкала из Усть-Илимска. Построил «Шансон-приют», а впоследствии «Театр авторской песни на Байкале» поэт и композитор Евгений Кравкль, написавший несколько замечательных песен о Байкале и о Листвянке «Там, где чистая вода», «Зима в Листвянке», «На пароме», «Кораблик» и недавно издавший свою книгу стихов и воспоминаний «Ветер Стих». На листвянской земле построил свой собственный дом актёр Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова Николай Дубаков.

Как-то так случилось, что большая часть творческих людей обосновалась там, где начинается знаменитая Кругобайкальская железная дорога — в порту «Байкал». Эта дорога теперь стала памятником русскому каменотёсу, подвигу тех инженеров и строителей, которые пробивали в горах над Байкалом грандиозный по своему размаху и трудности отрезок Великой Транссибирской магистрали — Кругобайкалку, как ласково и любовно называют это чудо инженерной мысли и непосильного труда сибиряки. В 1980 году для московской книги «Грибной дождь» я написал стихи «Байкальские туннели»:

*Тишина в ребристом полом теле.  
Тишина не звонкая, глухая...  
В ваших недрах, тёмные туннели,  
Кажется — бессмертье отдыхает.*

*Пролетают месяцы и годы,  
Катятся рассветы и закаты,  
Ваших сводов не источат воды,  
Не разрушат входов камнепады.*

*Сталактитов белые подвески —  
Это в твердь спрессованное время.  
Пятьдесят туннелей на отрезке  
Небольшом, но родственном поэме.*

*Вы своё ещё не отслужили,  
Вас покой как будто окружает...*

*Бьёт Байкал, волнуется двужильный:  
Лодки-мореходки снаряжает.*

*Нет, судьба в утиль вас не списала,  
Хоть и нет тех прежних полустанков,  
Маются в заброшенных вокзалах  
Души камнетёсов-арестантов.*

*Вон душа Васильева Ерёмы —  
Мастера дорожного — летает,  
А на этом полустанке, кроме  
Двух старух, никто не обитает.*

*Амбразуры ваши потемнели,  
Хоть и нет гремящих паровозов...  
Но живут байкальские туннели —  
Горький подвиг русских камнетёсов.*



И именно здесь, в порту «Байкал», больше, чем в других местах, стали селиться иркутские художники и писатели.

Одним из первых присмотрел этот старинный, расположенный на байкальском берегу и в прилегающих к нему распадках посёлок, писатель Глеб Пакулов, за ним потянулись Владимир Жемчужников и Нелли Матханова. Они купили небольшой деревянный домик на улице Горной. А уж потом в порту «Байкал» по подсказке Матхановой на улице Вокзальная, 1, в тридцати метрах от Байкала, приобрёл бывший дом стрелочника Валентин Распутин.

В те давние, семидесятые годы прошлого столетия в порту «Байкал» выискивал себе пристанище для работы над пьесами и Александр Вампилов, но его мечте не суждено было сбыться. Он погиб в холодных, железных тисках Байкала, как раз в тот год, когда страстно мечтал найти и купить дом недалеко от того места, где жил его близкий друг Глеб Пакулов.

Слухи о том, что в порту «Байкал» продаются дома, стали витать по Иркутску, и вскоре в посёлке обосновались издатель Николай Есипёнок, прозаик Борис Лапин, поэт Сергей Иоффе.

Художники тоже не остались в стороне и направили свои стопы в порт «Байкал». В пади Щёлка нашли себе жилища живописцы Галина Новикова и Анатолий Аносов, семья художников Юшковых, там же купил почти игрушечный, маленький домик геолог Юрий Беляев с милой женой Ларисой. На Байкале Юра брал уроки живописи у Анатолия Аносова и писал скромные, но очень искренние этюды. К пади Чайка прикипел всей душой Лев Гимов и купил ладный, необыкновенно уютный дом у местной жительницы Нецветаевой, а на окраине местечка Баранчик присмотрел довольно крепкий пятистенник Николай Житков, скопил денег и приобрёл его по сносной цене.

Художник Глеб Богданов со своей женой, скульптором Светланой Таволжанской купили дом на высокой улице Горной, неподалёку от Жемчужникова. Там же, на Горной, поселился с супругой Галиной Григорьевной академик Российской академии естественных наук, директор Восточно-Сибирского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Олег Ильич Гудков.

В верхней части улицы, уже в девяностых годах, привёз из посёлка Малое Голоустное и установил готовый сруб деревенского дома прозаик Владимир Максимов. Справа от него, недалеко от строящейся церкви Преображения Господня, подмышкой у леса, вырос аккуратный, из круглых ровных брёвнышек, домик историка, профессора Иркутского государственного университета Александра Маджарова.

А рядом с Максимовым купил дом моряк и путешественник Евгений Серебренников, прозванный в порту «Байкал» Американцем в связи с тем, что он по Тихому и Атлантическому океанам перегоняет яхты богатых американцев.

Со стороны Ангары живут издатель Николай Есипёнок с женой Татьяной, искусствовед Ирина Федчина с мужем Володей, профессор Владимир Решетников. У самой реки построил красивый, добротный дом художник Виктор Огиенко с супругой



*Глеб Пакулов и Владимир Скиф*



Людмилой Назаровой, директором Иркутского художественного колледжа, преобразив небольшое дощатое строение и кусок земли, купленные у местной жительницы Людмилы Дрёминой, в настоящий рай.

В семидесятые годы прошлого века приглядел старенький, но ещё живой домишко композитор Валерий Стуков, прозванный в народе Аликом, может быть, это прозвище исходило от Александра Вампилова, где героиня пьесы «Утиная охота» — Вера называет всех мужчин Аликами. Или, скорее всего, наоборот — Вампилов пошёл от стуковского прозвища и вложил в Верины уста ставшую крылатой фразу в отношении пьющих или выпивающих мужчин «Алики вы все». Даже одна из газетных статей об Алике Стукове называлась «Алик из Аликов!» (тоже восклицание Веры).

Хотя совсем недавно я узнал совсем другие сведения об этом имени из уст самого Алика:

— Когда я родился, меня решили назвать Валерием, и, конечно, назвали, и записали это имя в метрике. Отца дома не было. Когда он приехал из командировки, глянул в метрику и сказал: «Никакого Валерия! Он родился 30 марта в день святого Алексея, поэтому быть ему — Аликом!»

Вот откуда явился Алик, но Вампилов, чуткий на слово и любивший Алика безмерно, мне кажется, решил его увековечить в своей пьесе и так ловко, афористично обыграл стуковское имя.

Нашёл и купил приличный дом в Баранчике художник Александр Муравьёв, но почему-то не смог, как другие, прижиться на Байкале. Впоследствии муравьёвский дом понравился поэту Геннадию Гайде, а вот его покупка по неизвестным причинам не состоялась.

Очень хотел поселиться в порту «Байкал» совершенно удивительный художник Александр Шелтунов. Подходящих предложений не было, но Саша всё-таки разыскал древний, почти непригодный для жилья дом Синицыных в Молчановской пади, но так и не смог привести его в надлежащий вид, хотя наезжал на дачу и писал по сырому ватману свои, как будто осенённые Господом, акварели. Кстати, потом, на месте разрушенной шелтуновской дачи смогла поселиться моя родная сестра Валентина, а её муж Николай Данилович, живя во времянке, построил здесь свой собственный хороший дом. Я люблю бывать в молчаливой Молчановской пади в доме моей сестры, где лесной распадок рассекает стремительный ручей, один из тех трёхсот тридцати трёх рек, речушек и ручьёв, которые впадают в Байкал и не дают ему иссякнуть, держат неизменный уровень его полноводности и глубины. Сестринский ручей бурлит прямо в её огороде, быстрый и прозрачный, как стекло, — настоящий, живительный, земной родник:

*Как хорошо, как беспредельно тихо  
По осени в истоке Ангары.  
Цветёт укроп и зреет облепиха  
На огороде у моей сестры.*

*Бурлит ручей. Поёт земля стоусто.  
В распадке осень золотом слепит.  
И листьями широкими капуста,  
Как будто портупьями — скрипит.*

*Благоухают чеснока головки  
С бородаками, как будто мудрецы.  
Срываясь с веток, не в пример морковке,  
Спешат в ведёрко сами — огурцы.*

*Моя сестра — извечная трудяга —  
Всё делает разумно, не спеша...*

*Какая в ней высокая отвaga!  
Какая в ней сердечная душа!*

*Порой устанет, но душою светит  
Сквозь несусветный, горький беспредел.  
С улыбкой встретит, ласково приветит  
Среди своих необозримых дел.*

*...Велосипед оставляю и от речки  
Иду к сестре в сей райский уголок.  
Я рад её неповторимой речи,  
Где лёгкий юмор, самобытный слог.*

*Поговорим — и отступает дыба  
Тяжёлой жизни. Светит Ангара.  
Я говорю Всевышнему — спасибо  
За эту осень! За тебя, сестра!*

Лет десять назад в Баранчике купила небольшую, всего лишь четвертую часть четырёхквартирного деревянного дома преподаватель Иркутского музыкально-педагогического колледжа Валентина Чивчиш. В Дёминской пади, живёт художник-реставратор Аркадий Лось. А Глеб Пакулов на излёте своей жизни продал, наверно, самый лучший, самый просторный дом художникам-реставраторам Саше и Светлане Тютиковым.

Мне везло в этой жизни многократно: и то, что я родился в деревне, рос в неразрывной связи с русской, сибирской природой, и то, что с детства меня окружали удивительные люди: моя первая учительница Антонина Ильинична Гусева, директор Харикской средней школы, в которой я учился с первого по седьмой класс, Павел Афанасьевич Ни, моя незабвенная бабушка Анна Киреевна Скоринкина, мои братья и сёстры, которых в нашей дружной семье вместе со мной — восемь, и то, что мои родители, пусть и малограмотные люди (у мамы шесть классов образования, у отца — четыре), привили мне любовь к литературе и искусству (мама вслух читала по вечерам Пушкина и Некрасова, Толстого и Тургенева), а у отца была склонность к рисованию. Оттого, наверно, в семье многие из нас рисовали: сёстры Галина и Ольга (они какое-то время работали художниками-оформителями на Иркутском авиационном заводе), братья Виталий и Анатолий, да и я, грешный. Из всех нас более интересно и грамотно рисует брат Анатолий. Он кроме оформительской работы, которая стала его профессией, пишет маслом и акварелью, а в последние годы стал писать иконы.

Рисование, живопись в нашей семье и нынче имеют достойное продолжение: мой сын Игорь Смирнов стал профессиональным художником, закончив Иркутское художественное училище и Красноярский институт живописи. Ныне он член Союза художников России, график, живописец, художник церковной монументально-декоративной живописи и книжный иллюстратор.

Мы с ним издали совместную детскую книгу «Шла по улице корова», которая получила Всероссийскую литературную премию имени Петра Павловича Ершова. Уже четыре года подряд Игорь расписывает православные храмы. Им расписан Покровский храм Свято-Серафимо-Покровского женского монастыря в Новокузнецке, храм Державной иконы Божьей матери на острове Ольхон на Байкале и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Пивовариха под Иркутском.

Вспоминая учителей и малую родину, хочется сказать о том, что 1 сентября 2012 года исполнилось 80 лет моей родной Харикской школе, куда мы, бывшие харикцы, на двух машинах приехали из Иркутска на этот замечательный юбилей. Станция Харик — маленький посёлок, расположенный в трёхстах километрах от Иркутска. В общем-то, обыкновенная сибирская, русская деревня, откуда вышло очень много известных, принёсших славу не только Сибири, но и России людей. Это военный лётчик Павел Николаевич Замашной, знаменитый нейрохирург Юрий Ермолаев, профессор стоматологии Валентин Федчишин, директор Иркутского зерносовхоза Юрий Ефимович Ковалёв, доцент Иркутского университета путей сообщения Юрий Хрюкин, критик, член Союза писателей России Валентина Андреевна Семёнова, лётчик Николай Куклин, заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Куклина и многие другие учителя, врачи, руководители крупных предприятий.

Повезло мне с учителями и в Тулунском педагогическом училище, куда я поступил, окончив по тем временам семилетку в Лермонтовской семилетней школе. В педучилище самыми удивительными, близкими для меня людьми стали учительница по русскому языку и литературе Галина Александровна Мизандронцева и учитель рисования, а также классный руководитель Сергей Георгиевич Жигалин.

Я с детства бредил рисованием, и не только бредил, а в ранней юности даже совсем неплохо рисовал. В начале шестидесятых годов, когда я учился в педучилище, Сергей Георгиевич в выпускной год выделил мои работы по рисованию в отдельную выставку. В 1979 году моему учителю рисования и фронтовому разведчику я посвятил вот эти стихи:

*Мы рисовали чучело бекаса,  
Тяжёлую керамику и хлеб,  
Художники графического класса,  
Которым было по пятнадцать лет.*

*Мы постигали формы совершенство,  
Искали блики и полутона.  
Какое напряженье и блаженство,  
Когда рисуешь церковь из окна!*

*Учитель наш, он радовался цвету,  
Учил любить соборы, старину*

*И проводил внеклассную беседу  
О галерее Дрездена в войну.*

*Я помню ту пожухлую бумагу,  
Стучит мелок и сапоги скрипят,  
И на груди медали «За отвагу»  
У нашего учителя звенят.*

*Мне видятся то ласточки, то флаги,  
То наше общежитье перед сном...  
И веточка живая — на бумаге,  
И раненая ветка — за окном.*

## Валентин Распутин

Везло мне в моей жизни по-всякому. Везло на хороших людей и на случайные встречи. И, конечно же, большим везением, а если говорить прямо — то великим счастьем я считаю свою женитьбу на Евгении Молчановой, младшей дочери известного иркутского поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Когда знакомился с ней, конечно же, не догадывался, что она — дочь писателя и что у неё есть родная сестра Светлана Ивановна, которая замужем аж за самим Валентином Распутиным. Да и поначалу, когда между нами засверкали молнии любовных чувств, эта родственность никак не повлияла на наши отношения. Более того, мы ничего и никого не видели вокруг, а стремительно, сломя голову, летели в водоворот наших страстей, встреч и расставаний, трепетных свиданий и желания никогда не расставаться. Только потом уже до меня дошло, что у нас с Валентином Григорьевичем жёны — родные сёстры и что мы стали родственниками, то есть — свояками.

И вот как неотъемлемая часть нашей с Евгенией Ивановной жизни и любви к нам ворвался ещё и Байкал. Валентин, Валя, а по-родственному — Валюша, — так все мы называем его в нашей большой семье — в начале семидесятых купил дачу на Байкале. Это оказался небольшой, но крепкий из широченных лиственничных брёвен дом (их всего восемь в стене — и уже восьмое бревно идёт под крышу) с летней кухней и стайкой (через несколько лет я эту стайку обобью изнутри саночной рейкой и получится замечательная деревенская баня). А пока Распутины вчетвером: Валя, Светлана, семилетний Серёжа и маленькая Маруся уезжают летом на Байкал на желанную дачу.

И вот именно здесь: то во флигельке, то в основном доме Валентин Григорьевич пишет свои великие повести «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказы «Наташа», «Не могу!», «Что передать вороне?» Приведу небольшой отрывок из «Вороны», чтобы в который раз насладиться неповторимой поэзией распутинской прозы, отрывок, где В.Г. описывает свой, ставший ему родным, байкальский домик, его окрестности, Байкал и неразделимое с Байкалом небо:

*Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несёт прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домик, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.*

*Нет, всё оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалёку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склонённой к нему стрелой замершего порталного крана, и сидящая на брёвнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нём ещё вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белёсо-задымленному, вяло опушённом небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день ещё не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какой-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределённо и тягостно...*

Наверно, немного великих чудес на свете. Но то, что Валюша и Асланочка (так мы с лёгкой руки нашей маленькой дочери Даши — стали называть Светлану Ивановну) в 1982 году подарили нам свой домик на Байкале, — это, действительно, великое чудо! Хотя до оформления дарственной мы и так часто бывали у них в гостях со своими детьми. Старшей дочери Кате в 1977 году было десять лет, а дочь Даша только-только родилась. Валя к тому времени написал свои выдающиеся, вызвавшие интерес во всём мире, произведения, а в 1978 году получил Государственную премию СССР за повесть «Живи и помни». Ему платили хорошие гонорары, и Распутины два раза отдыхали за границей: один раз в Болгарии на «Золотых песках», другой раз в Венгрии на озере Балатон, а потом купили дачу, поближе к Иркутску, — на 28-м километре Байкальского тракта на берегу Иркутского водохранилища.

А пока время для подарка ещё не наступило, мы в отсутствие Распутиных с радостью спешили на Байкал. Нас ждали грядки, которые надо было прополоть и полить, ждал чистейший, хрустальный родник, бьющий прямо из горы в распутинский двор. Издалека призывно манил великолепный байкальский пляж, туннели, в которых наверняка жили души русских каменотёсов, ждал лес на горе, в котором водились белые грибы и чёрные грузди. А какой на горе нас ожидал старинный французский маяк! Его железное нутро скрывало внутри себя волшебную винтовую лестницу и наверху нас ждала круглая площадка с крепким стальным ограждением, куда мы вместе

с детьми забирались и обозревали наши светонасные байкальские окрестности.

В то время, когда домик был ещё распутинский, мы с Валею по весне, вдвоём, выезжали на дачу садить картошку, править похилившийся забор, вкапывать новые столбы, менять прожилы на пряслах, вскапывать поле, пилить дрова, в общем, делать всё то, что и обязан делать деревенский мужик: содержать в порядке своё, пусть и не великое, подворье.

На даче мы жили несколько дней, поесть готови-



Валентин Распутин на берегу Байкала



ли по очереди. Помню, завтрак приготовил Валя, а за мной числился обед. Эх, думаю, заварганю-ка я гречневую кашу с тушёнкой. У нас всегда с собой были и крупы, и несколько банок улан-удэнской тушёнки. Лучше неё тушёнки не бывает! Валя копается во дворе, а я с вожделием готовлю обед. Сварил гречку да так много, так дивно насыпал крупы в кастрюлю! Заправил тушёнкой, запах одуряющий. Вкусно. Сам еле сдерживаю себя, чтоб не наброситься на лучшее в мире блюдо! И вот гречневая каша разложена в тарелки, дымитесь родимая, зовёт к себе. И тушёнка приличными кусками торчит из каши. Иду во двор кликать Валю, потом сажусь на стул, улыбаюсь во весь рот и жду похвалы. Валя встал на пороге, потянул носом, сокрушённо качнул головой и говорит:

— Лучше бы камней нажарил!

Я опешил и долго вопросительно смотрю на него. Он, наконец-то, чуть улыбнулся, видя мой расстроенный вид и неопишемое удивление на лице, и продолжает:

— В Чите на воинских сборах наелся я этой гречки на всю жизнь. Воротит от неё до сих пор. Три месяца кормили одной гречкой.

— Валя, так давай из каши вынем тушёнку и поешь одного мяса! — обрадовался я.

— Да оно ведь тоже гречкой пропахло. Давай уж ты сам всё это ешь.

Два дня я ел гречневую кашу с тушёнкой, но она мне нисколько не надоела. Два дня — это всё-таки меньше, чем три месяца. Да и гречку я очень люблю.

Разговорить Валю было всегда не просто, да я и не старался нарушать его молчание или докучать своими расспросами. Работаем — молчим, обедаем — молчим, изредка перекинемся двумя-тремя словами и опять молчок. Ну а если уж сам разговорится, то успевай слушать да мотай на ус. Однажды он довольно подробно стал рассказывать о своей родословной.

— Как-то, — начал вдруг Валя в час послеобеденного отдыха, — решил я отыскать своих прародителей — дедушек, бабушек, прабабушек. Узнал я, что в моей родове намешано множество разных кровей: есть польская кровь и цыганская, есть эвенкийская, возможно тунгусская, и, конечно же, — русская кровь.

Рассказывает он про свою родословную, а я невольно думаю, что это всё не случайно в его судьбе, что слияние разных кровей, их столкновение и взаимообогащение дали такой невероятный всплеск таланта, такой удивительный полёт мыслей и чувств, такое понимание происходящего на земле и в душах человеческих, что становится то сладко, то знобко от поистине гениальных страниц его повестей и рассказов. Ты каким-то болевым нервом, чуткой душой, сознанием ощущаешь мудрость и глубину каждого его слова, с придыханием ловишь неповторимую, восхитительную поэтику распутинского языка.

— Моя прапрабабка, — продолжает Валентин, — цыганка — была взбалмошной, весёлой и талантливой. Она пела в кабаках, и там её высмотрел ссыльный польский студент. Он вечерами тихо сидел у столика с нехитрым ужином и наблюдал за красавицей-цыганкой. Сидел, страдал и дострадался до того, что влюбился в неё не на шутку и предложил красавице руку и сердце. В том, что она согласилась выйти за него замуж, ничего не было странного. Студент был молодым, красивым, мужественным и образованным. Произошло то, что произошло: они поженились, буйная цыганка нарожала ему кучу детей и сгинула из его жизни с проезжим купцом навсегда. Это была моя прапрабабка, а польский студент оказался моим прапрадедом. Он поднял детей, воспитал их, дал образование, вывел, как говорится, в люди. Одна из дочерей этого странного союза впоследствии станет моей прабабушкой. Да, в моей коренной сибирской родове, в разных браках, как со стороны отца, так и со стороны матери, были цыгане, поляки, эвенки и даже тунгусы, но основной стержень всегда составляли русские.

Сидеть бы так бесконечно и слушать Валю, но мы идём ставить в заборе последнее прясло. А за вечерним чаем он поведал мне ещё одну историю, которая была по-серьёзней первых двух. Зашёл разговор о читательских письмах, о том, как читают его

произведения и что пишут многочисленные поклонники нашумевших в Отечестве повестей и рассказов уже известного по большому счёту писателя Валентина Распутина.

В то время некоторые его произведения уже стали экранизировать. Самым первым в 1969 году вышел в прокат короткометражный фильм Динары Асановой «Рудольфо» в главных ролях с Юрием Визбором (Рудольф) и юной девочкой Еленой Наумкиной (Ио). В 1978 году появился на экране блистательный фильм Евгения Ташкова «Уроки французского», а в 1979 году кинорежиссёр Лариса Шепитько подготовила к съёмкам сценарий фильма по знаменитой повести «Прощание с Матёрой» с великолепной актрисой Стефанией Станютой в главной роли. К великому сожалению, случилось непоправимое: 2 июля 1979 года на 117-м километре Ленинградского шоссе киносъёмочная «Волга» на пути к городу Калинин утонула в мчавшемся навстречу грузовик. Погибли Лариса Шепитько, оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и их ассистенты. Завершил работу над фильмом муж Ларисы Элем Климов, назвавший картину «Прощание» (1982 г.).

Бурятский кинорежиссёр Александр Итыгилов снял в 1980 году фильм «Сколько стоит медвежья шкура», в который были приглашены Стасис Петронайтис, Борислав Брондуков и другие известные актёры. Кинорежиссёр Ирина Поплавская в 1981 году показала фильм, поставленный по трогательному и глубокому рассказу «Василий и Василиса», где собралось целое созвездие лучших русских актёров: Ольга Остроумова и Михаил Кононов, Наталья Бондарчук и Майя Булгакова, Андрей Ростоцкий и Татьяна Догилева.

За чаем я спросил у Вали:

— Я знаю, что тебе пишут очень много доброжелательных и восхищённых писем. А есть ли письма, в которых тебя ругают?

— Случается, — коротко ответил он. — Однажды пришло просто разгромное письмо. Это было после публикации повести «Живи и помни». В нём автор разносил меня в пух и прах, обвинял во всех смертных грехах, грозился обратиться с письмом в соответствующие органы за подрыв советской идеологии и с просьбой, чтобы меня наказали за разрушительную работу против СССР.

— И что? Ты ответил? — спросил я.

— А зачем? — Валя замолчал.

— А подпись? Подпись была? И кто автор письма, он указал — кто он?

— Некто Иванов Николай Петрович, фронтовик, орденносец.

— Тебе, наверно, стало худо от этого письма...

— Было, конечно, очень неприятно. Но потом я привык. Такие письма теперь для меня не редкость.

— Да, странно.

— Ничего странного. Мне-то понятно, кто водил рукой того же Иванова.

— А где это письмо?

— Я выбросил. Я всё выбрасываю.

— Не надо заводить архива, над рукописями трястись... — процитировал я строку Бориса Пастернака.

— Вот-вот. Без них легче.

Так закончился этот и вправду неприятный для Валентина разговор. А вот насчёт рукописей хочу рассказать следующую историю.

Мужики в посёлке Порт Байкал с великим уважением относились к Вале. Некоторые изредка, стеснясь, заходили к нему занять три рубля на бутылку, и Валя никому из них не отказывал. Как-то раз в моём присутствии постучали в дверь. Я готовил ужин, а Валя сосредоточенно сидел за рабочим столом.

— Войдите! — глуховато сказал он



Тихо-тихо, один за другим вошли три деревенских мужика и, как будто споткнувшись о взгляд Распутина, остановились у порога, но Валя приветливо воскликнул:

— Проходите, что ж вы? — и поднялся навстречу мужикам.

— Да мы это... посмотреть на вас...

Валя смущённо засмеялся:

— Я же не афиша, проходите!

Один мужик двинулся в комнату, где стоял стол с рукописью, а второй сдёрнул с ног сапоги и стал разматывать длинные белые портянки. Тут и я не выдержал:

— Господи! Зачем вы разулись?

Мужик в не до конца развёрнутых портянках шагнул в комнату, портянки потянулись за ним. Третий толкнул его в спину и засмеялся:

— Ну ты! Рыбный расстегай!

И тут мы все громко расхохотались.

Мужики подошли к столу и стали смотреть в Валину рабочую тетрадь. Один, прищурившись, вдруг произнёс:

— А это что за линии? Зачем вы их чертите?

Другой, видимо с более острым зрением, тоже наклонившись, почти вскричал:

— Дурень! Это же строчки!

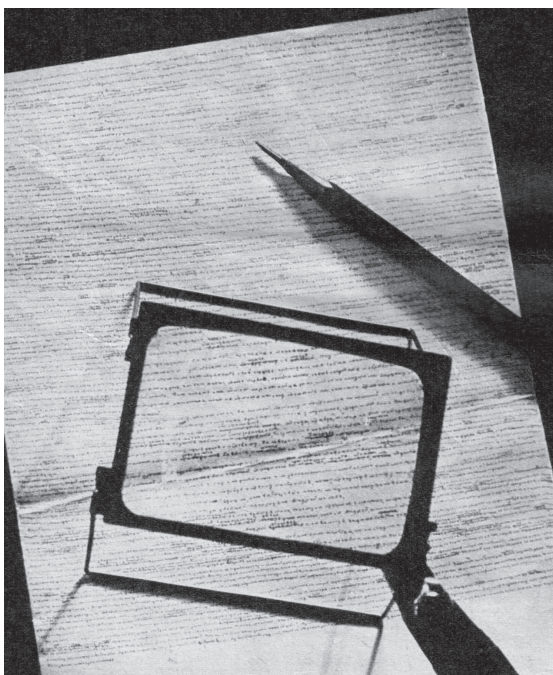
— Какие строчки?

И все они сгрудились у стола, начали охать и удивляться менее чем бисерному почерку Распутина, который можно рассматривать разве что через увеличительное стекло. Я вспомнил немецкий журнал «Freie Welt» («Свободный мир»), в котором был помещён фотоочерк о Распутине «Валентин Распутин — сибирский характер» (№ 2, 1978 г.), где среди десятка фотографий я обнаружил фото распутинской рукописи с возлежащей на ней лупой. Там, сквозь лупу, мельчайшие буквы были чуть виднее, чем в рукописи.

В конце концов мужики, обзрев и писателя, и рукопись, удалились, унося в кармане драгоценные для них шесть рублей, которыми Валя наградил их за смелость.

Нынче не посёлок, а сам порт «Байкал» разрушен до основания. Уничтожен почти весь могучий байкальский флот. Часть судов распилена и в виде металлолома продана в Китай, остальная часть приватизирована частными лицами. Напротив нашего дома на погрузочастке красовались три мощнейших немецких порталных крана. Флот и порталные краны работали бесперебойно, то осуществляя северный завоз, то перевозя грузы на БАМ, то на другую сторону Байкала, в Бурятию.

Погрузочасток был заставлен железнодорожными контейнерами, завален каменным углем и лесом. Краны мы называли «гансами», поскольку их производила знаменитая немецкая фирма «GANS». И они почему-то очень часто работали по ночам. Я однажды сочинил короткую эпиграмму:



*Автограф рукописи «Прощание с Матёрой»*

*В порту «Байкал» стальные краны,  
Покой Распутина поправ,  
С акцентом явно иностранным  
Грохочут, головы задрав.*

Помню, Глеб Пакулов, спустившись с горы прямо во двор к Валентину, громко прочитал это четверостишие, выделяя особой интонацией слова «с акцентом явно иностранным» и исподтишка погрозил «Гансам» кулаком.

— Да, — согласился Валя, — если они грохочут все вместе, то уж тут точно не до сна.

Зато теперь ни кранов, ни флота, ни погрузучастка — чисто. Теперь напротив нашего дома расположился завод по разливу байкальской воды. Но он тоже, как многие заводы в стране, почти не работает. У него трое хозяев и они, построив завод, теперь воюют между собой, пытаясь достаточно прибыльное, если бы не междоусобицы, предприятие с итальянским оборудованием отобрать друг у друга.



*Валентин Распутин у костра*

В 1982 году, когда уже мы с женой стали полноправными хозяевами байкальского домика, Валя со своим гостем из Болгарии писателем Кириллом Мончиловым приехал на Байкал. Договорился с Глебом Пакуловым, чтобы он на своей лодке свозил их на 94-й километр Кругобайкалки за синей ягодой, голубикой. Взяли с собой и меня. У Глеба была хорошая лодка «Сарепта» с мотором «Вихрь», на которой мы вчетвером и отправились за

ягодой. Надо сказать, что Валя не рыбак, не охотник, но совершенно удивительный грибник и ягодник. У него есть рассказ «По ягоды», посвященный друзьям-ягодникам писателю Альберту Гурулёву и издателю Николаю Есипёнку. И есть ещё другой рассказ «Век живи — век люби» про мальчика Саньку, который по незнанию набрал голубики в цинковое ведро, а взрослые, видя это и зная, что нельзя собирать ягоды в такое ведро, не подсказали Саньке заменить его — в цинке ягода очень сильно окисляется и ею можно отравиться. Это рассказ о человеческой чёрствости, о постижении взрослого мира подростком со светлой, доверчивой, незамутнённой душой, о тех первых душевных ранах, которые рубцуются, но и тогда ещё долго не заживают.

Итак, мы мчимся в лодке по Байкалу, взяв под ягоду горбовики, съестные припасы, бутылку водки, а я прихватил с собой фотоаппарат и зачем-то любимую на тот момент книгу Василия Белова «Воспитание по доктору Споку».

Глеб ещё в лодке заявил, что за ягодой не пойдёт:

— Я ваш извозчик. Буду лодку караулить да с удочкой сидеть, может, омуля или харюзка поймаю вам на уху.

— Мы тебе выпить нальём, ты уж лучше поспи, — пошутил Валя.

— Я когда выпью, — не остался без ответа Глеб, — совершаю подвиги.

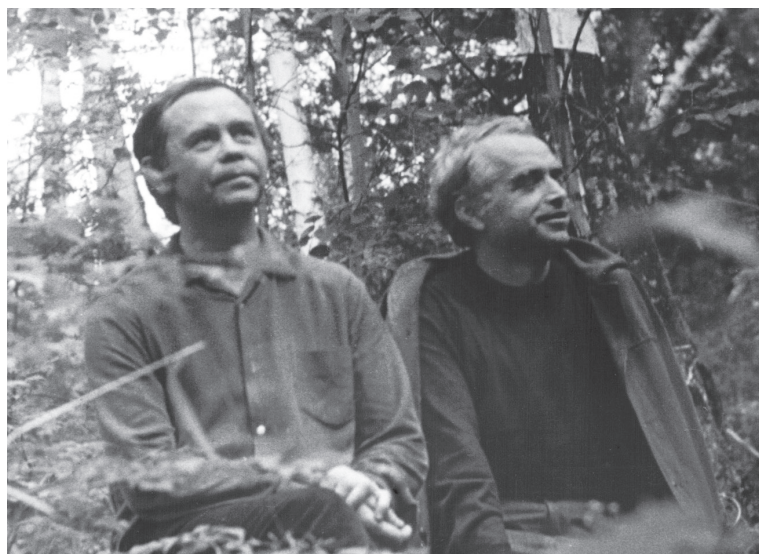
— Бросаешься на амбразуру? — усмехнулся Распутин.

— Да! Вот только все амбразуры в порту «Байкал» остались.

Приплыли на 94-й, выгрузились, запалили костерок и сели перекусить. Достали огурцы, помидоры, варёные яйца, хлеб ну и, конечно же, горячительное. Болгарин вынул из рюкзака кружок плоской, приплюснутой, как блин, колбасы, оказавшейся твёрдым болгарским сервелатом. Глеб с любопытством взял в руки колбасу, понюхал, покрутил перед собой и обратился к Мончилову:

— Вы что, всей Болгарией на ней сидели?

Наконец-то мы перекусили, попили духмяного чайку и по узкой тропе стали подниматься по распадку вверх, в глухую тайгу. Я знаю, как Валя собирает ягоду. Он, во-первых, редко пользуется совком, зато берёт ягоду двумя руками да так легко, быстро и аккуратно, что еле успеваешь следить за его почти молниеносными движениями. И пока я набираю кружку, он таких ссыпал в горбовик примерно четыре. По тайге он движется



*Валентин Распутин и болгарский писатель Кирил Мончилов*

ловко, расторопно, бесшумно. Пока мы с Кириллом Мончиловым, как два медведя, в одном направлении ломимся по распадку, он уже взлетел на перевал и спустился вниз. Бродим мы часа три-четыре. Тяжелеет горбовик, но ещё не полон. Валя зовёт нас из-под высокой лиственницы, где обнаружил самое ягодное место.

— Я уже набрал свой горбовик, добирайте и вы. Тут место хорошее ещё и для привала: сухой мох, валёжина удобная — можно присесть.

Мы с Кириллом минут двадцать обираем рясные кусты, но уже еле стоим и падаем на мхи. Валя разжигает костёр, разворачивает пакет со снедью, я лезу в рюкзак и всё содержимое вываливаю на таёжную траву: конфеты, хлеб, сало, свежие дачные огурцы. Вместе с едой из рюкзака выскальзывает книжка Василия Белова.

— А это что? — показывает ни книгу Валя.

— Как что? Василий Белов. «Воспитание по доктору Споку».

— Ты что же, на ягодах читать собрался?

Я смущаюсь и бормочу, что, мол, да! — на привале собирался почитать.

— Кто же с книгами за ягодой ходит, чудак-человек, — шутливо ворчит Валя, запаривая смородиновым листом закипевший на костерке чай, — хотя Белову бы это понравилось. Даже в глухой сибирской тайге он воспитывает своих читателей по доктору Споку.

— Володя — лучший в вашей стране читатель. Таких во всей Болгарии не сыщешь, — добавляет Мончилов, — меня в тайге точно не читают.



— И меня тоже, — смеётся Распутин.

Потом своим друзьям-ягодникам Гурулёву с Есипёнком он поведал эту историю, и те при случае меня спрашивали, какую книгу я теперь читаю на ягодах.

За ягодами мы, конечно же, ходили не один раз. И чаще всего путь начинался на лодке. Ездили на лодке и с известным иркутским фольклористом Валерой Зиновьевым, и с отчаянным, могутным лесничим Виктором Николаевичем Носыревым, которому портовские мужики дали прозвище Медведь-Сохатый. Носырев не построил, воздвиг! — рядом с Глебом Пакуловым такой же, как и он сам, могучий дом, перевезя с нежилой кругобайкальской станции здание заброшенной начальной школы.

Как-то в середине сентября, когда мы с Валею выкопали картошку, Носырев со своей женой Натальей причалил почти у самого дачного дома и позвал нас за брусникой. Мы охотно откликнулись, собрались, взяли горбовики, сели в лодку, и Носырев что есть духу рванул в открытое море. Буквально через полчаса нашего пути поднялся страшный ветер и начался шторм. Байкал опасен своей непредсказуемостью, неожиданностью. Не успели мы оправиться от первых порывов шквалистого ветра, как Байкал уже раскачался, и вокруг нас заходили громадные, величиной с двухэтажный дом волны. Лодка ухнула в бездну, потом взлетела на гребень волны, на лице у Носырева не дрогнул ни один мускул. Он только игриво заулыбался и направил лодку поперёк волны. Мы опять взлетели наверх и опять с обмирающим сердцем покатались вниз, казалось — на дно Байкала. Я потерял дар речи и молча вцепился в борт лодки, Валя тоже молчал, а Наташа закричала:

— Виктор! Ты что делаешь? Ты думай, кого везёшь! Ну-ка, прижимайся к берегу!

Носырев, как будто её и не слышал и продолжал разрезать гребни волн и то опускаться вниз, то подниматься вверх по крутым водяным горам. Тут уж и Валя не выдержал:

— Витя, давай к берегу! Там, если перевернёмся, то, может, и выплывем.

Носырев выбрал вдали пологое место, лихо причалил среди шумного прибоя. Мы выбрались из лодки бледные, с дрожащими от напряжения ногами и молча сели на крупные прибрежные булыги. Носырев бодро возвестил:

— Вот мы и на земле. Извините, ребята! Я, вообще-то, опытный штурман, так что не надо было волноваться. А теперь вперёд за брусникой, — и он почти бегом кинулся в тайгу.

— Сумасшедший! — сказала Наталья, и мы, чуть-чуть оклемавшись, двинулись за нашим Сохатым в лес. Байкал бушевал недолго, часов пять. За это время мы набрали отборной, спелой, чёрно-красной брусники и без новых приключений вернулись в родную гавань.

А с Носыревым мы больше за ягодой не ездили. Неповторимое, неизгладимое впечатление у меня осталось от той поездки. Теперь ни в чью лодку не сажусь. А Виктор Иванович Носырев ведь так и погиб в Байкале. В девяностых годах, в самый разгар перестройки, его затёрло вместе с лодкой весенним, взбесившимся байкальским льдом.

## Лесник

*Виктору Носыреву*

*Леснику сказал я: — «Виктор!  
Вот опять ты глушишь спирт.  
А в кордоне, у развилки,  
Странно дерево скрипит.*

*Дело, кажется, не в ветре.  
Ветра нет. Природа спит.  
А на пятом километре  
Страшно дерево скрипит».*

*Мне лесник ответил: «Ладно»,  
Взял солового коня,  
Карабин шестизарядный  
И умчался от меня.*

*Поводя недобрым оком,  
Осадил соловый рысь.  
Притороченная сбоку,  
У седла болталась рысь.*

*Осень длинная висела  
На берёзах, листьях.  
Отчим домом пахло сено,  
Кобелишко спал в ногах.*

*Мне лесник сказал: «Над кручей  
Рысь гнездо себе свила  
И на дереве скрипучем  
Зазевавшихся ждала.*

*Не прошло и получаса,  
Как явился мой лесник...  
Кобелишко зачесался,  
Взлаял, хрипнул и поник.*

*...И за вами тоже кралась,  
Чтоб кого-нибудь схватить.  
Ну, а дерево старалось  
Глупых вас — предупредить!»*

Весной мы приезжаем на Байкал и копаемся то в огороде, то в доме, стараясь поскорее придать жилой вид нашему байкальскому пристанищу. Как-то в середине девяностых в начале мая я, как всегда, переехал на пароме в порт «Байкал» и направился в сторону своего дачного дома. Идти мне совсем недалеко от причала, менее километра. Подхожу к дому, вижу группу ликующих людей, разливающих по бокалам шампанское и кричащих «Ура!» Иду мимо них, чтобы открыть калитку, и вдруг меня кто-то из них спрашивает:

— Вы Распутин?

— Нет, не Распутин.

— Жалко. Нам деревенские сказали, что это его дом.

— Да, это был его дом, а теперь мой.

— А это правда, что он здесь жил и писал свои книги?

— Правда.

Они снова закричали «Ура!»

— А мы из Питера. Выпейте с нами шампанского и давайте сфотографируемся.

— Но я же не Распутин.

— А кто вы? Родственник.

— Родственник...

И снова туристы грохнули «Ура!»

Любопытно, что писатель Сергей Есин в своей книге «На рубеже веков. Дневник ректора» описывает эту короткую историю, но не совсем точен в фактах. Вот цитата из «Дневника ректора»:

«Вечером сидели в штабной комнате... Сначала читали стихи по кругу. Прозаиков пропускали. Прозаики отыгрывались байками. Самые занятные о Распутине. Вокруг него уже создаётся прижизненный миф. Есть изба на Байкале, где он написал «Живи и помни». Потом эту избу вроде бы перекупил иркутский же поэт Владимир Петрович Скиф. Так вот, подходит раз В.П. к избе, а возле неё стоят туристы и пьют из бутылки шампанское.

— Вы Распутин?

— Нет, я не Распутин.

— А это тот дом, в котором он писал?

— Да, дом именно этот. А за что вы ребята пьете?

— За то, что добрались сюда...»

Сергей Николаевич, уточняю: дом был не куплен у Распутина, а подарен им нашей семье. Вот и всё. А остальное — про туристов и про шампанское — правда.

В 1974 году, когда мы с Валею ещё не породнились, я впервые побывал у него в байкальском доме и был очарован Байкалом настолько, что едва вспомнил себя: кто

я и что со мной? Я испытал непередаваемый восторг от сближения с Байкалом, я поразился той светоносности, которая переполняла Байкал и всё, что его окружало: распадки и горные тропинки, сбегавшие по крутизне близлежащих скал, дома и деревья, небесную глубину и хрустальную прозрачность его божественной воды, снежные вершины Хамар-Дабана и утреннюю свежесть первой молодой травы.

С неба сбежал яркий весенний день. Он распахнул свои крылья над Байкалом, обнял нежным теплом посёлок, спешащих в школу детей, теплицы, первые чёрные грядки, рассаду в горшочках, улыбчивые лица людей, дорогу вдоль Байкала, ручеёк, бежавший прямо из горы в распутинском дворе, и самого Валентина Григорьевича с его простыми человеческими делами, которыми он занимался в тот день, и где у Байкала были свои заботы, а у Распутина — свои.

## Байкальский день

*Валентину Распутину*

*Байкальский день!*

*Ах, как он разгорался!*

*Ах, как он плавил слиток Ангары!*

*Его лучи оранжевою краской*

*Раскрашивали дачные дворы.*

*Его лучи — нектаром благодатным*

*Одаривали почки и цветы.*

*Из крепких ульев —*

*над селом нарядным*

*Летели пчёлы в дачные сады.*

*Байкальский день. Натянута верёвка.*

*Хозяйки сушат дачное бельё.*

*Дотошный день. Посажена морковь,*

*Чтоб дети летом хрумкали её.*

*В искрящемся, ликующем затоне*

*Байкальский лёд на иглы разделён,*

*И у Байкала — тянутся ладони:*

*Осыпать мир холодным хрусталём.*

*Мне кажется Вселенную разбудит*

*Гремучая байкальская волна...*

*В тугую грядку Валентин Распутин*

*Бросает золотые семена.*

*Он Слово Вдохновенное посадит,*

*Которое не зарастет быльём...*

*Хорошей жатвы,*

*мудрый наш писатель,*

*Тебе в байкальском домике твоём!*

Осень 1997 года сохранилась в моей памяти не только потому, что отличалась от других удивительно тёплой, воистину летней погодой, а ещё и тем, что я никогда так по сумасшедшему не работал, как в эту осень. Стояло нежное бабье лето. Нагретый воздух чиркали прозрачные осенние стрекозы, в нашем «оазисе», как в райском саду, пели, верещали синицы, таинственно ворковали лесные голуби, которых в Сибири называют «тутурский поп». Даже ворона не каркала, а пела «Кр-р-он, кр-р-он!», что в переводе означало: «Рай со всех сторон!»

От моего дома до Хамар-Дабана ширился Байкал, ровный и спокойный, в нём спала ясная небесная бирюза. Ощущение было такое необыкновенное, что казалось, будто небо и Байкал поменялись местами. Природа, словно обманутая, подкидывала мне во двор свои волшебные подарки. Видимо, ничего не понимая, что с ними происходит, заново расцвели одуванчики, жарки и колокольчики, загорелся малиновым пламенем багульник. Трава и не думала жухнуть и желтеть, а напротив, зеленела даже на дорожках. Хотя ночью, украдкой, по щекам распадков, ударяли первые морозцы, и щёки-склоны начинали краснеть, пламенеть, будто стесняясь, что сладко спали и прокараулили появление резвых ночных разбойников.

Я приехал на дачу копать картошку, рассчитывал прожить на Байкале три дня, а прожил целый месяц. Картошку я выкопал быстро, накопал аж три куля, поскольку огороδικ у нас небольшой и этой картошки нам хватает до Нового года, а там уж мы, примерно столько же, прикупаем до грядущего лета в деревеньке Ширяево, что нахо-



дится в 35 километрах от Иркутска. Но чаще всего картошку, да и не только картошку, а бывает, что и капусту, и морковь нам дарят мои земляки Куклины — Валентина и Николай. С ними я учился в одной школе в посёлке Харик. Или — бывший председатель Ширяевского колхоза Корнилов Василий Георгиевич, с которым мы встретились у Куклиных и впоследствии подружились.

Итак, выкопал я картошку, просушил её под уютным сентябрьским солнцем и решил отдохнуть хотя бы денёк после трудов праведных. На другой день приготовился ехать в Иркутск, как вдруг почувствовал, что во мне что-то созревает. Всё моё существо впитывало в себя бархатную осеннюю благодать, внутри меня что-то кустилось и трепетало, мне хотелось, броситься в янтарные леса, лезть на горячие скалы, обнимать цветы и деревья, лететь над Байкалом. И стали являться стихи. Они даже мешали друг другу, толкаясь во мне, каждое норовило проскочить вперёд, они перебивали и затмевали друг друга, и я старался их не упустить, не потерять, успокаивал, раскладывал по уголкам души и, как лёгких птиц, выпускал на белый лист бумаги.

*Разгорается осень моя удалая,  
Расставляет моленные свечи берёз.  
И рябина горит, и калина пылает,  
И черёмухи куст полыхает до звёзд.*

*Кое-где среди мхов сохранилась черника,  
Голубицы последняя капля дрожит,  
В золочёной траве багрянеет брусника  
И гранатовой россыпью в руки спешит.*

*Разгорается осень кровавым пожаром,  
Разбегается под гору тёмный баgreц.  
Но в урёмах таёжных не пахнет угаром,  
Лишь сияет тайга, как роскошный дворец.*

*Пламенеет тайга, разгорается осень,  
По распадам карминная льётся листва.  
У природы своей ты прощенья просишь,  
Но она красотой затмевает слова.*

Это была моя байкальская «болдинская осень», да простят меня поэты и критики, потому что словосочетание «болдинская осень» стало метафорой, обозначающей небывалый творческий подъём, случившийся в небольшом временном отрезке. И вправду, за месяц я написал тридцать восемь стихотворений.

Так вот, когда я уже дописался до ручки, со мной произошло невероятное. Шла последняя неделя моего пребывания на Байкале, и тут в одну из ночей на даче произошла довольно странная история. В очередной раз я работал до двух часов ночи. Дописал стихотворение «Флоксы», отложил в сторону бумагу и ручку, расстелил постель и лёг поспать. Не засыпалось. Более того, в крошечной темноте, прямо над собой, я слышал долгий, воистину живой звук натянутой струны. Звук был не громкий, но очень тревожный. Прошло полминуты, снова раздался звук струны, потом ещё и ещё, раз за разом чудились невероятные, странные, медленно уходящие в темноту звуки. Я поднялся с кровати, звуки продолжали являться из ниоткуда и тревожить всё моё существо. Неужели, думаю, я схожу с ума? Дописался. А струна продолжала звучать.

Тогда я встал, вышел на улицу и стал искать эту непостижимо звучащую субстанцию. Было тихо, даже Байкал едва шелестел в тёмном космическом пространстве. Может быть, это гудит берёза, которая прижалась к распутиному флигельку, или позванивает сам флигелёк, вспоминая неторопливого хозяина, его шаги и слова. Послушал берёзу, потрогал её. Но берёза молчала. Флигелёк тоже не издавал ни звука.

Я ведь, вправду, как полоумный стал исследовать всю проволоку, какую подвешивал на гвоздь, вбитый в стену дома возле мастерской. Но это же не струна, а свёрнутая в мотки проволока. Как она может звучать?

Промаялся я до четырёх часов утра в поисках отгадки, но так её и не отгадал. Когда я вернулся в дом и лёг в кровать, струна зазвучала снова с той же последовательностью, с тем же тревожным, загадочным наставлением: прислушаться к ней и задуматься... О чём? Может быть, о смысле жизни, о поэзии, о вере и неверии, о любви и предательстве...

Полежав ещё минуты три, я встал, включил свет, сел к чистому листу и почти без помарок написал стихотворение:

*Я ночью, пробудившись ото сна,  
Лежу один во тьме несокрушимой.  
В ночи звучит негромкая струна...  
Откуда этот звук непостижимый?*

*А, может, сон — царапает сосна?  
Поводит ворон крыльями из жести?  
Наверно, эта странная струна —  
Забывших предков тайное известье.*

*Быть может, это Ангелы во тьме,  
Создателем отпущенные к миру,  
В предутренней осенней кутерьме  
Несут мою истерзанную лиру?*

*Их слово заповедное — во мне,  
Их вера мне передалась в наследство.  
Вновь наяву, а может быть во сне,  
Под звук струны я проживаю детство.*

*А, может, это у меня — Господь  
С души покровы тёмные срываёт?  
Наверно, он, обретший кровь и плоть,  
Струну небес негромко задевает.*

*И кажется — расходится стена.  
И светлячками бездна расцветает.  
Звучит над бездной вещая струна,  
И над струною Ангелы летают.*

Совершенно опустошённый, в пятом часу утра я лёг спать. Уронил голову на подушку, прислушался. Струна перестала звучать, и я с облегчением заснул.

Прошла неделя. Я вернулся домой, вывез картошку и успел на наш знаменитый праздник русской духовности и культуры «Сияние России». В Доме литераторов мне случилось прочитать несколько стихотворений, среди которых была и «Струна», — гостям праздника и Валентину Распутину, который вёл в Доме литераторов вечер встречи. После того как закончился вечер, Валя похвалил меня за стихи и подарил только что изданную книгу «В ту же землю» с короткой надписью: «Володе Скифу дружески и родственно».

Эта книга и особенно одноимённый рассказ потрясли меня настолько, что я долго ходил с кровоточащим сердцем и не мог найти покоя несколько дней. Каким же надо обладать даром, какой несоизмеримой ни с чьей болью за своё Отечество и таким пронзительным чувством сопереживания с родной землёй и её людьми, чтобы так горько, так больно рассказать о происходящем с нами и со страной!

И ещё меня поразил необыкновенный рассказ-загадка «Видение» о звучащей тёмными, осенними ночами струне, которая, по всей вероятности, являлась совестливому писателю для осмысления душевных болей и тягот, для постижения нашего несовершенного бытия на увенчанной Господними красотами, но истерзанной Русской земле.

Во мне полыхнуло что-то, сравнимое с шоком, потому что со мной неделю назад произошла подобная история на Байкале, только моя струна звучала однажды ночью, а его струна — еженощная:

*Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдёт, отзвучит одна волна, одногласо, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днём, а днём этого не бывает. Я отчётливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом, на столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызывающийся, неведь откуда берущийся, неведь что говорящий сигнал заворачивает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо*

*всём остальном забываю. Страху при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше?*

*Что это? — или меня уже зовут?..*

А какая в рассказе, как будто кистью художника, и одновременно ощущениями поэта, явлена картина осени, описание которой во всей её совершенной красоте подвластна была разве что Александру Сергеевичу Пушкину. И, наверно, не случайно здесь упомянута строка из его стихов:

*Люблю и я «пышное природы увяданье»... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчётливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — всё в разноцветном наряде и всё хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И всё роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. «Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре ещё зелено, ядрёно, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем готовится без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным сеевом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.*

*Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трёпок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая. Остывающее солнце ещё прогревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выклинаясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, тенётится высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревням стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледеньким заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное...*

Это был самый короткий во всём творчестве Распутина и, действительно, самый мистический, глубокий, философский рассказ, где писатель перемещается в пространстве и во времени таким образом, что видит себя в себе и тут же наблюдает себя со стороны. В то же время он размышляет о происходящем реально, спокойно и даже буднично, как может писать только Валентин Распутин:

*В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонуций призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это моё имя вызывается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черёд. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл её, всё существо моё умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старшие меня нет, и глаза мои всё чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать*

легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и всё, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умилёнными слезами, что готов был раствориться в нём вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолётного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших отпечаток в душе, — не знаю. И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я вижу эту же пору поздней просветлённой осени, крепко обнявшей весь расстилавшийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не встречалась, а произвольно составила под пером самописца в моём сознании: мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и, как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыгаться не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за неё. Моё место у окна в низком лёгком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе...

Через несколько дней мы ехали с Валею на его дачу, что расположена на 28-м километре Байкальского тракта, и заговорили о струне. Я снова прочитал ему свои стихи и спросил:

— Валя, как же так случилось, что мы почти в одно и то же время написали об одном и том же?

Валя улыбнулся и, как всегда, легко отшутился:

— В этом виноваты наши жёны!

Может быть, это и так. Но я-то думаю, что не случайно мне так легко пишется в распутинском доме. Много в этих стенах и во дворе мне напоминает о нашем давнем совместном бытовании то весенними, то летними днями, а то и скороспелой осенью. Вот рябинка, которую он посадил. А вот скамеечка между двух лиственниц, тоже сделанная его руками. Рябинка за эти годы вытянулась и превратилось в высокое с кистями красных ягод дерево. А одна ветка изогнулась таким образом, что ушла в сторону от материнского ствола и распласталась над скамейкой, засыпая её по осени длинными, узкими, багряными листьями. Здесь он любил сидеть вечерами с кружкой горячего, до черноты заваренного чая и долго, неотрывно смотрел на Байкал, поднимающий свои валы, как живые мысли. В этом доме Валя во всём, куда ни глянь! Его мистическое присутствие, его дыхание, человеческое тепло и сила таланта — они, несомненно, какой-то осязаемой частью живут в его бывшем доме.

Я это знаю, я верю в это.



МИХАИЛ БАЗИЛЕВСКИЙ



## В тишине очнувшихся широт...

\* \* \*

Спокоен плоть познавший наконецник —  
Музейных стен отъявленный слуга.  
Тиха свирель — тяжёлой клетки пенчик,  
Но выпустить не тянется рука.

На латы свет ложится безутешно  
Участником заведомой строки.  
Вода темна, а шорохи нездешни,  
И стрелками натянуты стрелки.

Спадает плащ. Крепки его объятья.  
Приблизится — не выпрямить хребта.  
О чём молчат сошедшиеся братья  
И не молчит густая высота?

---

БАЗИЛЕВСКИЙ Михаил Сергеевич. Родился в 1974 г. в Иркутске. Закончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Работает в Музее истории города Иркутска. Стихи пишет с 2010 года. Ранее нигде не печатался. Проживает в Иркутске.

## Страна

Она ещё раздроблена.

Татары

зело лютуют.

Собственные свары

не слаще.

Глубину постигшей кары

являет путь в Орду.

Темнеют травы, в них темнеют кости.

Не видно злака. Тихо на погосте.

Того гляди, опять нагрязнут «гости»

За горечью во рту.

Безмолвны реки, скорбны буераки.

Следы ночного бденья, точно знаки

Грядущей — во широком поле — драки,

Сползают по щекам.

В разрыве туч, нависших над равниной

Бровями князя — подлинно кручиной

Всея земли, — луна стоит с повинной,

Терпя вороний гам.

Нелёгко путь, и всё ж:

«Христос воскрес!»

Твердят уста, набухшие в замесе

Великих плачей. Ветром стали веси,

Но есть ещё земля.

Малец по грязи драпает от гуся.

Рожает мамка, охает бабуся.

В углу — икона. Он, почти не трусая,

Не трогает шмеля.

## Первый человек

Он ещё не обрёл своего праотца в обезьяне;

Не задумал спуститься с Олимпа бессильным божком;

Не сглотнул ядовитой слюны; не нашарил в тумане

Вавилонского плена — былого — больным языком;

Не поднялся в составе когорты египетской пылью;

Не напаялил овчину; не снял неповинную с плеч;

Не расправил на стенах собора античные крылья;

Не швырнул с содроганием пеплом летящую речь;

Не разлил по стаканам «за правое дело»; не сбросил

С хрипом с купола собственный образ в осенний угар;

Не взвалил, отмахнувшись, восторга; не высушил вёсел;

Не увидел на блюде беспечно обещанный дар;

Не протиснулся тенью в палаты; не вылепил тела

Из запёкшейся глины, взлетавшей над алым кустом.

Он сидит у воды и, неспешно принявшись за дело,

Приходящим даёт имена. Остальное — потом.

## Деревня

Ни плача, ни смеха, ни скудного брашна,

Ни лая, ни брёха, ни слуху ни духу...

Как будто печать — истощение чаши —

На всё, что когда-то несправдному уху



Несло переливы и сполохи звуков,  
Легла неотступно. Ни с ветра, ни с эха  
Не спросишь. Лишь тени тревожные внуков,  
Попавших в объятья минувшего. Веха

Печальной отметиной зримо застыла.  
Не с тем ли отложено тление, дабы  
Сюда попадающий в качестве шила  
В мешке обрётённое вынес? Ухабы

Да эти забытые накрепко ставни —  
Упрёком весомым торчащее «было» —  
Иссохшим пластом отстают от недавних  
Усобиц нелёгкого быта. Уныло

Качнётся калитка. И всё же остались  
Не только приметы подкопов, не только  
Наскальная песня — падение шали  
С плеча и по избам ползущие толки —

Живые узоры событий, которым  
Ответят ожившие губы старухи...  
Осевшая пыль достаётся просторам,  
Хранители коих ко времени глухи.

\* \* \*

Провинциальный город.  
Стайка домов из брёвен.  
След, как потёртый ворот,  
Тёмен и так неровен,

Лет, накопивших ворох  
Связей, намёток или  
Толков, осевших в норах, —  
В полувысоком стиле.

Что по нему отсюда  
Разве что восвояси.  
Грубое сходство люда  
С площадью, с темой вязи.

Горький туман барокко.  
Будни узоров. Сноски.  
Стёртая с уст пророка  
Память о щедром лоске

Сходство осипших окон  
И закоулков с телом.  
Лёгкая поступь. Локон,  
К свету летящий смело.

Скорбных побед. Усталость.  
Краски заборов. Скрипы.  
Скрытая в сердце жалость  
К сору растущей кипы

Тихая блажь, которой  
В пору тепло ладони.  
Тесный мирок за шторой.  
Складки одежд на склоне

Дней, очертаний, видов,  
Сбившихся здесь, у края...  
Тень, никого не выдав,  
Спит на стекле трамвая.

\* \* \*

*Ю. Кузнецову*

Пушкина нет. С этим, право, бессмысленно спорить.  
Пушкина нет. Чаадаев покинул сей мир.  
Что остаётся? Тихонько окошко зашторить  
И аккуратно на спинку повесить мундир.

Лечь на диван, на котором сходились когда-то  
Два соплеменника, вольно смыкая сердца.  
Лечь на диван по особому праву собрата,  
Томик раскрыть и читать, и читать без конца.

## **Прорастание**

В тишине очнувшихся широт  
Приложившись к неизбытым сменам  
Тёмных вех и вспенившихся вод,  
Он неслышно тянется по стенам,  
Силу обретая в сокровенном  
Вздохе потревоженных пород.

То ли свет туда его влечёт,  
То ли кровь, спешащая по венам,  
Предаёт себя и отдаёт  
Миру в уповании блаженном  
На весну. И близится исход.



## «Что толку плакать и тужить, Россию надо заслужить!»

20 марта 2013 года в Москве состоялся пленум Союза писателей России. Главным на пленуме прозвучал вопрос о русском языке и языках народов России. Председатель Правления Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев убедительно и ярко высветил проблемы современного русского языка. Валерий Николаевич полагает, что это вопрос, прежде всего, нашей духовной безопасности и существования всего русского народа.

Действительно, исторически сложилось так, что развитие русского языка и его миссия как языка-объединителя, языка державного, языка Победы начиналось от письменной традиции Кирилла и Мефодия — наших равноапостольных славянских учителей. Но что сейчас происходит с языком и с нами? Достаточно вспомнить, сколько низкопробной продукции хлынуло на прилавки книжных магазинов, загрязняя самое святое, на чём держалась русская жизнь, — домострой, целомудренность, верность, любовь к Родине, благоденствие.

Также на пленуме была представлена блестящая книга писателя Юрия Лошица о Кирилле и Мефодии, создавших кириллицу 1150 лет назад. Юбилей мы отмечаем в этом году. Книгу представлял сам писатель.

С развалом СССР как-то сразу, почти в одночасье, исчез переводческий цех. А какая была школа! Об этом с болью говорил известный народный писатель Якутии Николай Лугинов. Он прямо высказал мысль о том, что только русский язык давал ему возможность международного охвата, поскольку нет переводчиков с якутского на английский, французский, немецкий и т. д. И от этого страдает развитие культур малых народов. То же самое поведал и председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов.

Выступали писатели и с предложениями практических действий, направленных на сохранение и спасение русского языка: предлагали на фасадах зданий, на ограждениях, на рекламных щитах писать крылатые фразы великих русских писателей, например: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...» (А.С. Пушкин). И — портрет его. Или: «Славяне и Русь — одно есть». Приводилось высказывание Игоря Северянина: «Что толку плакать и тужить, Россию надо заслужить!» Говорилось о руководителях СМИ, телеканалов, о радио- и телеведущих: необходимо всех без исключения привести к экзамену по русскому языку и литературе и без лицензий, дающих право на вещание, к эфиру не допускать, дабы не размыливались и не извращались понятия русских слов и определений, а то получается вместо народа — электорат, вместо убийцы — киллер, толстосума — олигарх, разбоя — рэкет, вратаря — голкипер и т. д.

Все эти фьючерсы, дискурсы, дайвинги, брифинги — всё, что создает чуждую, антинародную среду и формирует иноязычный сленг избранных, необходимо убрать из обихода, как государственного, так и бытового. Этим самым исключить

целенаправленный извод нашего могучего русского языка. Об этом очень чётко сказал писатель Владимир Николаевич Крупин. Его выступление так и называлось «Тотальный диктат».

Также на пленуме заходила речь и о школьных программах, которые подверглись выхолащиванию и уродству. Дошло уже до того, что ученики старших классов не способны по часовым стрелкам распознавать время. Подавай мобильник. Необходимо вернуться к испытанным методикам образования.

Решено было по результатам пленума выйти с предложениями о спасении и сохранении русского языка на Правительство Российской Федерации.

*Василий Забелло*



**ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ**



## Русский язык — мощнейшая скрепа для нашего государства

Из выступления на пленуме  
Союза писателей России 20 марта 2013 г.

Уважаемые коллеги! Вопрос о русском языке, языках народов России не раз ставился на наших пленумах и собраниях. Нам кажется, в настоящее время он несколько затух, стал реже подниматься, его защитники и пропагандисты то ли устали, то ли не видят результатов своей работы. А между тем, всем ли ясно, что слово, если хотите, наш духовный строительный материал, только в отличие от кирпича и бетона он часто имеет не всегда объяснимую сложную структуру, иногда хрупкую, но в то же время прочную в веках, особенно, если народ и власть поддерживают его.

---

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич. Родился 3 августа 1933 года на станции Пестово Ленинградской области. Председатель Союза писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, вице-президент Международной Славянской академии, академик Международной академии творчества, Международной академии информатизации при ООН, Академии словесности, Петровской академии, доктор исторических наук, профессор.

В трёх выступлениях Главы государства в Сталинграде-Волгограде, на семейном форуме в Колонном зале и на встрече Президентского совета по межнациональным отношениям ещё раз подчеркнут государственный характер проблем русского языка, русской культуры и литературы. Ясно, что это уже не носит второстепенный, необязательный характер. Это вопрос нашей духовной безопасности. И разговор, который состоялся на Президентском совете, подтверждает, что русский язык — мощнейшая скрепа для нашего государства. Важны, конечно, нефтепроводы, железные дороги, но именно русский язык и есть самая мощная, духовная и необходимая скрепа в нашем межнациональном вопросе и в вопросе всего существования русского народа, нашей страны. Поэтому мы и продолжаем его на Совете писателей.

Таким он стал не из-за имперских амбиций русских людей, не из-за стремления навязать свой национальный дух, державную суть, а по причине того, что без глубинных объединяющих, общих смыслов, без его высочайшего устройства, без его культуры он не стал бы таким всеобъемлющим, державным. Пора всем понять, что русский язык — это величайший дар, ниспосланный нам свыше.

Русскому языку выпала миссия языка объединителя по причине того, что с первых времён своего развития, а главное, от письменной традиции Кирилла и Мефодия, 1150-летний юбилей которых мы отмечаем в этом году, от Киевской Руси он стал языком древнерусского, а затем и русского народа, языком высочайшей в мире культуры и литературы, науки и дипломатии, языком Ломоносова, Державина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Есенина, Шолохова, Солженицына, Распутина, Белова, Рубцова, десятков величайших искуснейших поэтов и прозаиков, стал языком мировой культуры, не знать, не чувствовать который, исказить который есть невежество, позор и бесчестие для нашего человека, для человека, действующего во всех направлениях жизни. Сейчас уже ясно, что беспорядок в языке, его сокращение, замена многих русских слов в языке ведёт не только к невежеству, но и к смуте в обществе...

Но мы не можем только посыпать голову пеплом, отчаиваться. В стране кое-что делается для русского языка. Да вспомним хотя бы Год русского языка и последующие события. Мы смогли провести собрания, конференции, выставки, организовали Всероссийскую союзную встречу русистов и писателей, установили памятник Русскому слову в Белгороде, русской учительнице в Дагестане. Установили памятный знак букве «Ё» в Симбирске. Моя четырёхлетняя внучка два года назад спросила: «Ты о чём думаешь?» «Да, есть люди, — говорю ей, — которые хотят говорить не ёжик, а ежик, не ёлка, а елка». Она задумалась и встревоженно спросила: «Они что, хотят, чтобы ёжик был без иголок?» Нет, ёжик останется с иголками. Не дали вычеркнуть, «выковырять» эту букву «Ё» из русского алфавита. Отдадим должное недавно почившему энтузиасту, инженеру и учёному Чумакову, многим ёфикаторам, нашему Союзу. Может же наша общественность и власти! Но предстоит сделать ещё больше. У нас законная тревога по поводу нашего объединителя.

Надо «встряхнуть» общество, высмеять невежество многих людей в плохом знании русского, надо делать модой хорошее знание русского языка. А для этого им надо помочь...

Ясно, что должны быть опорные пункты русского языка, обучающие, пропагандирующие, развивающие. Это практическая и организационная работа как в областях с преобладающим русским населением, так и в национальных объединениях. Этого надо добиваться, стучать во все двери.

На недавнем, происходящем под началом Святейшего Патриарха, Всемирном Русском Народном Соборе приводился опыт организации и строительства, создания областных и городских центров русской культуры, которые должны включиться в общероссийскую кампанию по упрочению, пропаганде и защите русского языка, безус-



ловно, и как языка государственного. Ну а пока таких центров нет везде, мы обязаны возобновить, создать курсы, школы, кружки, группы по русскому языку, принимать в этом участие. Ничего зазорного и начётнического в организации изучения русского языка гражданами России нет. Это важно и представителям других национальностей, ибо двуязычие — это расширение их кругозора, культуры, профессионализма. Один из экспертов недавно настаивал, что в закон о государственном языке надо написать, что русский язык делает граждан конкурентоспособными. Я не возражаю, но первым надо поставить вопрос о приобщении к великой культуре и знанию. А что касается двуязычия, то я, русский человек, учившийся в украинской школе и закончивший Киевский университет, знаю, что знание двух, трёх и более языков увеличивает духовную и профессиональную силу человека. На этих курсах надо поучиться, побывать, поучаствовать и русскому человеку, ведь на него обрушивается нынче из ТВ, СМИ море иностранных слов, иноязычных выражений, с которыми, к сожалению, никто не борется, не ставит им заслон. Удивительно, что такие слова появляются не только в технических науках, кое-кто из учёных-попрыгунчиков пытаются втиснуть их в словари. Да и вообще, появляется много фальшивых словечек, мифов, русские песни поются с вульгарным акцентом и неэстетическим хрипом.

Союз писателей, Всемирный Русский Собор со своими коллегами, чуткими администрациями из областей, предпринимателями решили установить премию «За чистоту и красоту русского языка». Да и сегодня можно назвать таких кудесников слова: Валентин Распутин из Иркутска, Юрий Лощиц и Владимир Костров из Москвы, Ольга Фокина из Вологды, москвичка Лариса Васильева, архангелогородец Владимир Личутин, вятч из Москвы Владимир Крупин, Ирина Семёнова из Орла, краснодарец Виктор Лихоносов, петербуржец Глеб Горбовский, оренбуржец Пётр Краснов и др.

Многие сегодняшние издатели считают литературой наспех сколоченные детективы, пошлые, насыщенные вульгарной речью и даже матом постельные мелодрамы. Они, изгнав редакторов и корректоров из издательств, плодят безграмотность и бескультурие.

Должна быть кропотливая и взвешенная работа филологов, писателей по составлению рекомендованного списка сопоставлений с иностранным языком. Нужно дать рекомендации к употреблению там, где это возможно, русских слов, вместо иностранных, я сказал об этом на встрече у президента. Мы должны составить и «список возвращения» старых, но коренных русских слов. Этот список начал в своё время А.И. Солженицын. Здесь и для нас большое поле деятельности.

Дорогие друзья! Нам надо в республиках и областях поддержать, заметить, поощрить специалистов, преподавателей, учёных — всех, кто проводит активную деятельность в сфере развития, пропаганды и защиты русского языка. Мы знаем, что слово, речь часто идут через народное творчество, сцену. Давайте от нашего имени и Союза писателей будем рекомендовать, присваивать лучшим художественным коллективам страны, небольшим группам, отдельным чтецам премию «Национальное достояние» за распространение, донесение людям чистоты и богатства русского языка, как и других языков. Ведь русский язык проходит в немалой степени и через искусство, народную песню, художественное слово. Надо восстановить Всероссийский конкурс чтецов на исполнение русского слова, попросить великого артиста, заведующего кафедрой художественного слова Василия Ланового возглавить его, представлять победителей конкурса всей стране (как танцоров или певцов). Очень важно рекомендовать всем организациям областей и республик, городов и сёл участвовать в проведении Дня русского языка 6 июня в день рождения А.С. Пушкина. В 2000 году, когда ещё шли бои в Чечне, мы, писатели, привезли туда 200 томов Пушкина. Чеченская учительница сказала: «Пушкина привезли, значит, война кончается». Так и случилось.

В связи с этим вносим предложение организовать во всех школах всероссийский, поэтапный обязательный конкурс ко Дню русского языка средних учебных заведений,

которые должны учитывать его результаты при поступлении в вузы, определив ряд из них как обязательных: МГУ, СПГУ, Новосибирский, Нижегородский, Екатеринбургский и другие университеты. («Умники и умницы» — блестящая передача, но только для МГИМО, а надо и для других вузов.)

И ещё о переводах. Помню, на одном из пленумов Союза писателей народный писатель Якутии Николай Лугинов, блестяще владеющий русским языком, но пишущий на русском и якутском, сказал: «Нам невозможно без русского слова, как и родного слова. Поэтому мы с лёгкостью переходим с одного языка на другой, оставаясь коренными якутами. — И, улыбаясь, закончил: — Я до 3-го класса считал, что А.С. Пушкин — якутский поэт». Вот какой была сила перевода и школы переводчиков с национальных языков на русский и, наоборот, в Советском Союзе. Мы обязаны восстановить её...

Обращаюсь к учёным, писателям, журналистам. Давайте развенчаем тенденцию, возникшую в период перестройки, когда у сочинителей разного рода нашлись в их сочинениях только исторические конфликты, столкновения и недовольства между народами. Давайте проявим усилия в показе большой исторической дружбы между ними, больше дружелюбия и взаимопонимания, как и в Советском Союзе. Ведь переплетение народов и языков такое же, как и ныне. (Вот, например, мои друзья Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Мустай Карим вышли на мировую арену с помощью русского языка.) И хочу выразить оптимизм, что Россия, её люди во многом очнулись. Они сбрасывают с себя иго информационных фантомов и затуманенных слов, вырабатывают иммунитет против них. Но для этого нужны ещё наши большие общие усилия.

И в этой созидательной работе по укреплению нашей Федерации неоценимую роль играет русский язык и как государственная скрепа, и как язык великой культуры и духа.

Итак, это абсолютно наш вопрос, главный вопрос писательских организаций, который должен встать в нашу повестку дня, в нашу оценку книги, работы писателя, и мы надеемся, что в ближайший год с вашим участием положение дел с русским языком станет значительно лучше и плодотворнее.



**АНДРЕЙ СТУПКО**

## **А потом — забыли...**

О СУДЬБЕ ПОЭТА АНАТОЛИЯ ОЛЬХОНА

Впервые с Анатолием Ольхоном я встретился в 1937 году в редакции Усольской районной газеты «Ленинский путь», где исправлял должность ответственного секретаря.

В тот день я с утра «сидел в крапиве». В мои обязанности входила окончательная подготовка материалов в очередной номер, его правка или, как мы говорили, доводка. А доводить приходилось изрядно. На мой стол ложилось совершенное сырьё, приходилось порой просто переписывать заново, чтобы подготовить что-то похожее на корреспонденцию или заметку. Удовольствие, прямо скажу, не из великих, потому-то это занятие и называлось «сидеть в крапиве».

К счастью, в комнате, где я работал, никого, кроме меня, не было, все сотрудники были «в разгоне», и дело шло споро.

В то время весь редакционный аппарат (четыре инструктора, машинистка, корректор и я — ответственный секретарь) помещался в одной комнате площадью метров шестнадцать. На «душу населения» приходилось по 0,4 стола, поскольку больше трёх столов втиснуть не удалось. Когда собирались все вместе, работать было абсолютно невозможно. Но странное дело: никто из нас не жаловался на тесноту, считалось, что так и должно быть. Все мы как-то приспосабливались, и газета выходила исправно пять раз в неделю на четырёх полосах.

Итак, я терпеливо «сидел в крапиве». Шли главным образом материалы о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР, и тут приходилось быть особенно внимательным — в те времена «ляпы» не прощались.

Но вот открылась дверь, и вошёл высокий худой человек с большим портфелем под мышкой. Откладываю свои бумаги в сторону — очередной посетитель, обычное дело. Что-то, однако, подсказывало мне, что он «не наш», не усольчанин, а приезжий человек. Обращали на себя внимание его уверенная манера держаться, необычно бледное лицо, которое выражало чувство сознания собственного достоинства и даже некоторой, едва уловимой, снисходительности.

— Ф-фу! Жара непереносимая! У вас тут хоть прохладно, — произнёс посетитель хорошо поставленным голосом. Он сел на стул, поставил рядом пухлый портфель и, достав платок, стал вытирать пот на высоком, с большими залысинами лбу. — Удивительное существо человек, — продолжал посетитель непринуждённо. — Зимой жалуемся на холод, летом — на жару. Привередливы. Вы не находите?

---

СТУПКО Андрей Григорьевич (1914 — 1984), родился в селе Боготол Красноярского края, известный иркутский журналист, бывший редактор газеты «Восточно-Сибирская правда», член Союза журналистов СССР, участник Великой Отечественной войны.

«Вероятно артист с гастрольями, — подумал я. — Сейчас достанет из портфеля странную заметку о гастрольях и будет уверять, что напечатать её нужно завтра же».

— Однако же, — спохватился посетитель, — позвольте назвать себя. Анатолий Ольхон.

Чувствую, что краснею, так как этого имени, вероятно, известного всем смертным, я не слыхал. Пытаюсь изобразить на лице приятное изумление, как будто встретился, по крайней мере, с Шекспиром.

— Только вчера приехал на ваш курорт отдохнуть. Что делать, здоровье пошаливает. У вас курят? — закулив и заложив ногу на ногу, продолжал: — Литература, я вам скажу, занятие весьма неблагодарное и уж отнюдь не лёгкое... Впрочем, я тут не оригинален. Но бывают, конечно, и приятные моменты. Вот только что вышел сборник моих стихов, — он щёлкнул замками портфеля и достал тощенькую книжечку в мягкой обложке. — Могу презентовать.

Пришлось покраснеть вторично. Чёрт его знает, что это такое — «презентовать». Чтобы скрыть смущение, с преувеличенным вниманием перелистываю книжицу. Издание весьма скромное, на плохой бумаге, да и страниц явно маловато. Но на титуле — «Анатолий Ольхон». Выходит, мой посетитель поэт. «Должно быть, писатель, вития», — почему-то сразу вспомнилось из Блока. Обращаю внимание, что почти все стихи в сборнике на северную тематику. Помню, там были стихи об эвенке, который на оленьей упряжке едет через всю тундру на суглан и поёт о счастливой жизни.

— Не будем терять времени, — снова заговорил гость. — Американцы не глупый народ, а они говорят, что время — деньги. Хотя наш разговор, разумеется, не о деньгах. Я принёс вам стихи, которые, думаю, будут сейчас ко времени. Если подойдут — напечатайте, буду рад видеть их на страницах вашей уважаемой газеты.

Стихи, конечно, напечатали (они были «в жилу»), и на том я забыл о «витии» из Иркутска.

Несколько лет спустя, когда я был заведующим сектором печати обкома партии, мне пришлось снова встретиться с Ольхоном. Память не удержала обстоятельств дела, помню только, что в кабинете секретаря обкома по пропаганде М.М. Смирнова на совещании идеологических работников (театр, писатели, художники) по какому-то поводу «прорабатывали» поэта. Насколько помню, ему инкриминировались идеологические вывихи, однако в чём они выражались, не помню... Это можно понять: я только что вступил в должность, порядков в партийном аппарате не знал и чувствовал себя белой вороной. Одно запечатлелось: Ольхон держал себя с достоинством, без вызова, но и без виноватой покорности. Во всяком случае, у меня осталось благожелательное к нему отношение. Он показался мне куда симпатичнее, чем при посещении усольской редакции, — человеком принципиальным, честным.

Это впечатление усиливалось по мере последующих встреч. Уже после 1949 года, когда я работал первым замом редактора «Восточно-Сибирской правды», встречаясь с Ольхоном в закопчённых кулуарах редакции, я проникся к нему большим уважением. В редакции он бывал часто. Зимой приходил обычно в высоких северных «кисах» из оленьего камуса с ремешками к поясу, с закутанным широким шарфом горлом. Неторопливо раздевшись, словно у себя дома в прихожей, но не снимая шарфа, здоровался и набивал табак трубку. Иногда приносил стихи, но это случалось не часто. Во всяком случае, он не одолевал своими стихами, как это позволяли себе иные поэты (главным образом, бес-талантные). Чаще же заходил просто так, «на огонёк».

Ольхон любил, когда его внимательно слушают, и сам умел слушать. Ему нравилось, когда ему возражали. Тогда он загорался, говорил красноречиво, убедительно. Спорить он любил, уважал своих оппонентов. Правда, таковых было мало в нашем, в общем-то, не слишком эрудированном в вопросах поэзии коллективе. Я принадлежал к числу «слушающих», а не спорящих, видя в нём своего рода подвижника — голодного, но благородного (что он был голоден, это я знал точно). В знак симпатии он снова «презентовал» мне сборник стихов «Восточный сектор Арктики».

Как поэт Ольхон был очень требователен к себе, к своему творчеству. Никогда не предлагал для печати стихи, которые в чём-то, хотя бы и малом, его не удовлетворяли. Но зато и изменить ни одного слова не позволял. Тут он был твёрд.

— У поэта, — говорил он, — каждая строчка выстрадана, каждое слово пропущено через сердце. Вам оно не нравится? Ничего странного в том не вижу. А для меня это слово единственное «то», другого здесь быть не может.

Как-то напечатали мы статью местного литературного критика, рецензировавшего сборник стихов молодых. Автор усердно хвалил одного из начинающих, писал, что в его стихах «слышится шелест осенней листвы» и прочее. Ольхон страшно разволновался. Жестикулируя зажатой в кулаке трубкой, словно пистолетом, он упрекал нас в нетребовательности.

— Такая, с позволения сказать, критика губит молодые таланты. Чем восторгается критик? (Ольхон прочёл одно четверостишие.) Ну, где тут, скажите на милость, «шелест осенней листвы»? Глагольные рифмы тут шелестят, вот что!

К характеристике Ольхона уместно вспомнить эпизод 1952 года. Тогда вся страна готовилась отметить 70-летие И.В. Сталина. Как известно, Сталин был в ссылке в с. Новая Уда нашей области. По этому поводу было написано немало строк в нашей литературе, в том числе и у Ольхона («На Курейке это было, на Курейке...»). Так как Сталин оставил след в наших краях, обком партии, естественно, решил, что и отметить юбилей вождя мы должны по-особенному.

Тогда-то и возникла мысль о том, что пребывание Сталина в сибирской ссылке должно быть увековечено поэмой. Кто мог написать её? Конечно, Ольхон. И его пригласили в обком партии к секретарю по пропаганде М.М. Смирнову. Как заведующий сектором печати, я, конечно, был тут же, вместе с другими работниками аппарата обкома.

После краткого общего вступления М.М. Смирнов поставил вопрос прямо: «Анатолий Сергеевич, вы должны написать поэму. Поддержка обеспечена, помочь мы готовы».

Казалось бы, вот она, фортуна! Вот конец безвестности провинциального (хотя и хорошего) поэта. Никто не сомневался в том, что Ольхон ухватится за это предложение. Но...

После минутного молчания Ольхон сказал:

— Боюсь, что моего скромного таланта тут мало. И потому категорически отказываюсь.

Все присутствующие зашумели. Чёрт знает что! Ведь слава, имя, наконец, деньги, которых у Ольхона нет, — это знали все — и вдруг!

— Не могу. Всей душой чувствую: не могу, — упрямо твердил Ольхон.

М.М. Смирнов подчеркнул, что поэма могла бы быть издана роскошно, дал понять, что при удаче обком мог бы выдвинуть произведение на соискание Сталинской премии.

Надо заметить, что звание лауреата Сталинской премии в то время котировалось чрезвычайно высоко. Пожалуй, даже выше, чем звание Героя Советского Союза. И, тем не менее, Ольхон, потупя голову, снова проговорил:

— Не могу, Михаил Михайлович, поймите, не могу.

Расходились с этого совещания шумно.

«Чудак, непрактичный человек» — на этом сходилось большинство присутствовавших при разговоре. А у меня возникло чувство безмерного уважения к этому уже больному и, по существу, нищенствующему человеку. Где-то подспудно чувствовалось, что отказ писать поэму по заказу — это не просто отказ от подачки, хотя бы и щедрой, но и нечто большее...

Ольхон и впоследствии часто заходил к нам в редакцию. Просто так, «поболтать». Ему не доставало аудитории, благожелательных собеседников. По-моему, он видел, что здесь его понимают.

...Умер А.С. Ольхон в Москве. В Кремлёвке, где он лежал, уже ничего не могли сделать — отказало сердце. Гроб с телом поэта доставили в Иркутск самолётом. Хоронили торжественно, с речами.

А потом — забыли...



## АНАТОЛИЙ ОЛЬХОН



### Дышит вечностью Байкал

#### Прибой на острове Ольхон

Пушечный сдавленный гром,  
Наковален тягучий звон:  
Это байкальский шторм  
Рвётся на остров Ольхон.

Полчищем пенистых грив  
Бьётся крутой прибой,  
Камень водой напоив,  
Ревёт боевой трубой.

Ударь, ударь, ударь!  
Твёрд и могуч Ольхон,  
Гранитом одета ярь  
Его четырёх сторон.

В разбег,  
В набег,  
В разгон,

Раскачивая волну,  
Обрушивай тысячи тонн  
На каменную вышину.

Удар! Удар! Сильней!  
Рушится пеной прибой.  
Камень воды верней —  
Он принимает бой.

Так бы и мне стоять —  
Грудью ветрам в упор,  
Тёмные волны мять,  
Славить седой простор.

Твёрдость у камня взяв,  
Остров Ольхон, с тобой,  
Бурям преградой встав,  
Я принимаю бой.



## Семён Дежнёв

Опустите бинокли!  
Там каменный берег,  
Там закутанный тучами  
Тёмный обрывистый мыс;

Там слетаются ветры из всех  
неоткрытых Америк  
И обтаявший лёд осыпается вниз.

Ясно вижу сквозь тёмную дымку столетий —  
Над волнами ныряет дерюжный косой парусок;  
С боку — бьётся другой;  
Распластался оборванный третий.  
Завывает ветрище.  
Пурга сыплет белый песок.

Посвинцовело море,  
И неба не видно.  
Надвигаются плотные, грузные льды,  
Погибают суда!  
Зимовать не легко и обидно:  
Растеряются жизни и чьи-то исчезнут следы,  
Голод станет томить,  
Смерть придёт — без могилы...  
Поглядите! Они всё идут и идут.  
Видно, есть на Руси удалецкие силы!  
Поговорки о них заклинаят беду:  
«Удалец — не утонет»,  
«Удачник — не сгинет»...  
Леденеющей бездной,  
Последней волной  
Вот на отмели эти судёнышки кинет,  
И гремучая гибель пройдёт стороной.  
Раскололись судёнышки.  
Жалкие кочи —  
Долотом да топориком сшиты суда,  
Но прошли, не робея, сквозь вьюжные ночи,  
По студёным морям залетели сюда.  
Капитан-командор Витус Беринг возвышен:  
Окрещён его именем русский пролив,  
А казак-мореход Сёмка Дежнев не слышен,  
Чуть не веком пораньше к Охотску доплыв.  
Эй, казак-удалец,  
Сын российской землицы!  
Эй, Семён свет Иванович, встань, покажись!  
Ишь, какой ты приземистый да круглолицый.  
По плечу тебе трудная, бурная жизнь.

Ишь, какой ты!  
В кафтане родного суконца,  
В доброй шубе медвежьей,  
В московских цветных сапогах...

Борода у тебя ярче рыжего солнца.  
Взгляд... пронзителен.  
Речь — скуповата, строга.

У костра ты стоишь, опираясь на саблю.  
Рядом дремлют товарищи странствий твоих,  
Зимовать будет люто.  
Ты шепчешь: «Души не ослаблю...»  
(Так и я говорю себе в час испытаний лихих.)

Не ослабнешь, Семён свет Иванович!  
Слава  
Подняла твоё имя на веки веков:  
Этот глыбистый берег  
России держава  
Закрепила границею материков.

...Опустите бинокли!  
Закройте зрачки фотокамер!  
Не глазами, а сердцем глядите в рассвет:  
Дежнев мыс над Чукоткой поднялся и замер  
Вечный памятник русских побед.

\* \* \*

Говорят, Байкал седой!	В бурю парус озорной
Ты не верь.	Не поднять.
Он такой же молодой	Серых чаек над волной
И теперь.	Не гонять.
Это ты, мой милый друг,	Постарели мы с тобой
Стал сидеть.	Навсегда,
И тебе уж недосуг	Но шумит, поёт прибой,
Песни петь.	Бьёт вода.
Острова лазурной мглы	Молодой вскипает шквал
Далеки.	В устьях рек.
Стали весла тяжелы	Дышит вечностью Байкал
Для руки.	Сотый век.

\* \* \*

Над Байкалом веют снегопады,	Невода и сети спят в амбарах:
Лебединый пух летит в тайгу.	Зимний лов начнётся в январе.
Мореходок серые громады	А сейчас — досужие зазимки —
Отдыхать легли на берегу.	Время свадеб, девичьих забот.
На гранитных тёмных крутоярах	Всюду шьют обновки и новинки...
Леденеют лапы якорей,	На Байкале так из года в год.

\* \* \*

...И вода в серебре,  
в серебре от зари,  
от светлеющих гор...  
...Мы идём налегке,  
Лодки словно летят  
В сетевом поплавке.  
Брызги света горят,  
Брызги света кругом.  
Весла режут хрусталь...  
За песчаным бугром

Раскрывается даль.  
Заскрипели рули —  
Круговой поворот:  
Это сеть повели  
Из сверкающих вод....  
Славься,  
мыс Онгурен!  
Вы, круты берега,  
Омуль ровный ядрен,  
чешуя — жемчуга...

\* \* \*

Зимний лов на Байкале хорош!  
Хороша промысловая страсть —  
После пышных декабрьских порош  
Лучше дела себе не найдёшь...  
Я люблю это время, мой друг!  
Голубые дымят берега —  
Облака уплывают на юг,  
Ватный пух осыпая вокруг.  
А в заливах под скатертью льда,

Под холстинами гладких снегов  
В прорубях загустела вода,  
Невидимкой плывут невода,  
Урожайный снимая улов.  
Закруглились сиговьи хребты,  
Осетровые жирны бока —  
Рыбьи стаи нагульны, густы...  
Погляди и порадуйся ты  
На удачливый труд рыбака.

\* \* \*

Есть такие места на Байкале:  
Век ищи — не найдёшь с фонарём,  
Дикий камень над морем оскален,  
Гнётся берег гранитным ребром.  
Есть одна гулевая дорога,  
Да не многим известна она —  
По ручью на Бобровую Прогаль  
Тайный брод в ледяных валунах.

.....

Лет за двадцать, а может, и доле,  
Неизвестно до точности как,  
Убежав в кандалах из централа,  
С голодухи здесь умер варнак.  
Говорят, что последний сухарик  
Сберегал, сирота, до конца.  
И остался сухарь как подарок,  
Для того, кто зарыл мертвеца.  
Схоронили его в моховинах,  
Даже места теперь не признать, —  
С той поры объявилась долина  
По прозванью Сухарная Падь.

\* \* \*

В чёрном сарае иркутской бондарни  
Делали бочку ядрёные парни.  
Клёпка в ободьях зашита на ять  
Днище запарено — не оторвать!

.....

Утром осенний прибой шевелил,  
Бочку пустую катал на мели.  
Клёпка в ободьях зашита на ять,  
Днище замкнуло — не оторвать.  
Вот ведь какая ловитва досталась:  
Лодка разбита, а бочка осталась...  
В мокрые доски вцепившись руками  
Старый рыбак выплывает на камни,  
Сивая пена стекает с усов —  
В море мотало двенадцать часов.  
На бороде ледешков оторочка —  
«Славный корабль — омулевая бочка»...  
Волны, собравшись в последний рывок,  
Бросили груз на белесый песок.  
Чайка спустилась, понюхала тело,  
Крикнула ветру и вновь улетела.  
Солнце на сопку уселось и ждёт:  
Если не умер — ещё поживёт...

*Мастерская художественного очерка  
«Невыдуманные истории»*



ОКСАНА ГОРИЧ



## Черёмуховый пирог

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

### Победа

Когда живёшь рядом с железнодорожной станцией, железная дорога постоянно присутствует в твоей жизни. С гудками локомотивов ты засыпаешь и просыпаешься. Станция — это запах креозота, которым пропитывают шпалы, нагретых рельсов, мазута и машинной смазки от пролетающих составов. Это — лязганье буферов останавливающихся вагонов, скрип тормозных башмаков, гудки локомотивов, невнятные лязгающие переговоры по громкой связи, прибои и отливы шумной толпы провожающих и встречающих на перроне. Это красные и зелёные огни светофоров, синие маневровые огни и яркие станционные прожектора.

Но прежде всего это — люди, люди дороги — железнодорожники: дежурная по станции в красной фуражке, с флажками в руках; осмотрщики вагонов в оранжевых жилетах с молотками на длинных ручках, а также связисты, путейцы, энергетики, вагонники... Но главными людьми дороги всегда остаются машинисты — локомотивные бригады в форменных костюмах с золотыми пуговицами и в форменных фуражках с лаковыми козырьками, с маленькими чемоданчиками. Наверное, в портовых городах

---

ГОРИЧ (Костромина) Оксана Анатольевна. Родилась в 1963 г. в г. Зиме Иркутской области. Окончила биолого-почвенный факультет Иркутского госуниверситета. Кандидат сельскохозяйственных наук. Работает в сфере экологического образования детей и на лесопромышленном факультете БрГУ. Публиковалась в журнале «Сибирь», альманахе «Иркутское время», областной газете «Культура», сборниках «Шклинда».

такими восхищёнными взглядами провожают капитанов морских судов. Машинист спокойно управляет огромными машинами — локомотивами, за которыми тянутся десятки вагонов. Машинист — это элита дороги, её главная движущая сила. Недаром локомотивы на дороге называют подвижным составом. Вся жизнь железнодорожного посёлка подчинена ритмам и дыханию железной дороги.

Мои предки начали работать на железной дороге, как только появился Транссиб — в самом начале уже прошлого века. Прадед Андрей Ефимович был путевым обходчиком. Каждый день обходил он свои километры, проверял стрелки, отмечал неполадки, словом, отвечал за безопасность движения. Он был репрессирован в 1937 году, позже — реабилитирован. «Попал в процент», — грустно прокомментировала официальные бумаги его дочь.

Говорят, его забрали с работы, и он наверняка знал, что не вернётся. Как уходил этот высокий сильный человек? Что чувствовал, когда его забирали? Ведь он оставлял дома своих женщин: жену Елену и двух маленьких дочерей — Шуру и Нину, младшей едва исполнилось восемь лет. А за стеной их лиственничного пятистенка, который они с братом Леонидом вручную разобрали и перевезли в Зиму из деревни за 70 километров, оставалась совсем молоденькая невестка с четырьмя детьми старшего сына, причём мальчишки были совсем маленькими. Старшие сыновья Михаил и Семён тоже работали на дороге, их тоже могли забрать. Прадеда и его брата Леонида вскоре расстреляли здесь же в Зиме.

Дед Михаил Андреевич ездил помощником машиниста ещё на паровозах, как-то попал в крупное крушение. Был репрессирован в 1938 году. И долго от него не было никаких вестей — ни хороших, ни плохих. А его брат Семён метался по Зиме, спасал оставшихся — он работал в паспортном столе и на волне переписи населения чуть изменил фамилию. Безжалостная судьба, ожидавшая семьи репрессированных, прошла мимо. Вскоре он уехал из города, ушёл на фронт и в Зиму больше не вернулся. Дед же год провёл в Иркутской тюрьме, каждый день ждал, что назовут его имя, и вернулся — повезло. О тюрьме никогда ничего не рассказывал, вообще стал замкнутым, правда, избавился от язвы желудка.

Машинистом деда уже не взяли, и он стал часовым мастером, только не обычным, а железнодорожным. В его ведении более тридцати лет находились все станционные часы на больших и маленьких станциях и полустанках от Нижнеудинска до Иркутска. И все эти часы должны были правильно показывать время, ведь по ним проходила вся жизнь железнодорожной станции: люди спешили на свои поезда, дежурные по станции выходили встречать и провожать составы.

Ещё с послевоенных времен остались в доме трофейные немецкие напольные часы. Они были для нас такой же частью этого дома, как коврик на стене с тройкой лошадей и волками, ручная швейная машинка, массивный комод, фанерный шкаф и кожаный диван, сделанные руками деда. Вещи всегда находились на своих местах. Они давали ощущение постоянства и покоя. Часы же были душой дома, его неповторимостью.

Дед Миша тоже носил форменный чёрный костюм и форменную фуражку. У него был даже летний форменный костюм из голубого льна, а пуговицы на нём были не золотые, а белые, но все равно железнодорожные — с молоточками. Таким он и запомнился мне: молчаливый, строгий, даже суровый, неожиданно голубоглазый, с ключей седой щетиной и венчиком седых волос вокруг обширной лысины, с часовым моноклем и запахом «Шипра». Чаще всего я видела его со спины — за столом, где он чинил часы, или за рулём машины. Папа с возрастом всё больше на него похож, особенно когда сидит, склонившись, за рабочим столом.



Многие, кто работает на дороге, часто находятся в разъездах на своём участке. Моя мама, Валентина Кирилловна, почти тридцать лет ездила каждую неделю на небольшие тяговые подстанции — она была энергетиком. Если мама не пришла вовремя с работы, значит, приедет вечерней электричкой из Тулушки, Нюры, Харика или Заларей. Папа, Анатолий Михайлович, работал связистом. Он часто возил поверять измерительные приборы — его КИП занимался проверкой реле, управляющих светофорами, а значит, и движением локомотивов. Моя сестра Надя, тоже связист, объездила со своей подвижной лабораторией всю Восточно-Сибирскую железную дорогу, включая БАМ, — от Игирмы и Усть-Кута до Гусиног озера и Петровского Завода. Железнодорожники по природе своей кочевники — люди, лёгкие на подъём.

Этот дух дороги, желание управлять движущимся механизмом, любовь к скорости, по-видимому, не оставили деда, когда он перестал ездить на паровозе. Его выдавала то походка, то лихо сдвинутая на затылок форменная фуражка. Поэтому неудивительно, что в пристройке у дома сначала появился чёрный блестящий мотоцикл с коляской. Мотоцикл с коляской в то время заменил лошадь и долгие годы был основным средством передвижения в деревнях и посёлках. Охота и рыбалка, заготовка сена и картошка — ничто не могло обойтись без него. Он давал свободу перемещения по обширным сибирским пространствам, ощущение дороги.

А потом, уже в гараже, появилась настоящая машина с бархатными сиденьями и брезентовым верхом — первый послевоенный кабриолет(!) — «Победа». Коричневая, как бы приземистая, но проходимая. Блестящие ручки на дверях можно было покрутить, окна дед разрешал открывать только с одной стороны — чтобы не было сквозняка. Светлый костяной руль так и манил посигналить. Ощущение мощи и надёжности было не случайным. Однажды мы выезжали с дачного посёлка, дед вышел из машины, чтобы открыть ворота, да разговорился со знакомым. Машина стояла на пригорке, тихонько поехала вперёд и врезалась в массивные литые ворота. Удар вышел чувствительным — мы были детьми, но до сих пор помним этот случай. Машина и ребяташки в ней практически не пострадали, только испугались. А упавшие ворота ремонту не подлежали. «Победа» прослужила деду 28 лет.

Дедушка много ездил по окрестностям, не только по ягоды-грибы, на рыбалку, но и к многочисленным родственникам, которые жили в соседнем Куйтунском районе, за 80–100 километров от Зимы. Бабушка и в 90 лет могла перечислить всех многочисленных родственников с их потомками и помнила, кто и где живёт. Она имела счастливую способность, разговорившись с попутчиком, найти или дальнего родственника, или общего знакомого, или земляка. Ей было уже за 80, когда она самостоятельно ездила в Братск хоронить свою тётю. Та дожила до 102 лет.

Центральная дорога — Московский тракт, тогда была грунтовой, так что и 60–80 км/ч по ней было много. А о просёлочных дорогах вообще можно не говорить. Но дедова «Победа» проходила везде. Ровно стелилась гравийная грунтовка, встречались и выбоины, и «стиральная доска». Светлые берёзовые колки с запахом прелой листвы, в которой таились семейки груздей, встречались подберёзовики и обабки, сменялись сухими песчаными сосняками, просвеченными солнцем со свежим запахом нагретой смолы, с маслятами и брусникой. На остепнённых пригорках около Кимельтея и по ЛЭП было много земляники, в сосняках возле Борового росли белые грибы, а в заболоченных низинах по берегам реки Зимы собирали голубику. Только за черникой и кедровым орехом нужно было ехать далеко в предгорья Саян.

В сторону Куйтуна далеко тянулись совхозные поля с лесополосами из осины и черёмухи и группами берёз. Часто попадались просёлочные дороги, ведущие к маленьким деревушкам — Бурук, Харик, Чаловка, Барлук, Када, — не все они сохрани-

лись до наших дней. А ведь это были первые поселения переселенцев. Тогда ездили неторопливо, если по дороге попадалась выпавшая с грузовика чурка, останавливались и складывали чурку в багажник — чтобы не мешала проезду, да и не пропадать же добру. Могли остановиться на обочине, чтобы передохнуть, перекусить.

В летнюю жару дед загружал полную машину ребятишек и вёз на речку. Обычно ездили на более мелкую и тёплую Зиму, в мелководное место, которое называлось Шехолайкой, или на Муру. Вот где можно было наплескаться вволю! Зима, как и многие подобные ей речки, берёт своё начало высоко в горах. В верховьях Саян снег таял в июне, и спокойное течение реки становилось особенно бурным, вода поднималась на несколько метров, её мутные воды выгоняли ребятню и рыбаков, заливали дорогу, отрезали от внешнего мира небольшие посёлки.

Ездили купаться также на карьеры под деревней Норы, откуда возвращались обычно с молоком и мёдом, и на другую, совсем маленькую речку Ухтуйку. В ней и купаться-то было можно только потому, что её перекрывали запрудой. Рядом с этим местом находилась бабушкина и дедушкина дача.

В детстве верхом блаженства было проехать с ветерком в дедовой машине на переднем сиденье — стажёром, и не страшно, что при этом нужно выбегать открывать и закрывать ворота. Я ездила чаще других внуков, потому что была старшей. Правда, когда приезжал двоюродный брат Игорь, это место доставалось ему — ведь мальчик и гость. Я обижалась, но потом выросла и полюбила ездить на заднем сиденье.

\* \* \*

Дача была построена почти сразу после войны. Она несколько не напоминала настоящие столичные хоромы с роялем и большими застеклёнными верандами. Это был просто огород в десять соток, который тридцать лет кормил всю большую дедову семью. Небольшой домик был построен из тарной дощечки (другого стройматериала тогда не было), снаружи стены были обиты толем, а изнутри заштукатурены. Стены и крыша защищали от непогоды, на железной буржуйке можно было вскипятить чай, покушать и отдохнуть в тени и прохладе. Но от порывов осеннего ненастья стены домика дрожали и дребезжали стёкла. У входа в домик висел буйный хмель, а перед окном рос куст сирени. Дед срезал душистые цветущие ветки садовыми ножницами на букет и на просушку для лекарства от радикулита. Тяжёлые душистые гроздья сушились на веранде, и воздух, наполненный ароматом сирени и прогретый на солнце, можно было резать ножом. Удивительное дерево эта сирень — чем больше её стригут, тем богаче она цветёт на следующий год.

Ребятишкам на даче было раздолье — тёмные лазы и засады в буйных кустах чёрной смородины, душистые колючие малиновые заросли, постройка штаба на защитной полосе у забора и, конечно, купание в Ухтуйке. Дед Миша строго следил за порядком на участке. Сам собирал клубнику (иначе бы потоптали), колючий крыжовник и огурцы, сочные хрупкие плети которых свисали с гряды. Нам доставались горох и морковь, мы собирали малину и крупную блестящую чёрную смородину. Варенья хватало на весь год — до сих пор варенье из чёрной смородины моё самое любимое.

Вечером мы поливали грядки и умазывались с ног до головы, нас приходилось отмывать перед отъездом домой. Вода в бочках нагревалась на солнце, в шлангах она тоже была почти горячей, и можно было обливаться прямо на участке или идти купаться на Ухтуйку. И никогда мы не уезжали с дачи без букета цветов, которые бабушка выращивала перед домиком. Среди всех прочих самых разных цветов, у бабы Маши всегда была грядка с гладиолусами. Первые луковицы гладиолусов бабушка с дедом привезли из Заводоуковска, с похорон самой младшей и любимой (как любят младших) дочери Нины, рано и скоропостижно ушедшей из жизни. В её палисаднике

также раскрывались розовые, белые и багряно-красные цветы. До сих пор, уже на даче моих родителей, всегда есть грядка с гладиолусами...

Дед рано покинул нас, почти сразу после выхода на пенсию. Наверное, сказались и давнее крушение, и тюрьма, и трагическая гибель младшей дочери. Но в свой последний год он успел поездить на новой машине — папа по талону купил только появившиеся «Жигули» — белую «копейку», как теперь говорят. Тогда она была как современный самолёт рядом с повидавшей виды «Аннушкой». После «Жигулей» за руль «Победы» дед больше не сел.

Много позже, когда не будет ни деда, ни его «Победы», я буду приезжать на дачу на велосипеде — своём многострадальном «Урале», чтобы полить бабушкины грядки. И так же будут мелькать мимо меня водокачка на Сенном, домики с буйной сиренью в палисадниках, большой магазин на Стеклянном и знаменитые зиминские болота. Так же будет печь солнце, и гомонить ребятня на пляже. Но у меня не будет времени, чтобы искупаться в Ухтуйке.

## Картошечка

Из века привычны крестьянские заботы: скотина, огороды, а также охота, рыбалка, заготовка сена и дров. На огородах господствовала картошка, которую недаром называют «сибирским хлебом». В наших краях — с холодной весной и ранними заморозками — с картошкой можно и самим прожить, и скотину вырастить. Да и урождается картошка здесь особенно вкусной. Конечно, тайга тоже кормила: и грибы, и орехи, и брусника с черникой, и дичь, и рыба в быстрых таёжных речках. Лес стал для них кормильцем и домом — благодатным и обжитым: со звериными тропками, заповедными ягодниками и грибными местами, столетними кедрками и клюквенными топками болотцами. И относились они к тайге, как относятся к отчему дому, — с заботой и благодарностью.

Картошки же всегда садили много. Далеко тянулись ее полосы, часто ничем не огороженные. И работы с ней тоже хватало: прополоть от колючих сорняков, да не раз, окучить, подгрести побольше земли. Огребать картошку лучше вдвоём — каждый со своей стороны, — быстрее получается, и работа за разговором спорится.

Копать же обычно выходили всем миром. «Картошка колхоз любит», — приговаривала баба Маруся. И действительно, споро выкапывали картошку сначала одним, а потом другим. Бабушки копали руками, бережно перебирая земляные комья. Нам же больше нравились различные «копорульки» — приспособления, согнутые из толстой стальной проволоки. Картошку сразу же сортировали на «едовую» и семенную. «Если можно очистить — на еду», — учила бабушка. Во время работы можно поговорить «за жизнь» и много неожиданного узнать о своих близких, другой возможности так поговорить я и не припомню. А потом ещё подсушивали картошку на воздухе, снова перебирали и засыпали в мешки. Мешки и были самым большим дефицитом, хотя нужны были лишь на время — довести картошку до подвала. Городские жители тоже выращивали картошку, часто на постоянном поле. И эти поля не имели оград и ворот — только межи, никем не нарушаемые.

Сколько раз соприкасались картофельные клубни и человеческие руки? Сколько раз за эту сотню лет проходила через эти руки наша серая лесная сибирская земля? Каждая горсть этой земли согрета и одушевлена человеческим теплом. Говорят, что есть память у воды. А у земли есть память? И что она вспомнит о нас?

Школьниками — класса с пятого — мы каждую осень ездили в колхоз «на картошку» — помогали убирать урожай. Копали вручную: механические картофелекопалки, за которыми нужно лишь собирать картошку, появились только в начале восьмидесятых. Чего только не передумаешь в неяркий осенний день на бесконечном картофельном поле... В студенчестве выезжали «на картошку» на весь сентябрь, жили в палатках или вагончиках, умывались холодной водой и не могли избавиться от земли, постоянно скрипевшей на зубах. Но зато было деревенское молоко и сметана, дискотеки и песни у костра, ночные душевные разговоры и первые свидания.

А сколько картошки пришлось перечистить, особенно в студенчестве — в колхозе или на практике, — ведёрные бачки! Очистить молодую картошку просто — тонкая шкурка легко слезает под пальцами. Баба Маруся чистила её щепочкой. Ещё она умела доставать первые картофельные клубни из земли, не повреждая сам куст, чтобы другие более мелкие клубни наливались.

Потом шкурка становится толще, и всё сложнее её срезать тонко и чисто. Однажды я видела, как чистила картошку прабабушка Настя. Она была высокой костистой старухой в традиционном платочке, потолок избы при ней казался ниже. И руки были под стать — крупные, мосластые. А в руках вилась тонкая, почти прозрачная шкурка идеально ровной спиралью. Я спросила прабабушку, как у неё получается такая тонкая шкурка? «С войны привычка осталась, — ответила мне баба Настя. — Только картошкой и выжили».

После того как картошка убрана и засыпана в подвал, можно было передохнуть. Картошка заканчивала летнюю пору заготовок. После неё шли только кедровые орехи и, совсем по морозам, клюква. Окончание этой летней поры принято было отмечать драниками. Это блюдо из картофеля предки, вероятно, вывезли из Белоруссии, а здесь, в Сибири, оно обрело новую жизнь. На драники приглашали родню, угощали соседей. Они получались поджаристыми, нежными и душистыми. Их ели с деревенской сметаной. И никто не задумывался о холестерине и здоровом образе жизни. Это было просто вкусно. До сих пор любимое блюдо в нашей семье — драники, особенно из молодой картошки.

Когда заканчивали с огородом, прибирались в доме: белили потолки и печи, стирали шторы и половики, чтобы ноябрьские праздники и первые морозы встретить в чистом доме. Но оставалось ещё одно большое крестьянское дело, для которого был нужен хороший мороз, — забой чушек и заготовка мяса на долгую зиму. Это тоже было коллективным делом. Принято было приглашать родню «на свеженину». Мужчины занимались забоем скота и обработкой шкуры. От тщательности и правильной последовательности действий зависело качество сала. Женщины приносили мужчинам горячую воду, делали колбасу из свежей крови с рисом или гречкой, готовили свеженину — жарили парное мясо и печёнку.

И всегда за столом собиралось много родни. Многие и виделись-то раз в год, на таких встречах. Поэтому было много разговоров и любимых песен. Пели и «Ромашки спрятались», и «Вот кто-то с горочки спустился», и «Рябину», и «Катюшу». Люди за столом были разного возраста и образования, дома каждого ждали свои тревоги и заботы, но в этот момент их голоса звучали звонко и слаженно.

...Августовское утро. Поднимается над крышами уже неяркое солнце. Я смотрю с крыльца, как мой сын идёт с вилами на картофельное поле. Вскоре и мы все подтянемся туда с ведрами, мешками и копорульками. Нужно выкопать картошку, пока стоит сухая погода. А ближе к вечеру я уйду с поля пораньше с ведром новой весёлой жёлтой картошки, чтобы встретить вернувшихся с поля детей горкой душистых румяных драников.

## Черёмуховый пирог

Говорят, когда кто-то летает во сне — он растёт. Я встречала человека, который летал во сне всю жизнь. А я вот всё больше на земле — бегу, еду на поезде или на машине, перебегаю по лестницам, мостам и тоннелям, плутаю по домам и коридорам... Как было сказано: «И да будет тебе всякое место в перемещение...»

Однажды мне приснился родной город, знакомая до каждой былинки улица, на которой когда-то жили мои бабушка и дедушка. Всё было как всегда, всё на месте — и аптека, где мы покупали гематоген, и стадион, где катались на коньках и лазали через дырки в заборе, и небольшие домишки вокруг, и даже черёмуха в палисаднике... Только дома не было — совсем не было, словно и не существовал никогда. А черёмуха стояла в белой пене цветов, и её свежий листок отдавал знакомым горьковато-терпким запахом.

Бабушка с дедом жили в двухэтажном деревянном доме с высоким крыльцом. Он хранил спокойную тишину и обжитое тепло. В их небольшой квартире на первом этаже били часы и стояла тенистая прохлада, потому что в палисаднике росли раскидистые черёмухи и яблони. Прорывавшийся иногда солнечный блик играл на полу причудливыми тенями. В кухне стоял буфет и большой стол, а в русской печи всегда томилось для нас что-нибудь вкусное: пшённая каша с поджаристой корочкой, клюквенный кисель, пельмени, пирожки или тонкие ажурные блины. Перед топкой дед точил нам бритвенным лезвием цветные карандаши. А на самой плите мы частенько пекли тонкие картофельные ломтики.

На черёмуху, что росла перед широким кухонным окном, дед Миша зимой вешал кормушку для птиц и прилаживал кусочки сала для синиц. На кормушке господствовали голуби, а вёрткие синички клевали сало, свешиваясь вниз головой, и грузных голубей совсем не боялись. Кусочек сала становился похожим на белого ёжика. А птичий гомон не стихал с утра до позднего вечера.

Маленькие сибирские яблочки мы собирали для своих самострелов. После первых заморозков эти кислые яблочки становились таинственно прозрачными, словно светились изнутри, и необыкновенно вкусными, так что мы не слезали с веток и заборов. В палисаднике мы строили штабы, играли в войну, гоняли по крышам сараев и стоек. В стайках жильцы дома держали немудреное хозяйство: чушек и курей или кроликов. Или просто хранили старую мебель, велосипеды, запас угля и дров, а под самым потолком висели берёзовые веники для бани. Поэтому в стайках пахло угольной пылью и сухими берёзовыми листьями, а лучи солнца, пробиваясь через щели, играли на танцующих пылинках. С крыш сараев можно было бесплатно посмотреть футбол на соседнем стадионе или спрятаться на время от взрослых, словно для важных дел. С этим домом было связано много весёлых и грустных воспоминаний, встреч, шумных провадин, грустных песен, маленьких радостей и кровных обид, бесконечных детских игр и страшных историй. Но самым сокровенным воспоминанием был, пожалуй, бабушкин черёмуховый пирог.

Берега Оки и впадающей в нее Зимы буквально утопают в тенистых, непроходимых зарослях черёмухи. Весной, когда черёмуха цветёт, воздух кажется пряным и тягучим, а вода реки немного горчит. Ягоды словно вбирают в себя яростное тепло короткого сибирского лета. Сначала они ярко зелёные, потом буреют и, наконец, становятся чёрными и сладкими. Но урожай черёмухи бывает не каждый год. А когда это всё же случалось, то собирать ягоду ехали всем семейством. Конечно, мелкота, вроде нас, успевала и в речке накупаться, и ягоду пособирать. Взрослые аккуратно верёв-



ками пригибали ветки, чтобы мы могли достать черёмуху. Сначала ягода собирается легко, бодро стучит о дно бидона, частенько попадая в рот, но вскоре язык и нёбо становятся шершавыми и неповоротливыми, приходится бежать к бабушке и просить воды. Сбирать черёмуху нужно чисто, без плодоножек, потому что потом их трудно выбирать. К веткам всё равно нужно тянуться и стараться их не сломать. Постепенно жара спадает, но появляются комары, в тени кустов им особенно вольготно. Сбирать ягоду становится всё труднее, но вот, наконец-то, посуда заполнена, можно ехать домой.

Дома баба Маруся подвяливает черёмуху в печи, а потом рассыпает в один слой на ровные поверхности, застеленные чистой марлей. Сладкий запах сохнувших ягод словно вбирает в себя уходящее лето. Потом деда Миша увозит высохшие ягоды на мельницу, где их перемалывают в муку. Конечно, можно и не сушить ягоды, а перемолоть их на мясорубке и сварить с сахаром. Но настоящий черёмуховый пирог получается только из настоящей черёмуховой муки.

Выпечка пирога занимала целый день. Ещё с вечера баба Маша ставила тесто и несколько раз за ночь вставала его подбить и обмять. С утра пораньше протапливалась печь. Бабушка двигалась по кухне легко и быстро, ловко заваривала черёмуховую муку, раскатывала тесто, поверх черёмухи накладывала ажурную сеточку из узких полосок теста и оставляла пирог подниматься. Из печи доставали высокий пирог с красивой жаристой корочкой по краям, но главной в пироге была черёмуха. Казалось, что вкуснее запаха просто не может быть. Из остатков теста получались душистые пирожки.

Но бабушкино священнодействие на этом не заканчивалось. Нужно было ещё остудить пирог и намазать его сверху сметаной, сбитой с сахаром. Конечно, сметану брали специально деревенскую, в которой ложка стоит. Она намазывалась в несколько слоев, и каждый слой должен был загустеть в прохладе. Для этого пирог ставили в маленькую кладовку и запирали от нас на замок.

Мы носились по улице, пытались продолжать свои бесконечные игры, но нас снова и снова влекло к маленькой дверце кладовки. Бабушка совала нам пирожки и выгоняла на улицу.

И, наконец, пора! Все торжественно садились за обеденный стол, и каждому отрезали по большому куску пирога. Тесто было пышным, но слой черёмухи и сметаны ничуть ему не уступал. Черёмуха теряла свою терпкость, в ней оставалась только душистая сладость, которая гармонировала с кислотой и прохладой сметаны. Пирог таял во рту и был вкуснее всех тортов, которые я пробовала в жизни.

Давно нет с нами дедушки. Тёмные волнистые волосы бабы Маруси стали совсем белыми, но прежними остались их плавные волны, а тёмные глаза такие же «черёмуховые». Она много лет прожила совсем в другой квартире. Но в ней также негромко били часы, а наших несчастных приездов ждал черёмуховый пирог, испечённый в обычной электрической духовке. И вкус этого пирога переносил меня в тот деревянный дом, в кухню с русской печью и большим обеденным столом, за окном которой цветёт черёмуха.



## ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

### «Дорога, дорога, ты знаешь так много...»

Велики земные пространства российские! Диву даёшься, как это в наши края добирались люди в прошлые века, какое же надо было иметь терпение и мужество!

А вот нам, жителям XX, а теперь уже и XXI века, кажется нестерпимо долгим и трудным путь по железной дороге от Москвы, например, до Владивостока. И всё же... Любил и любит русский человек путешествовать. А уж чего только не случается в дороге! Поэты, я уверена, долгие свои поэмы сочиняют именно в вагоне мчащегося поезда, прозаики обдумывают хитросплетения романов под стук колес. Я же хочу рассказать историю, которая произошла со мной в пути и неожиданно ярко высветила удивительный характер, а точнее, прекрасную душу простой русской женщины, с которой жизнь столкнула меня всего лишь на несколько минуток.

В то лето выпало мне счастье съездить в командировку в Белокаменную. А поскольку там вот уже несколько лет живет мой единственный сыночек, то сердце моё встрепенулось, как певчая птичка, и...

Поезд «Хабаровск — Москва» ни шатко ни валко докатился до Ярославского вокзала. Артём и Елена встречают меня на перроне — и все московские новости обрушиваются на меня...

Но вот и пролетели эти две недели радостных встреч, попыток наверстать прошлое, увидеть не виданное раньше. Драгоценные минуты, проведённые в семье сына. Известно, что всё хорошее кончается слишком быстро. Со слезами я упаковывала сумки.

Провожали меня моя московская подруга Лида и Артём с Еленой. Поезд на восток по-московски равнодушно ждал сибиряков на Ярославском вокзале. Растолкав вещи в моём купе, мы вышли из вагона и говорили друг другу прощальные слова, как вдруг Алёна побледнела и стала медленно клониться в сторону. Глаза её закатились, и лицо стало страшным. Она тяжело шлёпнулась возле самых колёс состава.

Тем временем объявили посадку, пассажиры заполнили вагоны, и проводница окликнула меня, с ужасом наблюдая за происходящим возле нашего вагона. Поезд, словно корабль пустыни, потихоньку поплыл вдоль бетонной стены, у которой стояли мои дорогие москвичи. Уже из вагона я увидела, что Алёна пришла в себя, улыбается вымученной улыбкой, а Лида и Артём держат её под руки и кричат: «Счастливо! Счастливо!..» И машут мне свободными руками. Я попыталась помахать им в ответ и вдруг обнаружила, что крепко держу в руке желтый полиэтиленовый пакет с ручками, тот самый, что сунул мне Артём, когда возился с Леной. Поезд быстро набирал ход, платформа кончилась, и колёса зачастили, затараторили на стыках.

Заглянув внутрь пакета, я ахнула: Боже мой, там оказалась папка, набитая, вероятно, деловыми бумагами. В пакете ещё лежали сколотые скрепкой листы с какими-то

списками. Артём должен был с вокзала явиться на работу. Как-то вечером на кухне он рассказывал, что затеянное им некое благородное дело вполне устраивалось, оставалось только открыть счёт в банке, вся остальная документация уже оформлена. А для того чтобы открыть «своё дело» под крылом у г. Лужкова, тогдашнего мэра, надо было до упаду носиться по всей Москве, заключая соглашения, собирая разрешения, регистрируясь в десятках кабинетов... И вот результаты этой сумасшедшей деятельности были сейчас в моих руках, и как возратить их сыну — Бог знает. Поезд идёт до Иркутска четверо суток, а сколько будет идти посылка до Москвы — и дойдёт ли вообще?... Короче, куда ни кинь, всюду клин.

Всё это пронеслось в моей голове под стук колёс несущегося уже во весь опор поезда. Я всё ещё стояла у окна против проводнического купе в полной растерянности. Подошли проводники и поинтересовались, почему я здесь, а не в купе, как все другие пассажиры. Я рассказала им свою историю, начало которой они наблюдали на перроне в Москве.

— Ну, не расстраивайтесь так, — окружили меня проводники. — Вот доедем до города Данилова — это через два часа после Ярославля, там поезд стоит двадцать минут, а железнодорожный почтамт прямо на перроне, вы успеете отправить ваши вещи по почте.

Пришлось согласиться. Но город Данилов — через шесть часов от Москвы. А весь вагон уже устроился, застелил постели, зашуршал съестными припасами. У меня тоже было кое-что с собой — бабушка Анастасия насильно упаковала, ведь ехать-то куда? — на край света! Однако кусок не лез мне в горло: мысль, что я разрушила с таким трудом созданную основу будущей деятельности моего сына, не давала покоя.

Колеса деловито отстукивали километры. И вот, наконец, Данилов. Вагон остановился как раз напротив синего домика почтамта. Но, как писал дедушка Крылов, видит око, да зуб неймёт! Выход-то на другую сторону. Обегать состав — не дай Бог, опоздаешь к отправке. И тут ещё другой состав подошёл и встал между мной и почтамтом. Я подалась на перрон, не знаю зачем, и тут вижу доброе русское лицо вокзальной торговли (им позже по чьей-то подлости запретили торговать съестными припасами, которые так любят пассажиры дальних рейсов). Меня осенило!

— Послушайте, — сказала я ей, торопясь, — вы не могли бы сделать одолжение...

В трёх словах всё было рассказано женщине. И мгновенно понято ею.

— Вы не волнуйтесь, я мигом, — и она, со злополучной сумкой в руке и конвертом с адресом, исчезла из глаз. Не знаю, как ей это удалось, но проводники ещё не начали приглашать пассажиров в вагоны, а моя дорогая спасительница уже вернулась с почты. Она пыталась мне вручить сдачу с той малой суммы, которую я выдала ей на отправку бандероли!

— Ради Бога, не надо!

— Я вышлю вам по адресу на конверте, в Иркутск!

— Уж лучше отправьте сыну телеграмму, чтобы он там не переживал... Как вас зовут, моя дорогая?

— Людмила Михайловна! — крикнула она мне, уже стоящей в тамбуре.

Пассажиры заскочили в вагоны. Тормоза тихо и как-то даже нежно отпустили буксы колёс. Поезд поплыл, покачиваясь, по Среднерусской равнине.

С моей души свалился тяжкий камень. Почти с аппетитом я съела огурец с хлебом-солью, попила чаю и, забравшись на свою верхнюю полку, крепко уснула.

Приехав домой, я первым делом позвонила Артёму: получил ли он бандероль?

— Нет, — ответил сын. — Только телеграмму!

— Скоро получишь документы!

— Ага, держи карман!.. — безнадёга звучала в его голосе.

Было о чём горевать: это были годы, которые теперь называют «лихие девяно-

стые». Всюду творился грабёж и разбой. Но я-то ни на минуту не усомнилась в моей спасительнице...

И уже через день принесли телеграмму из Москвы: «Бандероль получил, полный порядок. Огромное спасибо».

Я всегда буду помнить, что это «огромное спасибо» относится не ко мне, а к той незнакомой женщине из города Данилова, чью фамилию мне так никогда и не узнать, к этой милой русской женщине, которую жизнь заставила продавать картошечку с капустой у поездов. Где они теперь, живы ли они, Людмилы Михайловны, Анны Андреевны, Насти и Марии, над которыми лютовали враждебные вихри тех лет?

Но я уверена, что и ныне остались ещё добрые и порядочные люди, вопреки всему живущие в традициях бескорыстия и исключительной честности!



**СЕРГЕЙ ЖЕЛТИКОВ**

г. Усть-Кут

\* \* \*

Я испил глоток печали  
Из ладоней тишины.  
И слова во мне звучали,  
Тишиной опьянены.

Их красою поражённый,  
Дивной музыкой объят,

Я следил, замороженный,  
Как слова во мне звучат.

Есть великая загадка  
В том, что истина дана  
Лишь тому, кто без остатка  
Тишины испил до дна.

\* \* \*

Обида, обида, обида...  
Как горько глотать эти слёзы...  
Ты лишь не показывай вида,  
Что поздно.  
  
Обида, обида, обида...  
Как хочется крикнуть: «Довольно!»

Ты лишь не показывай вида,  
Что больно.

Обида, обида, обида...  
Ведь жизнь пролетела напрасно —  
Ты лишь не показывай вида,  
Что страшно...

\* \* \*

Когда пройдёт предел желаний  
На жизненную круговерть,  
Меня избавит от страданий  
Старушка Смерть.

По мере божеской прикинув  
И всё, что было, оценив,

Лишь перережет пуповину  
В земном держащую меня.

И стоит этому случиться,  
Как тут же, обретя крыла,  
Душа, как птица, устремится  
В миры, где долго не была.

\* \* \*

В докучные не верю я приметы,  
Но вострепётся где-то в глубине  
Заложённое ощущение Леты  
Под звук кукушки в сонной тишине.

Года считать, пожалуй, мне не стоит,  
Ты лучше мне, пожалуйста, скажи  
О том, что сердце больше беспокоит:  
Доколе мне ещё в разлуке жить?

Наверное, ты всё свете знаешь,  
Одна к тебе есть просьба у меня:  
Коль ты и вправду хорошо считаешь,  
Не по годам считай, а лишь по дням.

Не удивляйся этой странной просьбе,  
Я вовсе не по прихоти прошу,  
Ведь столько лет навряд ли б удалось мне  
Прожить, хотя я вовсе не спешу.

Но сердце... я боюсь, оно не сможет  
Разлуки боль из года в год нести,  
А коль о том просить тебя негоже,  
Ты не считай, пожалуйста, — лети!

\* \* \*

Как нелепо со мной случается:  
Часто некому душу высказать,  
А на тех, кому мог бы покаяться,  
Зачастую смотрю я искоса.

Оттого я такой неприкаянный,  
Что так часто небрежен к ближнему,

Оттого, что боюсь отчаянно  
Выносить порой мусор из дому.

Оттого, что искал не в меру я  
Всё по четвергам да после дождика,  
Оттого, что я жил не веруя,  
Да, видать, и умру безбожником.

\* \* \*

Всё то, что было много лет назад, —  
Другая жизнь, другое измерение...  
Когда порой оглянешься назад,  
Невольно испытаешь удивление:

Неужто вправду удалось пройти,  
Не потерявши облик человеческий,  
Все повороты трудного пути  
И избежать ушибов и увечий,

И не утратить веру в доброту,  
В порядочность того, кто в жизни рядом?  
Какой же силой наделяет дух  
Сибирская природа, это ж надо!

Мне повезло, что родиной Сибирь  
Определил Господь мне, точно зная,  
Какая это сила, мощь и ширь,  
Тем и меня отчасти наделяя.

Я сам не знал, какой же это дар,  
Пока не увидал края иные,  
И всей душой я ощутил тогда,  
Что ты, Сибирь, — жемчужина России!

И счастлив я, что всей своей судьбой  
Сумел с твоей суровой долей слиться,  
Что стала общей радость нам и боль,  
И горд я тем, что я — твоя частица.

\* \* \*

Детство мне напоминает  
Сладкий запах георгин,  
Он невольно возвращает  
В мир, где не было причин,

Принималось всё как данность:  
Небо, солнце, запах трав —  
Золотая несказанность  
От утра и до утра.

Сложных не было названий —  
В безымянной тишине  
Самых искренних желаний  
Солнце теплилось во мне.

И без радости блаженной  
В жизни не было ни дня...  
Бесконечною Вселенной  
Стало сердце для меня.

\* \* \*

В этот тихий храм толпой не ходят,  
Не бывает праздных здесь зевак:  
Здесь святой рукой на небосводе  
Был начертан просветленья знак.

Здесь живёт неведомая многим  
Благодать познания бытия.

По ступеням к ней, простым и строгим,  
Может, скоро поднимусь и я,

Чтоб очистить душу чудным светом,  
Исходящим от простёртых крыл,  
Чтобы сердцем воспринять при этом  
Благодать от чистых горних сил.

\* \* \*

Вот уже мне и за сорок.  
Незаметно жизнь летит.  
Дни сгорают, словно порох,  
Годы, словно динамит.

Было ярких встреч немало —  
Вместо «рядом навсегда»  
Будто взрывом разбросало,  
Разлетелись кто куда...

С каждым днём всё ближе к краю,  
Но пошла мне жизнь на плюс:  
Я всё чаще вспоминаю  
И всё реже тороплюсь.

И в размеренности этой  
Мудрость, ставшая судьбой,  
И её теплом согрето  
Всё, что связано с тобой.

\* \* \*

Позабыты веретёнца,  
Прялку встретишь ли теперь —  
Подниматься раньше солнца  
Нет желания, поверь.

Для чего, коль всё готово  
(В моде полуфабрикат)  
Нам трудиться, право слово?  
Заварил, поел и рад.

Шить, кроить, вязать и штопать?  
Не смешите, что за блажь!

Вот поездить по Европам —  
В этом шик есть и кураж.

Одноразовы вещицы,  
Одноразовая жизнь,  
Одноразовые лица...  
И в итоге — миражи.

Как от этого устанешь,  
Так пороешься в углу,  
Снова прялочку достанешь,  
Веретёнце и иглу.

\* \* \*

Замер дом в ожиданье тебя,  
Хоть ты вышла всего на минутку.  
В тень твоё отраженье закутав,  
Шторы чуть шевельнулись, скорбя.

И часы неслучайно совсем  
Вдруг замедлили ход свой привычный,  
Чтоб, войдя, убедила ты лично,  
Что весь мир без тебя стал ничем.



## ВЕРОНИКА ЛУЗГИНА

г. Ангарск

\* \* \*

Скучна осенняя пора,	Заплачут яростно дожди,
Но так прекрасна!	Но равнодушно,
Холодные поют ветра	Не оглянувшись, уходить —
Однообразно...	Как это сложно!
Меня обратно ты не жди.	И о любви мечту разбить
В квартире душно...	Неосторожно...

\* \* \*

Осень  
быстро стирает нечёткие жизни границы...  
Спросишь:  
вновь улетают куда беспокойные птицы?  
Просто  
хочется с ними лететь в неизвестные дали...  
Поздно...  
крылья свои мы с тобою давно потеряли.  
Может,  
взять и исчезнуть в глубокой пучине вокзала?  
Всё же...  
лучше остаться, чтоб я тебе жизнь рассказала.

\* \* \*

Словно письма, я скомкаю мысли	И однажды, подобная чуду,
И уйду по остывшей золе	Я вернусь в свет январского дня.
В недоступные горные выси,	
Не оставив следа на земле.	Распахнутся небесные двери,
	Я увижу Великую Русь
Убегу, улечу и забуду	И, страдая, и плача, и веря,
Этот мир, но он вспомнит меня...	На родимую землю вернусь.

\* \* \*

Заметает вьюга всё бывшее,	А хочу шальной мечте отдаться,
Жизнь укрыта снежной пеленой.	В чувственном потоке утонуть...
Я готова стать совсем другою,	...Заметает вьюга сны и встречи,
Только будь, пожалуйста, со мной.	Заметает прошлые грехи...
Страшно мне во вьюге затеряться,	Снег ложится на чужие плечи,
Не хочу искать обратный путь,	Ты чужие слушаешь стихи....

## НАДЕЖДА КАЛИНИЧЕНКО

г. Усть-Кут

### Мой Бог

Мой Бог — Добро. Ему мои молитвы.	Оно — звезды мерцание в колодце
Ему — надежды, слёзы и мечты.	И глубина колодца самого.
Ему — мои проигранные битвы,	
Сожжённые и целые мосты.	Добро — извечно, мудро, изначально.
	Оно — меня разящая стрела...
Я для него слеплю глаза на Солнце	И я смотрю на рану беспечно —
И рву на части душу — для него.	Я Есть и Буду так же, как Была.

### Ангел мой

Отвернулся ангел, отвернулся...	Он вчера так скорбно оглянулся...
И уже не смотрит мне в глаза,	Он меня не в силах защитить!
Притворился, будто не проснулся,	
На ресницах дождь или слеза.	Отвернулся ангел, отвернулся...
	Он страдает за меня вдвойне.
Отвернулся ангел, отвернулся...	Лучше б он уснул и не проснулся,
Не поёт мне песни ангел мой.	Словно проигравший на войне.
Он вчера так грустно улыбнулся,	
Он устал просить меня: «Постой!»	Лучше б он забыл меня навеки...
	Стыдно мне пред ангелом моим:
Отвернулся ангел, отвернулся...	Я одна свои мучила реки,
И прощенья незачем просить.	А тонуть приходится двоим.

### Тень

Негромкая песня слышнее, чем крик —  
Она не уносится ветром.  
А Вечность заметно короче, чем миг —  
Не смерить её километром.

И нет никого тебе ближе, чем Тень —  
Она на просторы не рвётся,  
Невидима ночью, видна, когда день —  
С тобой она не расстаётся.

Безмолвно, безропотно крест свой несёт  
И вместо тебя умирает.  
И если случится, что Тень запоёт, —  
То жизненный срок истекает.

И будешь ты спать, пока Тень за грехи  
Твои будет нести наказание.  
И если не искренни были стихи,  
Не будет тебе оправдания.

## Воздух

Сегодня воздух пахнет детством,  
Он так целителен, духмян...  
Мне снова хочется одеться  
В черёмуховый сарафан.

Окутывает нежный воздух  
 Меня теплом цветочных грёз,

И долгожданный сердцу роздых  
Приходит с первым громом гроз.

И шёлк травы манит разуться  
И босиком уйти туда,  
Где будет радостно проснуться,  
И там остаться навсегда.

# КОНСТАНТИН МАКСИМОВ

г. Зима

## Деталь с чашкой кофе

Ты помнишь меня? Я сидел за столиком  
Напротив тебя в кафе и руками дрожащими  
Теребил салфетки — округлялись нолики  
В глазах испуганного, смущённого мальчика.  
И мальчик смотрел снизу вверх на женщину,  
Умолял и просил между слов безыскусно,  
Шутил, но боялся быть осмеянным —  
Ты всё это не замечала, но чувствовала.

И поджимала губы, и всё оглядывалась  
На проходящих мимо, как будто сидела  
Совсем одна... И чашка та падала,  
Разлив чёрный кофе по скатерти белой.  
Ты пожалла плечами, вытираясь.  
«Ну что ж, я пошла», — сказала так просто,  
  легко и грустно.  
Поднялась и ушла. И вот всё идёшь  
Вдоль кафе — сквозь года, мысли и чувства...

А я смотрю вслед тебе и уже успокаиваюсь.  
Взгляд стал твёрже, упрямей, спокойней, циничней,  
Но за взглядом внутри всё горю и терзаюсь,  
Что опрокинул ту чашку так неприлично,  
Так неловко, так глупо, так смешно, так странно.  
Мальчик смотрит и смотрит снизу вверх  
из колодца времени  
Большими глазами, как ранами,  
На ту, которая не вернётся.

\* \* \*

Вопреки всему, Платонов и Кафка решились —  
Написали друг другу, встретились и подружились.  
Перезваниваются из разных времён, из разных стран,  
Написать решили даже совместный роман,  
Который при их жизнях не прочитает никто,  
Кроме метафизического ЛИТО.

\* \* \*

Когда засыпают соседи, невидимки влетают в дом  
И кружат над слабоосвещённым столом,  
Где Хармс пишет рассказ о человеке,  
Погибшем, не дождавшись очереди в аптеке.  
И этот рассказ невидимки рвут с руками,  
И рассказ издаётся гигантскими тиражами,  
Получает все премии, возможные и невозможные!  
Но не в этом мире, в противоположном —

Который невидим и неосязаем,  
Совершенно неузнаваем  
Для тех, кто не видит, не осязает  
И никогда о нём не узнает,  
Поскольку мир секретен, закрыт.  
Хармс, дописав рассказ, спит.  
И Кафка спит, и Платонов спит —  
Их совместный роман над Землёй летит!  
Хмурит бровки, не даётся в руки.  
Отойдёт — и курит у печи?

Принесите чаю, шоколаду,  
Испеките сладкий каравай!..  
Он ответил: «Ничего не надо,  
Мне детишек грязных подавай».

\* \* \*

Мы жили на улице деревянной,  
Питались щами да кашей манной.  
Жили — не сказать, что не тужили,  
Порой и тужили, но всё-таки жили.

Молились, пели, читали стихотворенья,  
Готовили на зиму огурцы и варенья,  
Зимой их ели, зимой топили печку.  
Когда не было света, зажигали свечку.

Жили себе, жили. Любили — дружили,  
Каждым соседом и соседкой дорожили.  
Огороды пололи, морковку тёрли...  
И сейчас бы жили, да все помёрли.

\* \* \*

Шёл человек через скользкую дорогу  
И поскользнулся, упал, подвернул ногу.  
За ним шёл другой — не остановился,  
А прошёл по человеку и не оступился.

А вслед за ним второй, третий, четвёртый,  
А вслед за ними солдаты ротой,  
А вслед за ними лошадь с разбега...  
Так и растоптали человека.

## Весенняя

Человек сидит вздыхает у открытого окна,  
Вдруг видит — по весенней улице идёт она.  
На ней цветастое платье, цветастый платок,  
Она идёт босиком по цветам, и в руке цветок.

Человек преображается, тянется из окна,  
у человека цветущий вид.  
Вдруг выпадает и летит, но ему кажется,  
что парит.  
Летит и улыбается и, прежде чем  
шмякнуться об асфальт,  
Человек успевает девушку поцеловать.

Это конец, конец, конец...  
Плачет мать, плачет отец,  
Друзья-товарищи стоят хмуры —  
Кончились зимние миниатюры.

\* \* \*

Она бежит босиком по полям ромашковым  
В полупрозрачном платье, с венком в волосах.  
Пусть же зовут её Сашею, иль Машею —  
Не важно. Я ж выдумал. Пусть будет так.  
Пусть бежит она с песнями, с танцами,  
Ведёт себя глупо и смеётся без повода...  
Я просто люблюсь, а потом аккуратно беру  
двумя пальцами  
И перемещаю в тёмную комнату,

Чтобы посторонние не трогали и не видели,  
Даже не представляли без моего разрешения —  
Там забиты и окна и двери, там нету выхода,  
Только вход через моё воображение.

И она там живёт — читает и молится,  
В полумраке с тоской меня ожидает...  
Таких комнат, признаюсь, великое множество,  
Но никто-никто об этом не знает.

Такими застенками в воспоминаниях  
Прошиты изломы встреч и событий.  
И женщины в странном существовании  
Раздваиваются и живут в общежитиях.  
И они там всегда нежны и покладисты,  
Не против лежать, ждать и томиться —  
Им тюрьмы эти безумно нравятся,  
Они там счастливы, судя по лицам.

## ЛИДИЯ ВОЛЫНЕЦ

г. Усолье-Сибирское

### Слово Земли

До радуги возвыситься в стихах  
Непросто словом.  
Шелков полоски на кустах  
Связать не новость.  
Семь ленточек, как семь заветных нот, —  
Ветрам молитва.  
Но красным здесь трава цветёт  
На поле битвы.

### Я помню

Я помню детство. Край далёкий.	Живут преданья старины.
Балкон, увитый виноградом.	Мы все из той страны вернулись.
К теплу черешневого сада	В мечтах кто не стремится к ней,
Летала летом в самолёте.	Тот ничего не понимает.
Остался дедушка мой — лётчик,	И вырастая, мы играем,
В военных днях сороковых.	Но лучше нет тех чистых дней.
Хоть нет его давно в живых,	Хлебнули через край, дружок,
Он для меня живее прочих.	Не зря вина житейских будней.
Проспекты черновицких улиц —	Другие пьют, а мы не будем,
В рассказах мира и войны	И никаких «на посошок».

### Неприкаянная Русь

Неприкаянная Русь, заполошная,	Оттого, что мудрая, древняя,
На семи ветрах в небо вросшая.	Да ворота у Киева медные.
Вся убогими перехоженная,	Вечна горечь твоя — перепёлкою.
А в лицо тебе снег порошею.	За полями, лесами, посёлками
Через время и расстояние	Возрождение славное чудится —
Привлекаешь моё внимание,	Что загадано, то и сбудется.



## Баркас

Не выставляя чувства напоказ,  
Под музыку мелодии старинной  
Несётся древний маленький баркас.  
У берега обрыв зияет глиной.  
В волнах сиянье, полная луна  
Струится рябью в водах затаённо.

Спешит баркас. Подлунная страна  
Своих гонцов отправила влюблённых  
Повсюду. И гармония звучит,  
Чтобы царила истина вовеки.  
Луч чистоты все беды растворит,  
И счастье улыбнётся человеку.

## Одуванчики

Хоть понимаю Вас, но всё же  
Я обойдусь без лишних слов.  
На одуванчики похожи  
Живые венчики стихов.

Сейчас яркие, но день осенний —  
Белеют головы, и вот  
Летит поток стихотворений  
В читательский круговорот.

## Даль

Запылились крылья,  
Чёрная вода.  
Я в своём бессилье  
Не пойду туда.  
Чёрная водица,  
Острова вдали.  
Улетели птицы,  
Травы полегли.

Жатвой у порога  
Веет суховей.  
Собирал в дорогу  
Бог своих детей.  
Чёрным отмываться,  
Видимо, века.  
Ну, держитесь, братцы,  
Вот моя рука!

## НИКОЛАЙ БЕРЕЗЕНКОВ

г. Ангарск

## Пустырь

А деревни родные увяли.  
Забурьянило поле кругом.  
Почернели любимые дали  
Над когда-то живым большаком.

По дорогам осот и крапива.  
Жаворонок пропал навсегда,  
Разлохматила волосы ива,  
Зеленеет в колодце вода.

Вся округа похожа на пустошь,  
А бывало, садами цвела.  
И пропало былое искусство —  
Спать пора, спать пора, спать пора...

\* \* \*

1

В деревне, траншеями взрытой,  
На росстанях прошлого дня  
Я сплю, тёмным небом укрытый,  
Не вижу, не слышу огня.

Стреляет костёр неустанно,  
Еловые брёвна горят,  
На поле, на краешке бранном,  
Несносное люди творят.

2

Проснулся я, друга заметил —  
Барсук, непоседливый зверь,  
Меня как товарища встретил  
Под звоны весенних капель.

В деревне, воронками взрытой,  
На росстанях прошлого дня  
Лежу ни живой, ни убитый,  
Никто не хоронит меня.

### На минном поле

На минном поле занялся,  
Спешу убрать солдат огрехи.  
У норки парочка лисят  
Творят невинные потехи.

Частицу летнего тепла,  
Чтоб не заметили плутовку.

Природа им сполна дала  
Окрас и ловкость, и сноровку

Но мне сегодня не до них —  
Картины, дивные забавы,  
Мне, как минёру, трудодни  
Начислят рощи и дубравы.

### Живой музей

На проспекте Карла Маркса  
Ходит дедушка с клюкой,  
А в глазах такая ласка,  
Как у бабушки родной.

Кто же он? — солдат Победы!  
И волшебник, Боже мой,  
Прилетел с другой планеты.  
Это наш музей живой...

## АННА ЖЕЛТОНОГОВА

г. Ангарск

\* \* \*

Пишу стихи, как птицу отпускаю  
В свой первый неизведанный полёт.  
Пишу стихи, а сердце замирает:  
«Что в будущем, грядущем меня ждёт?»

Пишу стихи, похожие на ветер,  
На белый снег, летящий за окном,  
Пишу стихи, чтоб никогда на свете  
Не постучались горести в мой дом.

Пишу стихи, от бед оберегая  
Очаг домашний света и тепла,  
Пишу стихи и как снежинка таю,  
И как свеча сгораю я дотла.

Пишу стихи, и вот они — готовы,  
Слова и рифмы выстроились в ряд,  
И всё вокруг так бесконечно ново,  
Иные звёзды в небесах горят.

Пишу для вас, стучусь в сердца и души,  
Как гость неожиданный, рифмою своей,  
Чтоб вы могли услышать и послушать  
Тревожный слог поэзии моей!

### **Рябиновая грусть**

А за окном рябиновая грусть,  
И осень кружит в вальсе листопада.  
Печально лето шепчет: «Не вернусь»  
И оставляет солнце как в награду.

А за окном темнеют небеса,  
И дождь всё чаще погулять выходит,  
Уносит ветер птичьи голоса  
За горизонт, туда, где счастье бродит.

А за окном рябиновый закат  
Окрасит небо краскою кровавой.  
Я говорю нескладно, невпопад,  
Твержу о том, что оба мы не правы.

А за окном рябиновая грусть,  
И горечь ягод на губах не тает.  
Я подружиться с грустью не боюсь —  
Она одна мои секреты знает.

## **ВЛАДИМИР ФРОЛОВ**

г. Тулун

### **Её глаза**

Да, о любви легенды и поэмы  
Переживут века наверняка...  
Наперекор забвению этой темы  
Её глаза плывут издалека...

Огромные, знакомые, как небо,  
А рядом свет других влюблённых глаз.  
Где б я ни жил и где бы только не был,  
Ту радость встреч я вижу всякий раз:

По городу трамвай стремится звонкий,  
За городом шумит зелёный лес.  
Не так давно — мальчишка и девчонка,  
Как будто мотыльки, порхали здесь.

Кругом — любовь, природа, поцелуи,  
Разряд грозы из сказочного сна...  
И вдруг, как тень, нашла минуту злую,  
Нарушив мир, жестокая война.

А через день объявлена посадка.  
Гром эшелона и прощальный взгляд —  
Не девочка — она уже солдатка,  
А он — мобилизованный солдат.

За морем слёз, пролитого народом,  
Глаза, как звёзды, излучали свет.  
Бойцы прошли под этим небосводом —  
По звёздам путь, когда дороги нет.

А руки посылали им снаряды  
«Катюш». В них столько вложено тепла,  
Чтоб под ногами немцев страшным адом —  
Земля горела и они — дотла.

Я тех боёв, я тех дорог не знаю —  
Они пришли к Победе, наконец!  
И помню я, когда в расцвете мая  
Живым домой вернулся мой отец.

И если я солдатом стану, тоже  
Пойду на смерть. И если вдруг в бою  
Мои враги, проклятия умножив,  
Обрушат их на голову мою,

То я пойду к вершинам по отрогам,  
Собрав тоску давно минувших лет...  
Когда пойду нехоженой дорогой —  
Её глаза смотреть мне будут вслед.

## САЯНЫ

Как я люблю, как я ласкаю словом  
Громады гор на бархате зелёном  
Густой тайги! И вот увидел снова  
Высокие заснеженные склоны.

И если вечно будут над Байкалом  
Они купаться в облаках, как в пене,  
И если эти склоны, эти скалы  
Никто-никто насильно не разденет,

И если рек хрустальные потоки  
Не превратятся в сточные каналы,  
Саяны, знайте: в истинные сроки  
Мои друзья сработали на славу!



НАДЕЖДА ТЕНДИТНИК

## Землепроходец\*



Подвиги сибиряков в Великой Отечественной войне восходят к беспримерному мужеству русских землепроходцев. Московские и новгородские воины, пашенные мужики, казаки шли севером и югом, продирались через тайгу и реки, сухим путём и мокрым и были что огонь, которым можно было и «обогреться», и «обжечься».

Род известного талантливого писателя Алексея Васильевича Зверева, воина, учителя, писателя, великого труженика, восходит к первым казачьим поселениям в окрестностях Иркутска. Предком его считают в семье казака Данилу, пришедшего в Сибирь 350 лет назад. Он обосновался в Ошуне, что в 10 километрах от села Усть-Куда вниз по течению Ангары. Имя Данилы зафиксировано в книге церковных записей. Прозвище Зверь отражало его одинокий образ жизни в тайге.

Семейное древо разрасталось пышно, питая корни и крону трудом крестьян и строителей, тружеников-интеллигентов, воинов.

Дед писателя Василий Романович, крестьянин, председатель сельскохозяйственного товарищества в Усть-Куде, и его двоюродный брат плотник Кирилл строили в Камчатнике дачу князю Волконскому.

Дети и внуки Василия Романовича, дожившего до 1955 года, оставили заметный след в литературе, науке, живописи. Старший брат Алексея Васильевича, Петр Васильевич, воевал, закончил Академию им. Крупской, был учителем и преподавателем политэкономии в институте иностранных языков. Его сын, Анатолий Петрович Зверев, тоже воевал — на Карельском, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах, защитил диссертацию, написал две книги — о трудовых ресурсах колхозов Иркутской области и о путях улучшения использования рабочей силы в сельском хозяйстве. Проблемы, поставленные в них, актуальны и сейчас.

\*Статья «Землепроходец» впервые была опубликована 23 февраля 2000 года в газете «Восточно-Сибирская правда».

---

ТЕНДИТНИК Надежда Степановна, литературовед, критик (1922, ст. Слюдянка Иркутской области — 2003, Иркутск). Автор книг: *В битве за человеческие сердца*: крит. заметки (Иркутск, 1975); *Ответственность таланта*: О творчестве В. Распутина (Иркутск, 1978); *Александр Вампилов* (Новосибирск, 1979); *Советская проза 50–70-х гг.*: в 2 ч. (Иркутск, 1980); *Мастера* (В. Распутин, А. Вампилов, А. Зверев, Д. Сергеев) (Иркутск, 1981); *Валентин Распутин*: очерк жизни и творчества (Иркутск, 1987); *Энергия писательского сердца*: лит.-крит. очерки (Иркутск, 1988); *Перед лицом правды*: очерк жизни и творчества А. Вампилова (Иркутск, 1997); *Валентин Распутин. Колокола тревоги*: очерк жизни и творчества (М., 1999). Канд. филол. наук, профессор. Награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Член Союза писателей России.

Дело Алексея Васильевича достойно продолжают его сын — художник Валерий Алексеевич, внучатый племянник подполковник Юрий Анатольевич и другие. Важно не растерять во времени новые ветви семейного древа.

Интерес к проблемам экономики, к судьбам крестьянства был в семье Зверевых наследственным.

Алексей Васильевич вспоминал: в быту, в хозяйстве, в земледелии семья отличалась культурностью. Здесь первыми в селе стали сортировать и формалинить семена, рационально кормить животных.

Неизменно светло и благодарно вспоминал писатель отца и свою большую семью, где за стол ежедневно садилось двенадцать человек, где никто не курил, а водка была редкой гостьей. Мать писателя звала избу «народомом», где все были певучими, любили острое слово. Здесь не умолкали балалайка, гитара, гармонь. Первые на селе артисты, рассказчики, декламаторы, ораторы вышли из этой семьи.

Отцу писателя Василию Романовичу уготована была поистине трагическая судьба. Крестьянин-середняк, уравновешенный, невозмутимый по характеру, всегда одержимый задумками, он вступал в жизнь, когда революционные бури катком прошли по стране. По осиротевшим полям прошли восставший чехословацкий корпус, семеновцы, Колчак. Рачительный хозяин, порвав с колчаковцами, стал первым председателем волостного исполкома. Большие надежды внушил нэп, и он купил молотилку, стал лавочником. Суровая по характеру мать, Татьяна Павловна, нажившая в работе приличный горб, отводила, и не раз, беду от мужа, от его неожиданных и часто необдуманных предприятий. «Кажется, — отмечает Алексей Васильевич, — она была умнее отца». Раскулачивание обошло семью стороной, и, может быть, потому о нэпе Алексей Васильевич вспоминал часто и искренне желал возвращения крестьянину воли в хозяйствовании. Он знал в этом толк. Но суждено было пережить очередной поворот, излом крестьянского уклада жизни в годы коллективизации.

Главным в судьбе и творческой биографии писателя было чувство коллективизма, согревавшее в самых трудных ситуациях. Всю жизнь он помнил, как коммунары решили отправить его учиться на собранные для этого средства. «Я выполнил их поручение».

Учился, в сущности, всю жизнь. Перед самой войной уехал с этой целью за старшим братом в Горьковскую область, где и окончил курс в учительском институте.

Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не гибель брата на финской войне. В 1940 году А.В. Зверев вернулся в Сибирь. Здесь и застала его война, и он ушёл в армию добровольцем. Предложили поучиться на минометчика.

Немыслимо тяжким оказался путь будущего писателя из центра России в Сибирь, а затем через всю страну — на фронт. На войне участвовал в самых горячих сражениях: Курско-Орловское направление, освобождение правобережной Украины.

Война переломила биографию писателя, как и судьбу страны. На фронте А.В. Зверев по праву старшего в своем подразделении (ему было 28–32 года) был отцом и другом солдат. Их судьбы повторились потом и обрели новую жизнь в повестях, рассказах, романах, в публицистике начинающего писателя. «Смотри-ка ты, молодой, а седой», — сказал кто-то из молодых писателей, когда Алексей Васильевич пришёл в литературу.

В биографии его героев буквально разбросаны подробности его собственных дум и переживаний и, конечно же, истории тех, с кем воевал. Бывший пахарь, солдат Евлампий Гневышев, капитан Дахов, горячий юный кавказец Умраян Грант, медицинская сестра Леля, учитель Волков, художник Трунов, лейтенант, вчерашний школьник Лукахин, артиллерист Катков, бесшабашный в прошлом солдат Ивкин, готовый с войной подружиться, капитан Сопунов — много их, кто помог, по признанию писателя,



«впервые узнать понятие «народ» в непосредственном его рассмотрении». Люди из училищ и учреждений, от станков и плуга «образовали огромные семьи, названные полками, дивизиями, корпусами, открыто, оголенно стали вместе спать, есть и пить, мёрзнуть и голодать, болеть и умирать, смеяться и плакать. Так возникло глубочайшее чувство дружбы и товарищества. Тепло этого людского единения очень сильно и долговременно».

Модно говорить сейчас, что реализм устарел да и русская литература «умерла». Реализм Алексея Зверева глубок и неиссякаем в своём богатстве. Он обогащен выразительной символикой войны-костра, образом выздоравливающей страны. Питательные соки его — народные рассказы, прибаутки, меткие приговорки. В нём опыт автора, почти неотделимый от опыта воюющего народа. В нём быт, поднявшийся до знака бытия. Язык Алексея Зверева неповторим в своей образности, глубинной народности. Писатель органично вошёл в тот мир художественной прозы, которая именована была в те годы «деревенской» и по достоинству оценена сегодня. Алексей Зверев вошел в число выдающихся мастеров возрождающейся заново национальной литературы. Он равный среди равных, имена которых — А. Твардовский, В. Белов, Ф. Абрамов, В. Шукшин, Е. Носов, В. Распутин. Ими возвращено вековое качество русской литературы — служение Родине.

Выверяя судьбу своих героев опытом народа, Алексей Васильевич не мог не обратиться к проблемам не менее острым, чем война, — экологическим. Его повесть «Лыковцы и лыковские гости» не только о разорении земли и водных источников Сибири. Она о крушении человека, пытающегося отгородиться от общей судьбы. Иные люди здесь готовы совершить преступление и сесть в тюрьму, лишь бы не идти на фронт. Укрывшись от коллективизации в жутких лачугах на берегу Ангары, они превратились в хищников, грабителей природы, как и защитники этого промысла — большие начальники, любители «рыбалки».

В 1989 году, уже будучи нездоровым, Алексей Зверев публикует в «Восточно-Сибирской правде» потрясающий силою художественных обобщений очерк «Семья». Поверив в блага объявленного тогда семейного подряда, сравнив его с фермерством, писатель заговорил о потере крестьянской души, об «ошарашивании воли» земледельца, о жестоком безвременье, переживаемом деревней.

Мужество ветерана войны уже на закате судьбы проявилось в главном протесте против шельмования самого святого чувства — патриотизма.

Патриотизм для Алексея Зверева — чувство не показное, а совестливое, некрикливое и «выражается в работе, в деле, в ратных делах». Патриотизм, повторял он, «душа нации», её характер, обретённый в трудном, трагическом движении народа. В статье «О друзьях-товарищах» (1982) он пишет: «Наш, русский, патриотизм взращен веками несчастий, бед, страданий, поражений и побед, мучительного обретения независимости, вековой мечты о социальной свободе». Биография истинного художника, сына своей страны, есть и биография родины. Путь, пройденный Алексеем Зверевым, свидетельствует именно об этом.

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

## Военные и мирные дали Алексея Зверева

К 100-летию со дня рождения писателя

В одном из своих выступлений на Иркутском телевидении в конце 80-х годов Алексей Зверев сказал о литературе, что она — дело общественное. И книги его свидетельствуют о том же: они написаны с желанием открыть читателю истинную красоту природного мира, почувствовать лад простой жизни в нелёгких условиях бытия.

Крестьянин, воин, учитель, Зверев состоялся сначала в этих трёх ипостасях, к которым постепенно прибавилась четвёртая — писатель. С детства приученный к труду на земле, он ко всему, чем пришлось заниматься, относился по-крестьянски истово, терпеливо и основательно. Известный иркутский литературовед и критик Надежда Тендитник в одной из своих статей сказала о нём так: «Он [Зверев] не просто пополнил ряды прославленных современных «деревенщиков», он вошёл в их круг как патриарх, единомышленник, мастер пера. Крестьянская мораль в оценке событий стали главными в его творчестве, о чём бы он ни писал»\*. Надо заметить, Тендитник всегда говорила о близорукости столичной критики в отношении Зверева и многое сделала для того, чтобы вписать его имя в общероссийский литературный процесс.

Жизненный путь Алексея Васильевича Зверева охватил все разломные события XX века: родился в 1913-м, за четыре года до социалистической революции в России, ушёл из жизни в 1992-м, когда социализм был отменён во имя рыночных реформ. Можно сказать, за свои семьдесят девять лет Зверев прожил несколько эпох.

В самом первом романе «Далеко в стране Иркутской» (1962), выдержавшем не одно издание, писатель делает попытку изображения событий 20-х годов в деревне. Критика не ко всему отнеслась одобрительно, однако образ середняка Ефима Ярина, мечущегося, испытывающего растерянность от наступивших потрясений в крестьянском укладе, во многом был достоверным и запоминался.

---

\*Тендитник Н. *Крестьянская Россия Алексея Зверева* // *Родная земля*. 2003. 7 апр.

---

СЕМЁНОВА Валентина Андреевна, критик, публицист (род. в 1949 г. в с. Харик Куйтунского р-на Иркутской обл.). Автор книг: *Благодаря — а не вопреки*: сб. полемических статей и очерков (Иркутск, 2002); *Вместе с бурями века*: Краткий обзор книг и имён иркутских писателей (Иркутск, 2007); автор-составитель справочника *Писатели Приангарья* (Иркутск, 1996) и информационно-справочного издания «Бег времени» (Иркутск, 2012), публикаций в периодической печати. Член Союза писателей России.

В жёстких интонациях выстроен рассказ «Пантелей», в котором описано начало учительского пути самого автора в безграмотной и бедной послереволюционной деревне. Далее — Великая Отечественная. Опыт, вынесенный писателем из огня сражений, предопределил своё видение войны. В повести «Раны» она предстанет перед читателем как великая работа, делает которую безотказный Евлампий Гневыхов, крестьянин и солдат. Эта повесть, с романским развитием событий и характеров, вместе с «Выздоровлением» и «Передышкой» считается вершиной в творчестве писателя. Не только судьба Гневыхова встанет в его воспоминаниях о тридцатых годах — выписана трагедия крестьянства, сорванного с земли в годы раскулачивания, и сделано это без нажима, с доверием к мировосприятию героя.

Повесть «Гарусный платок», рассказы «Васька и Сёкол», «Как по синему морю...», «Сашкина гармонь», «Манины частушки» и другие, вошедшие вместе с военными повестями в книгу «Как по синему морю...» (1984), содержат живые картины из сибирской народной жизни, военной и послевоенной. Перед глазами читателя проходят деревенские виды с пахотой, сенокосными и огородными делами, молодёжными вечерками. И конечно, трудные судьбы детей войны.

«Гарусный платок» — одна из самых пронзительных повестей в отечественной литературе на эту тему. Она о том, как мальчишка годов одиннадцати (четвёртый класс) после смерти деда отказывается идти в детдом, а становится хозяином крестьянской усадьбы, при слабой поддержке бабушки и шестнадцатилетней сестры. Труды, не по росту великие, не отняли в Миньке силы духа, чтобы поддержать сестру, «замороженную бедой», порадовать её редким по тому времени подарком.

Можно предложить читателю сравнить «Гарусный платок» А. Зверева с шумевшей в своё время и даже ставшей знаковой повестью американского прозаика Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и поразмышлять над тем, как по-разному писатели примерно одного поколения (оба — участники Второй мировой, воевали против фашизма) запечатлели восприятие жизни двумя юными душами — деревенского мальчика, взявшего на свои плечи ответственность взрослого человека, и городского инфантильного подростка, настроенного на непрерывный бунт против всеобщей, как ему видится, фальши. В этом зеркальном отражении хорошо высвечивается разность судеб в мире, разность духовных сред, формирующих человека. Сегодня можно ещё раз спросить себя, влияние каких знаков предпочтительнее, если думать о воспитании детей.

В последней по времени повести писателя «Залоги», с подзаголовком «Детство деревенского парнишки», опубликованной в книге «Ласточки» (1992), переосмыслены события 1920-х годов. В эпизодах Гражданской войны, опалившей и Киры Кириной деревню, глазами ребёнка увидены разрушенные крестьянские дворы, бегство семьи от каппелевцев. Нет в «Залогах» осуждения революции, но в образе старшего сына Бояркиных, бывшего красноармейца и будущего советского служащего, в его спорах с отцом замечено такое явление, как зарождающийся карьеризм у представителей новой власти, устремлённых на руководящие места, что сулит более лёгкую долю по сравнению с крестьянской.

Не расставался писатель и с учительской темой, как не расставался многие годы с профессией преподавателя-словесника. Не без гордости говорил, что за тридцать лет работы в школе создал себе примерно три тысячи грамотных и средне образованных читателей, а потом написал им книгу. Повесть под названием «Жили-были учителя» просто не могла не появиться на свет. Писатель с молодых лет утвердился в мысли, что «человека, как залогов, поднимать надо».

Природа родного Приангарья всегда наполняла своими красками страницы прозы Зверева, а в 1970-е годы вместе с военной темой заняла особое место в творчестве. Тема природы и была сродни военной по силе звучания, поскольку несла в себе нрав-

ственную оценку многих проблем времени. В эти годы читательское внимание приковывают «Комиссия» С. Залыгина, «Царь-рыба» В. Астафьева, «Прощание с Матёрой» В. Распутина. Повесть ещё одного сибиряка, А. Зверева «Лыковцы и лыковские гости», становится заметным прибавлением к этому ряду. Писатель изобразил путь падения деревни не от внешних сил, а от того, что она выключила себя из общей жизни. «Не колхозники, не единоличники, так, вольножительствовавшие», лыковцы постепенно превращаются в бичеватых браконьеров, бездумно грабящих реку и тайгу для одной цели — было бы на что «выпить и закусить».

Такая деревня — редкость для 70-х. А теперь сколько их на российских просторах — живущих непонятно чем, брошенных с заколоченными дверьми и ставнями... В 30-е годы молодой учитель Алексей Зверев приложил и свои силы к ликвидации безграмотности в сибирской деревне. Каково было бы ему ныне видеть сворачивание педагогического образования, пресечение путей выходцам из села в сельские школы! Выдержит ли новые потрясения Иркутский пединститут, давший писателю высшее образование в тяжёлые послевоенные годы? Не однажды за последние двадцать лет менял вуз название, стараясь выжить, но, как объявленные когда-то неперспективными деревни, ныне признан «неэффективным» и обречён на исчезновение, подобно десяткам других. Падение общей культуры и образованности налицо, а воспитание будущих педагогов почему-то стало ненужным. Обо всём этом нельзя не думать, рассматривая творчество крупного сибирского писателя на фоне времени.

Алексей Васильевич Зверев жил болями своего XX века. Их выпало с избытком, но никогда не терял он совестливого отношения к миру. Ему была свойственна бережность и деликатность в общении с людьми, никто не припомнит, чтобы он когда-нибудь кого-то обидел или огорчил. Он достойно нёс по жизни имя народного учителя и народного писателя.



*В огромном творческом архиве Адриана Топорова до сих пор можно найти истории весьма и весьма любопытные, поучительные даже для искушённого современного читателя. Одна из них связана с именем Константина Константиновича Романова, члена Российского Императорского Дома, президента Императорской Санкт-Петербургской академии наук, поэта, переводчика и драматурга. Его 155-летие приходится на август 2013 года.*

*Игорь Топоров, литератор, внук А. Топорова*

## АДРИАН ТОПОРОВ

### Августейший стихотворец

В семье Ешиных (Леонид Петрович Ешин, блестящий юрист, эрудит и наставник А.М. Топорова. — *И. Топоров*) все любили стихи и декламировали их. В библиотеке стояли и полные собрания сочинений поэтов, и несколько «Чтецов-декламаторов», иллюстрированных портретами прозаиков, поэтов и артистов. Мне особенно нравились тонкие лирические стихи, подписанные инициалами «К.Р.». Никто не знал скрывшегося под ними таинственного поэта. Издатели таили его биографию и фото.

В нототеке Ешиных оказался чей-то сентиментальный романс, написанный на слова «К.Р.». Его напевали все члены семьи, даже маленький Лёничик. Подкупали и меня лиризм и гуманизм романса:

*Повеяло черёмухой,  
Проснулся соловей,  
Уж песнью заливаётся  
Он в зелени ветвей.*

*Пусть раздаётся песнь моя,  
Могуча и сильна,  
Пусть людям в душу просится,  
Пусть их живит она.*

*Учи меня, соловушка,  
Искусству твоему!  
Пусть песнь твою волшебную  
Прочувствую, пойму.*

*И пусть всё им становится  
Дороже и милей,  
Как первая черёмуха,  
Как первый соловей.*

---

ТОПОРОВ Адриан Митрофанович, известный советский просветитель, писатель, публицист и общественный деятель (1891 — 1984). Родился в крестьянской семье в с. Стойло (современная Белгородская область). Последние 35 лет жизни А.М. Топоров провёл в г. Николаеве. Автор книг «Я — учитель», «Однажды — и на всю жизнь» (1980), «Воспоминания» (1970, 2010), «Мозаика» (1985) и др.

Осенью 1913 года в магазине В.К. Сохарева (в г. Барнауле. — *И. Топоров*) я заметил толстую книгу «Стихотворения». На её серой обложке вместо полной фамилии автора я прочел таинственные буквы «К.Р.». Но проницательный хозяин магазина расшифровал мне их: КОНСТАНТИН РОМАНОВ. Точнее: великий князь Константин Константинович Романов, дядя царя Николая Второго, президент Императорской Академии наук.

Я купил «Стихотворения» «К.Р.». Читая книгу, встретил в ней и «Повеяло черёмухой», и «Молитву», и «Надпись в Евангелие». Два последних стихотворения, не ведая их автора, заучивали наизусть все ученики церковноприходских школ вскоре за прохождением букваря.

Почти все стихотворения «августейшего поэта» относятся к пейзажной, интимной, религиозной лирике. Это — плоды забав высокопоставленного, рафинированного эстета. Но каково же было мое удивление, когда в конце книги я наткнулся на большое произведение, которое вся Россия пела ещё в годы моего раннего детства:

*Умер, бедняга!  
Долго родимый лежал;  
Эту солдатскую жизнь постепенно  
Тяжкий недуг доконал.*

*Рано его от семьи оторвали:  
Горько заплакала мать,  
Всю глубину материнской печали  
Трудно пером описать...*

И проч.

Парадокс!! Автор — отпрыск царского рода-племени — и вдруг создаёт самую распространённую, трогательную, архинародную песню-поэму о жизни и смерти простого солдата! И по теме, и по содержанию, и по всему строю она достойна стоять рядом с Некрасовской «Ориной — матерью солдатской».

Полное имя поэта «К.Р.» начали упоминать в общедоступной литературе лишь в связи с его драмой «Царь Иудейский». Помпезную постановку её разрешили только в Петербурге под наблюдением самого автора. Он играл в драме роль Иосифа Аримафейского. Участвовали и его сыновья. В тогдашних иллюстрированных журналах печатали снимки сцен из «Царя Иудейского» и портреты всех исполнителей спектакля.

Дабы не опошлять «божественный» образ Христа игрой артистов или бедностью декораций и костюмов, Синод запретил постановку «Царя Иудейского» на всех провинциальных сценах! Им разрешалось лишь чтение драмы с условием поручения каждой роли отдельному лицу.

Я присутствовал на таком чтении драмы в Барнаульском театре Народного дома. Через всю стену поставили стол, накрытый траурной скатертью. Чтецы обрядились тоже в траурное. Во всех диалогах, монологах и кратких репликах звучали торжественно-благоговейные интонации. Это было, если не подводит меня память, в 1914 году.

Музыку к драме написал великий композитор А.К. Глазунов. Никто в провинции не слышал её. Но критики, писавшие о представлении «Царя Иудейского» в Петербурге, уверяли, что эта музыка доводила слабонервных зрителей до истерики.

Прошло полвека... И недавно я нашёл в Николаевской областной библиотеке роскошное петербургское издание «Царя Иудейского» 1914 года с многочисленными снимками, с режиссёрскими заметками и фрагментом из музыки А.К. Глазунова. В подвальных фондах этой же библиотеки хранятся, помимо «Царя Иудейского», и три тома собрания сочинений «К.Р.». Во втором из них — перевод трагедии Шиллера



«Мессинская невеста». К обоим капитальным трудам приложены подробные творческие истории, комментарии, примечания. Нельзя не удивиться тому, что августейший поэт был прилежным литературным тружеником. И, может быть, не для красного словца он писал о себе:

*Я баловень судьбы... Уж с колыбели  
Богатство, почести, высокий сан  
К возвышенной меня манили цели, —  
Рождением к величью я призван.*

*Но что мне роскошь, злато, власть и сила?  
Не та же ль беспристрастная могила  
Поглотит весь мишурный блеск,  
И все то, что здесь лишь внешностью нам льстило,  
Исчезнет, как волны мгновенный всплеск?*

*Есть дар иной, божественный, бесценный,  
Он в жизни для меня всего святей,  
И ни одно сокровище вселенной  
Не заменит его в душе моей!*

*То песнь моя!.. Пускай прольются звуки  
Моих стихов в сердца толпы людской,  
Пусть скорбного они врачуют муки  
И радуют счастливого душой!..*

Известно, что некоторые русские выдающиеся композиторы писали романсы на лирические стихи «К.Р.». Сейчас передо мною лежит толстенный в синем переплете, роскошный том «Песни и романсы русских поэтов» (Изд-во «Советский писатель», М.; Л., 1965). На титульном листе тома ещё сказано: «Библиотека поэта. Основана М. Горьким. Большая серия. Второе издание». В сборнике 1120 страниц! Маленькая аннотация к нему гласит: «В книге собраны произведения русских поэтов XVIII — начала XX века, ставшие песнями, популярными романсами. Наряду с выдающимися поэтами здесь широко представлены малоизвестные и забытые авторы, чьи стихотворения прочно вошли в историю русской вокальной лирики».

На последней странице сборника указана редакционная коллегия: В.Н. Орлов (главный редактор), В.Г. Базанов, Б.И. Бурсов, Б.Ф. Егоров (зам. главного редактора), В.М. Жирмунский, В.О. Перцов, А.А. Прокофьев, А.А. Сурков, А.Т. Твардовский, Н.С. Тихонов, С.И. Чиковани, И.Г. Ямпольский.

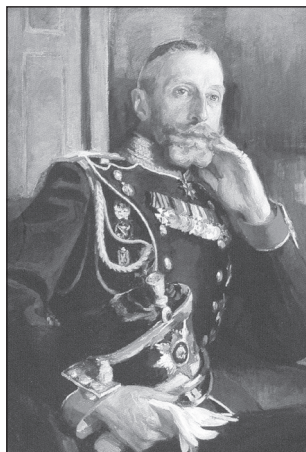
Так вот на странице 833-й этого сборника приведена краткая биография К.Р. А на страницах 834 — 836 напечатана и самая распространённая народная песня:

*Умер бедняга! В больнице военной  
Долго родимый лежал;  
Эту солдатскую жизнь постепенно  
Тяжкий недуг доконал...*

Августейшего автора не забыли наши авторитетнейшие поэты, литературоведы и критики. А значит, и мне не грешно помянуть его добрым словом...



## КОНСТАНТИН РОМАНОВ



### Несётся благовест...

#### Вера

О вера, чистая, святая!  
Ты дверь души в обитель рая,  
Ты жизни будущей заря,  
Гори во мне, светильник веры,  
Гори ясней, не угасай,  
Будь мне повсюду спутник верный  
И жизни путь мне просвещай.

#### Колокола

Несётся благовест... Как грустно и уныло  
На стороне чужой звучат колокола.  
Опять припомнился мне край отчизны милой,  
И прежняя тоска на сердце налегла.

Я вижу север мой с его равниной снежной,  
И словно слышится мне нашего села  
Знакомый благовест... И ласково и нежно  
С далёкой родины гудят колокола.

# Любовь вечна

Любовью ль сердце разгорится,  
О, не гаси её огня!  
Не им ли жизнь твоя живится,  
Как светом солнца яркость дня?

Пусть гордый ум вещает миру,  
Что всё незримое — лишь сон,  
Пусть знания молится кумиру  
И лишь науки чтит закон.

Люби безмерно, беззаветно,  
Всей полнотою душевных сил,  
Хотя б любовью ответной  
Тебе никто не отплатил.

Но ты, поэт, верь в жизнь иную:  
Тебе небес открыта дверь;  
Верь в силу творчества живую,  
Во всё несбыточное верь!

Пусть говорят: как всё в творенье,  
С тобой умрёт твоя любовь —  
Не верь в неправое ученье:  
Истлеет плоть, остынет кровь,

Лишь тем, что свято, безупречно,  
Что полно чистой красоты,  
Лишь тем, что светит правдой вечной,  
Певец, пленяться должен ты.

Угаснет в срок определённый  
Наш мир, угаснут тьмы миров,  
Но пламень тот, Творцом возжженный,  
Пребудет в вечности веков.

Любовь — твоё да будет знанье:  
Проникнись ей, и песнь твоя  
В себя включит и всё страданье,  
И всё блаженство бытия.

5 мая 1888 г.

\* \* \*

Когда креста нести нет мочи,  
Когда тоски не побороть,  
Мы к небесам возводим очи,  
Творя молитву дни и ночи,  
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем  
Нам улыбнётся счастье вновь,  
Благодарим ли с умилением  
От всей души, всем помышленьем  
Мы Божью милость и любовь?

10 июня 1899 г.

# Великой княгине Елизавете Феодоровне

Я на тебя гляжу, любуюсь  
                                ежечасно:  
Ты так невыразимо хороша!  
О, верно, под такой наружностью  
                                прекрасной  
Такая же прекрасная душа!  
Какой-то кротости и грусти  
                                сокровенной  
В твоих очах тaitся глубина.  
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;  
Как женщина, стыдлива и нежна.  
Пусть на земле ничто средь  
                                зол и скорби mnogой  
Твою не запятнает чистоту,  
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,  
Создавшего такую красоту!

1884 г.

\* \* \*

Меня бранят, когда жалею  
Я причиняющих печаль  
Мне бессердечностью своею;  
Меня бранят, когда мне жаль  
Того, кто в слабости невольной  
Иль в заблужденье согрешит..  
Хоть и обидно мне, и больно,  
Но пусть никто не говорит,  
Что семя доброе бессильно  
Взойти добром; что только зло  
Нам в назидание взошло.  
Больней внимать таким суждениям,  
Чем грусть и скорбь сносить от тех,  
Кому мгновенным увлеченьем  
Случится впасть в ничтожный грех.  
Не все ль виновны мы во многом,  
Не все ли братья о Христе?  
Не все ли грешны перед Богом,  
За нас распятом на Кресте?

1888 г.

\* \* \*

Вчера мы ландышей нарвали,  
Их много на поле цвело.  
Лучи заката догорали,  
И было так тепло, тепло!  
Обыкновенная картина:  
Кой-где берёзовый лесок,  
Необозримая равнина,  
Болота, глина и песок.  
Пусть всё это и уныло,  
И некрасиво, и бедно;  
Пусть хорошо всё это было  
Знакомо нам давным-давно, —  
Налюбоваться не могли мы  
На эти ровные поля...  
О север, север мой родимый,  
О север, родина моя!

1885 г.



**ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА**

## К 20-летию Дней русской духовности и культуры «Сияние России»

Этот праздник стал частью культурной жизни Иркутской области, что сомнению уже не подлежит. Два десятилетия он ежегодно приходит на нашу землю — дата, безусловно, солидная, и в её преддверии хочется обратиться к истокам Дней, ставших событием не только для иркутян.

...1994 год. Страна переживает трудные времена. Ни много ни мало — меняется государственный строй, и это радует далеко не всех. Кто-то почувствовал вкус к предпринимательству и ринулся в бизнес, кто-то, напротив, потерял любимую работу, вынужденно отказался от призвания ради хлеба насущного и разуверился во всём. Кто-то как раз поверил в высшие начала жизни — религия вышла из-под запрета... Однако и те, и другие, и третьи на себе ощутили весь драматизм наступившей эпохи. И вдруг праздник, да ещё с таким вызывающим названием — «Сияние России»!

Кто мог отважиться на подобное словосочетание в то время? Среди граждан России, наверное, никто.

Название пришло из Русского Зарубежья. В начале 90-х в Россию приехал поток семьи белоэмигрантов Александр Васильевич Шахматов. Он вырос в Австралии, образование получил в Европе. Строитель по первой профессии, у нас он стал известен как певец, публицист, радеющий за русскую культуру. С концертами и лекциями проехал он по многим городам России, а с 2000 года поселился здесь постоянно. Это по его инициативе прошли праздники на Урале, родных местах его предков, под названием «Казачий Покров», «Душа России», а в 1994 году в Оренбурге — «Сияние России». Это он предложил Валентину Распутину провести такие же Дни русской духовности и культуры в Иркутске, встретившись с писателем на первом, омском, празднике «Душа России» в 1992 году, имевшем огромный успех. Предложил и несколько вариантов названия. Обо всём этом Александр Васильевич подробно рассказывает в своих книгах — желающие могут найти в Интернете.

Далее начинается иркутская история праздника. Валентин Григорьевич, вскоре после поездки в Омск, обратился с идеей проведения Дней русской духовности и культуры к владыке Вадиму, в то время епископу Иркутскому и Читинскому, и получил одобрение. Обратился к мэру — им был в те годы Борис Александрович Говорин. Состоялась встреча в администрации города, куда Распутин пришёл вместе с Марком Сергеевым. Поддержка была оказана и здесь. Утвердили название — «Сияние России». С переходом Б.А. Говорина на пост губернатора праздник из статуса городского перерос в областной и стал ежегодным.

Первый состоялся осенью 1994 года, сразу после оренбургского «Сияния». Проходил он в тогдашнем Доме политпросвещения, и в зале не было свободных мест. Гостями стали писатели В. Белов, В. Крупин, Л. Бородин, Ст. Куняев, П. Краснов, С. Шуртаков, кинорежиссёр Ст. Говорухин, критики и публицисты В. Курбатов, И. Шафаревич, К. Мяло, певцы А. Шахматов, Т. Петрова. Представлял их и выступал вместе с ними В. Распутин.

Сегодня можно твёрдо сказать, что слово, музыка, песня, наполненные духом любви к Родине, её искусству, с той самой первой встречи укрепляли всех, кто не хотел терять связи со своими корнями.

Галина Игнатьевна Кучина тоже имеет отношение к нашей теме. Она как раз из тех, кто многие годы проводил подобный праздник в Австралии в среде русской эмиграции. Он так и называется — «День русской культуры». Напомню: Галина Кучина — автор нашего журнала. В 2000-х годах, вслед за публикацией книги её отца Игнатия Волегова «Ледяной поход» об исходе частей Белой армии вместе с потоком мирного населения в китайский Харбин, мы напечатали в «Сибири» её воспоминания, которые продолжили книгу отца о жизни семьи сначала в Харбине, затем в Австралии.

Галина Игнатьевна — человек, безгранично преданный русской культуре. С советских времён она дружна со многими известными российскими артистами и музыкантами, приезжавшими на гастроли в Австралию. Она радушно встречала в своём мельбурнском доме Г. Жжёнова, И. Смоктуновского, В. Невинного, Б. Щербакова, А. Малинина, В. Толкунову и многих других, целые оркестры и ансамбли. А в 1998 году по её инициативе в Мельбурне создано Литературно-театральное общество имени В. Солоухина. О том, как объединяют соотечественников вечера русской литературы, музыкального и театрального искусства, как благодаря им Австралия знакомится с культурой России, и рассказывает Галина Кучина в своём очерке.

Таким образом, «Сияние России» — событие далеко не местного значения. Русская духовность и культура именно в годы испытаний становится для их носителей — независимо от национальной принадлежности и независимо от места пребывания на планете — родным материком, дающим силы жить.

Будем же помнить: только в одном городе России, в Иркутске, такой праздник стал традицией.





## ГАЛИНА КУЧИНА



### Дни Русской культуры

Из летописи Русского Зарубежья

Прогремели выстрелы и залпы орудий, заменив малиновый звон колоколов, разливающихся по матушке России из сорока сороков храмов. Потоки крови оросили нашу Русскую землю, и огромная волна людей была выплеснута из омута страшной, жесточайшей революции-переворота в разные концы света. Красный террор охватил всю страну. Белое движение до последних сил сражалось с новой властью, однако было вытеснено на чужбину. Даже там какое-то время русские не теряли надежды собрать силы и вернуть Россию, но... увы!

Ледяной поход по озеру Байкал привёл остатки Белой армии в Китай (Маньчжурию), многие ехали по железной дороге через Сибирь. Оказавшись за пределами России, разбитая армия и поток людей, измученный тяготами отступления, холодом и болезнями, — многие переболели тифом, немало погибло, — были приняты китайским правительством.

---

КУЧИНА Галина Игнатьевна. Родилась в г. Маньчжурия (Китай). Детство и юность прошли в Хайларе, Харбине. Дочь офицера Белой армии Игнатия Волегова, автора книги *«Ледяной поход»*, опубликованной в журнале «Сибирь» (2003, № 5, 6). Окончила медицинский техникум в Харбине. С 1957 г. живёт в Австралии. До ухода на пенсию работала операционной медицинской сестрой. С 1996 по 2012 г. проводила Дни русской культуры в Мельбурне, где проживает в настоящее время, основала просветительское Литературно-театральное общество им. В. Солоухина. Автор книги *«Минувшее развёртывает свиток. Рассказ о жизни русской австралийки из Китая»* (СПб., 2007), главы из которой были опубликованы в журнале «Сибирь» (2005, № 1, 2).

Вот что пишет мой отец Игнатий Волегов, офицер Белой армии, в день, когда его полк отходил в арьергарде, приближаясь уже к границе Китая: «22 декабря 1922 года был для нас днём глубокой грусти. Этот день не забудет ни один человек из участников Дальневосточной армии, да и его нельзя забыть тому, кто хотя немного любит свою родину. В этот день только тот не показал своих слёз, кто стыдился их и боялся показать свою слабость другим, а эта выдержка ложилась невыносимо тяжелым камнем на сердце, отчего у многих произошёл «шок», оцепенение, что выражалось в молчании».

Народ из Южной России и Украины ушёл в Турцию, оттуда рассеялся в страны Европы: Болгарию, Югославию, Чехословакию, Польшу. Из Эстонии, Литвы и Финляндии беженцы попали в Германию, Персию, Францию, Аргентину и даже в Австралию. В общей сложности насчитывалось от одного до двух миллионов эмигрантов, покинувших свою родину. Но многие, а мои предки точно, не считали, что они уехали из России навсегда. Они надеялись вернуться, наивно рассчитывая, что большевистская власть сгинет. Но этого не случилось.

И вот, оставшиеся на чужбине, они стали создавать образ потерянной родины. Тоска по России, русской культуре была невыносима. Уже в 1924 году в Риге русскими эмигрантами был поставлен концерт с названием «День русской культуры». Эти концерты, как светлячки на карте мира, стали вспыхивать в разных уголках планеты, везде, где оказались русские люди в рассеянии. Таким образом, традиция празднования Дня русской культуры родилась в сердце русской эмиграции после трагических событий, постигших Россию в результате Октябрьского переворота.

Страшным ударом для Русского Зарубежья стало зверское убийство Царской семьи, включая ни в чём неповинных детей и верных слуг, в июле 1918 года. Неправимая, ничем невозместимая утрата для всего русского народа! Эмигрантам, вынужденным покинуть родину, стало ясно, что это убийство предвещало начало гибели великой России, её многовековой культуры, Святой Православной Церкви и всего лучшего, что было создано. Захват власти безбожниками-большевиками в 1917 году и убийство Августейшей семьи раз и навсегда определили сущность исхода русских людей из России и их дальнейшую судьбу в рассеянии. По сути, это была политическая эмиграция, а вернее, духовная эмиграция, потому что примириться с жестокими преследованиями Православной церкви в лице её служителей и верующих мирян, и всего, что было для них свято, эти люди не могли. Июльская трагедия 1918 года стала для русских символом потерянной родины, и этот день для всего Русского Зарубежья обозначился как День скорби. Во всех уголках земного шара, где по воле судьбы оказались русские изгнанники, глубоко чтили печальную памятную дату 4 июля (по ст. ст., 17 июля — по нов. ст.).

По приезде в Австралию харбинцы продолжали хранить Русскую культуру и священную историческую память о дореволюционной России. В больших городах, где селились русские, сразу же строились православные храмы и помимо традиционных праздников каждый год отмечался День скорби. В этот траурный день по всему Русскому Зарубежью устанавливался строгий пост, в храмах служили панихиды по убитым царственным мученикам. После службы молящиеся собирались в залах или библиотеке при церкви, где читались доклады, посвящённые революционным событиям в России и памяти Царской семьи.

В течение многих десятилетий Зарубежная Русь отмечала День непримиримости к большевизму и советской власти. Это событие было унаследовано от Европейской эмиграции, и в Мельбурне оно имело начало в 50-х годах. Проводились чтения докладов, концерты духовного песнопения. Последний День непримиримости состоялся 9 ноября 1997 года в Сиднее по инициативе Русского исторического общества. На этом собрании был выражен протест по поводу постановления Б.Н. Ельцина счи-

тать 7 ноября Днём примирения и согласия. В отчёте об этом собрании написано: «Трагедия России – наша общая боль, и мы, и «старые» и «новые» русские эмигранты, должны понять, что у нас одна судьба, и мы все выходцы из России не можем согласиться с тем, что Россия поругана, обезличена, ограблена и стоит на коленях!»

Русские люди, неся тоску о потерянной родине, не хотели предать забвению великую культуру, созданную многонациональной Россией. В 1927 году уже в двадцати странах мира отмечался День русской культуры, а в 1938 году в связи с празднованием 950-летия Крещения Руси по всей зарубежной Руси, включая Австралию, создавались Владимирские комитеты в честь основоположника русского православия и русской государственности Святого Равноапостольного князя Владимира. Концерты, выставки, доклады проводились ко дню Святого Владимира, который празднуется церковью 28 июля.

Стоит сказать о великих людях искусства, которые дарили свой талант, выступая на этих концертах, — Сергей Лифарь, Фёдор Шаляпин, Анна Павлова. Знаменитый художник Иван Билибин писал декорации для концертов, и много, много известных имён несли свои таланты на алтарь искусства. Читались доклады в переполненных залах Парижа, где выступали Мережковский, Гиппиус и многие другие литераторы. С. Лифарь проводил выставки, торжества иногда продолжались много дней. Сведения о подобных концертах говорят нам, что они проводились в Риге, Париже, Харбине, в Сербии, и здесь, в этой благополучной стране Австралии, мы в течение многих лет отмечаем праздник, который объединяет всех, кто любит и ценит духовное, историческое и культурное наследие нашей Родины. Мы трепетно храним эту традицию до сегодняшних дней.

Я имела честь быть знакомой с замечательной представительницей Русского Зарубежья Людмилой Филипповной Богдановой. Это была женщина высокой культуры. В ней не только уживались, но ярко проявлялись таланты гуманитарные и технические. Родом она была из Петербурга, где получила образование инженера-строителя, при этом прекрасно знала литературу, владела кистью и создала немало портретов, рисунков в карандаше и акварелей. В Австралии, куда она попала с мужем с волной так называемых перемещённых лиц, стала преподавать в воскресной прицерковной школе с 1962 года вплоть до 1993-го. В рамках учебной программы она вместе с детьми готовила декорации и ставила 1–2 спектакля в год по произведениям русской классики. Декорации писал Александр Викторович Шмельц. Некоторые из них сохранились до сих пор и были использованы в других постановках. Спектакли «Сказка о царе Салтане», «Василиса Прекрасная», «Буратино», «Репка» знакомили учеников с русской литературой. Второе мероприятие было посвящено Дню русской культуры. Таким образом, Л.Ф. Богданова стала основоположницей празднования Дня русской культуры в Мельбурне (Австралия).

Я с семьёй приехала в Австралию из Китая (г. Харбина) в 1957 году, познакомилась с Людмилой Филипповной во время её деятельности в школе и не пропускала ни одного концерта, которые она проводила. Концерт она начинала с доклада. Темы докладов: «А.Н. Островский», «А.С. Пушкин», «А.К. Толстой», «Владимир Красное Солнышко», «Господин Великий Новгород», «М.П. Мусоргский и его время», «А.А. Ахматова», «1000-летие Крещения Руси» и другие. После доклада шла концертная программа. Выступали знаменитые исполнители. Нередко видели на сцене известную харбинскую балерину Нину Нездвецкую, получившую в Австралии звание профессора. Её преподавание в Австралийском балете было высоко оценено. Исполнительница русских и цыганских романсов Вера Виноградова очаровывала публику манерой исполнения и необыкновенно красивым голосом. Нравились публике обладатель баритона Владимир Бржозовский, замечательный оперный певец Вячеслав Баранович и неизменный аккомпаниатор Валентина Баранович, а также Соня Бантос, Элла Стоянова, Игорь Перекрёстов, Александр Виноградов и многие другие.

Необходимо назвать имена руководителя струнного оркестра Вадима Дьяковского, который работал с Людмилой Филипповной, основателя струнного оркестра в Мельбурне Павлова. Пётр Иваненко руководил хором. Николай Ключарёв и Мария Стефани, оба профессиональные режиссёры, поставили немало спектаклей с участием профессиональных актёров и молодых, с которыми они работали и создали достойную театральную группу. С годами прицерковный зал стал маленьким для публики, Людмила Филипповна по состоянию здоровья закончила свою деятельность. Для празднования Дня русской культуры выбрали помещение «Ренессанс» — это небольшой уютный театр, и концерты стала проводить Соня Бантос (София Терентьевна, урождённая Микрюкова).

Концерты, ею подготовленные, были посвящены 180-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 135-летию со дня рождения А.П. Чехова, один из концертов был отмечен спектаклем-концертом «Думая о России».

С 1996 по 2012 год Дни русской культуры проводила я. Обычно — в престижном зале Melba Hall консерватории Мельбурнского университета, и каждый из них мы посвящали писателям, композиторам или юбилейным датам, таким, как 850-летие Москвы, 300-летие Санкт-Петербурга и др. Посвящали концерты Глинке и Чайковскому, Пушкину и Лермонтову, Тютчеву и Достоевскому, Гоголю и Далю, Салтыкову-Щедрину и Рубцову, Чехову и поэтам Зарубежья. Во всех концертах выступали заслужившие признание артисты и начинающие из молодых — всем нашим соотечественникам дана возможность проявить свой талант.

Я всегда считала, что для выступления в концертах ДРК необязательно быть этнически русскими. Люди любой национальности, любящие русскую культуру, достойны выступать на этом концерте. Заглянув в историю и вспомнив наших выдающихся поэтов, прозаиков, мыслителей, мы сталкиваемся с фактом, что Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Надсон, Гоголь, Даль и многие другие не были чистокровными русскими. Старая Россия принимала иностранцев Растрелли, Бенуа, Камерона, Росси, Фаберже и других с их талантами, многое давшими русской культуре.

Один из концертов был посвящён 200-летию русского присутствия в Австралии. Концерт был назван «Праздник русской души». Тематическая заданность Дня русской культуры была отражена в программе. Главным пунктом её стал доклад доктора исторических наук, митрофорного протоиерея Михаила Протопопова. В докладе были последовательно изложены исторические факты российско-австралийских контактов на протяжении 200 лет и сделан обширный обзор того ценного и нового, что принесли русские люди во все области австралийской жизни, включая науку, технику, медицину, культуру и духовную сферу.

Особым украшением праздничного концерта стало выступление приглашенного из России мужского вокального ансамбля «Валаам». Превосходное пение глубоко раскрывало характер русской души, рождало горячий отклик в сердцах слушателей. Дважды на празднике Дня русской культуры выступала группа «Кавалер-дуэт», доставившая много радости собравшимся.

Необходимо отметить, что во всех концертах принимали участие исполнители разных жанров. Доклады обычно читались кандидатом богословия, протоиереем Игорем Филяновским, профессором Олегом Донских, И. Кузьминской, протоиереем Михаилом Протопоповым, искусствоведом, доктором философских наук Ниной Макаровой, протоиереем Николаем Корыповым и многими другими.

Выступали талантливые музыканты и вокалисты: заслуженная артистка России Эмма Липпа, виртуоз балалаечник Юрий Мугерман и Белла Мугерман, Ольга Вакуевич, Лиза Петрова, Катя Пронина, Лариса Храновская, Димитрий Пронин, Соня Бантос, заслуженный артист России Александр Венгеровский, заслуженный артист России Леонид Сатановский, Майя Менглет, Женский камерный хор под управлением Галины Максимовой и многие другие.

Этот праздник начинает приобретать черты, которые делают его не только внутренним событием нашей общины. Он уже привлекает внимание творческих слоёв австралийского общества — певцов, музыкантов, любящих и ценящих русское музыкальное наследие.

Одной из главных целей, помимо традиции, у меня была цель ознакомить австралийское общество с русской культурой. Доклады, прочитанные на русском языке, были переведены на английский и вместе с программой раздавались публике. Любой англоговорящий человек имел возможность ознакомиться с его содержанием.

На концерте Дня русской культуры, посвящённом 200-летию со дня рождения М.И. Глинки, в 2004 году, пел хор в составе 82 человек. Все певчие были австралийцами. Все англоговорящие. Управлял хором Андю Ваилс (Andrew Weiles) — известный музыкальный директор и дирижёр. Пели они на русском и славянском языках, как церковные песнопения, так и русские народные песни. Николай Коваленко-младший (Коваль) работает с этим хором в качестве репетитора по русскому произношению и в качестве солиста.

Другой концерт прошёл с участием хора Мельбурнской Королевской филармонии (Royal Melbourne Philharmonic), дирижёром которого был также Николай Коваленко-младший (Коваль). Пели церковные песнопения и русские народные песни на русском и церковно-славянском языках. Русская культура проникла в сердца австралийцев!

Сегодня нам уже нет необходимости оплакивать потерянную родину. Она открыта для нас. Мы ездим в Россию, мы видим, как идёт духовное возрождение, мы имеем полный доступ к книгам, фильмам, а самое главное — к людям. В этом году мы отмечали 150-летний юбилей А.П. Чехова. Я пригласила М.Н. Ференцева, режиссёра сиднейского театра-студии «А.Р.Т», который представил премьеру спектакля «О любви и браке», основанного на пьесе «Медведь» и других произведениях А.П. Чехова.

Рада отметить, что спектакль прошёл блестяще. Мне было много задано вопросов о том, кто артисты, откуда они. Я объясняла, что это волна новых людей, получивших образование в России, сейчас живущих в Австралии. Они посчитали честью быть продолжателями замечательной традиции празднования Дня русской культуры.

Будем не только надеяться, но и стремиться к тому, чтобы эта традиция продолжалась, а мы оставались носителями русской культуры в нашей благополучной многонациональной Австралии.

Помимо Дней русской культуры я проводила очень близкий моему сердцу концерт, посвящённый памяти замечательной женщины Нины Михайловны Кристесен (Christesen), урождённой Максимовой. Её муж Clem Christesen был основателем журнала Meanjin. В 1967 году она создала свой журнал — «Melbourne Slavonic Studies», позже — «Australian and East European Studies» и в том же году — Австралийско-Славянскую ассоциацию, которая впоследствии включила и новозеландский контингент. Она была основательницей отделения русского языка в Мельбурнском университете, а затем отделения русского языка стали открываться и в других университетах Австралии, работниками которых в основном становились бывшие студенты Нины Михайловны.

Участниками этого концерта мне хотелось сделать всех, кто знал Нину Михайловну близко, кто сотрудничал с ней. Доклад о её жизни и работе в Мельбурнском университете был прочитан профессором Олегом Донских, автором книги «Остров Элтам, или Одна счастливая русская жизнь», и сочетался с живыми воспоминаниями о блестящем преподавателе и незаурядной личности. В концерте принимали участие все, кто в какой-то степени соприкасался с Ниной Михайловной: конференсье — её бывший студент-австралиец Tom Gott, который на чистейшем русском языке провёл концерт; победители конкурса «Пушкинская премия», инициатором которого была Н.М.; лектор Роберт Ладенберг (Robert Ladenberg) — он много лет сотрудничал



с Н.М.; секретарь русского отделения, любимая всеми студентами Ольга Фёдоровна Винокурова (урождённая княжна Ухтомская). В программе участвовали лучшие силы Мельбурна. Публика признала концерт достойным памяти нашей выдающейся соотечественницы.

Хочется сказать ещё об одном событии, которое мне было поручено провести — 100-летие Харбина. Это мероприятие проходило в стенах Мельбурнского университета, были приглашены докладчики, вспоминавшие разные фазы харбинской жизни и охватившие духовную, политическую, академическую, театральную жизнь города, который сыграл особую роль в судьбах русских людей.

Прекрасно оформленная выставка содержала материалы по истории Харбина, в том числе фотографии строителей и служащих Китайско-Восточной железной дороги, храмов, учебных заведений, театров, артистов драмы, балета, музыкантов и пр.

Этому событию было посвящено издание отдельного журнала «100-летие Харбина».

Постепенно для русского общества в Мельбурне назрела необходимость создания литературного общества. Я кинула зов, на который откликнулось много единомышленников.

В этот период времени в Австралию приехал с визитом профессор Георгий Алексеевич Цветов. Я слушала его лекции, которые он читал по радио SBS, читала его статьи на тему «Деревенщики». В то время я была мало знакома с творчеством Владимира Солоухина — многое до нас не доходило в советские годы. Но прочитав однажды «Чёрные доски», «Читая Ленина», я чётко поняла, в честь кого мы хотели бы назвать будущее общество. Кроме того, я знала, что писатель является одним из инициаторов восстановления храма Христа Спасителя.

К моему глубокому удовлетворению, с моей идеей назвать общество именем В.А. Солоухина согласились все, и вот 5 апреля 1998 года в первую годовщину смерти писателя состоялась панихида в Свято-Покровском соборе. После панихиды почитатели его творчества собрались в прицерковном зале. Была показана видеокассета о судьбе и произведениях В. Солоухина, подготовленная профессором Цветовым, выступали желающие поделиться своими впечатлениями о книгах прозаика и поэта, звучали его стихи, там же было решено проводить ежемесячные встречи, с тем чтобы обсуждать литературные новинки, дать возможность нашим местным поэтам читать свои стихи.

На следующем собрании были решены административные вопросы. Общество зарегистрировали как «Литературное общество имени В. Солоухина». Но впоследствии, когда оно стало развиваться и расширять тематику докладов, связанных с разными сферами искусства, мы официально изменили название на «Литературно-театральное общество имени В. Солоухина». На этом собрании председателем общества была выбрана единогласно Галина Игнатьевна Кучина, секретарём — Ольга Константиновна Шонина.

Сразу после основания общества мы получили благословение от архиепископа Илариона, ныне митрополита Русской Зарубежной церкви Австралии и Новозеландии, и письмо, в котором он поделился своими личными воспоминаниями о знакомстве с В.А. Солоухиным и о том впечатлении, которое произвёл на него писатель. Встреча имела место в монастыре Святой Троицы в США (Jordanville, N.Y, U.S.A.), когда владыка был семинаристом.

Начали проводить встречи с чтением докладов. Их тематика всегда отличалась многогранностью — история русской государственности, история православия, роль Русской церкви в государственной жизни, жизнь и деятельность известных подвижников, государственных деятелей и, конечно, писателей, композиторов, артистов и т. д. Очень важно отметить, что чтения докладов обычно проходили на уровне, близком к академическому, так как выступавшими являлись люди с солидным образованием и обширной эрудицией.



В 2004 году я получила от графа Д.А. Вуича письмо, где он писал о Дне памяти, который проводился в Москве по случаю 80-летия со дня рождения выдающегося русского человека — Владимира Алексеевича Солоухина. Тогда же я прочитала статью, автором которой является князь Зураб Михайлович Чавчавадзе, и ещё больше узнала о В.А. Солоухине и ещё раз порадовалась, что наше общество носит его имя.

С удивительной простотой и искренностью пишет З.М. Чавчавадзе о своём знакомстве с «Письмами из Русского музея» В. Солоухина. «Случилось так, — вспоминает он, — что ошеломляющий эффект от прочтения «Писем из Русского музея» погнал меня в библиотеки на поиски других произведений автора. До появления «Чёрных досок» оставалось, кажется, года два».

Моим же первым открытием, как я писала выше, были «Чёрные доски». До нас произведения и В.А. Солоухина, и А.И. Солженицына доходили с большим опозданием и передавались из рук в руки. Тяга к этим новинкам у тех, кто находился вдали от России, была велика. Помню, как я, прочитав «В круге первом» и «Раковый корпус» и не имея возможности достать «Архипелаг ГУЛАГ» в Мельбурне, везла два тома из Парижа. «Один день Ивана Денисовича» продавался в книжном магазине свободно, потом я узнала почему, а от «Крохоток» я получала огромное удовольствие, и не проходило ни одного концерта, чтобы я не прочла одну из солженицынских «Крохоток». Первую из них, «Утёнка», я читала на концерте «Русского театрального кружка».

«Далее, — пишет в своей статье князь Зураб Михайлович, — я понял, что обнаружил на земле единомышленника, писателя редкого и мощного дарования. Ощущение духовного родства, близости жизненных и мировоззренческих позиций, определявших отношение к судьбам Отечества, его истории, вере, традициям, было настолько явственным, что невольно тянуло как-нибудь познакомиться с этим бесстрашным гигантом». Каждое слово, сказанное автором статьи о Солоухине-человеке, находило отклик в моём сердце, но я не смогла бы выразить всё с той точностью и ясностью, как это сделал Зураб Михайлович Чавчавадзе.

Не могу обойти молчанием «Смех за левым плечом» Солоухина. Ещё раз обращаюсь к словам Чавчавадзе о том, что это самое православное произведение писателя, ибо оно говорит о воспитании новоявленной души в сознании, что она никогда не оказывается вне очей Божиих и что только от неё зависит, будет ли плакать за правым плечом Ангел-хранитель или злорадно хихикать за левым плечом бес-искуситель. В этом произведении — размышления о трёх линиях развития человечества: о пути физического совершенствования, о пути интеллектуального развития и, наконец, о третьем пути — пути к Богу. Кроме всего, это гимн великим патриархальным ценностям основного костяка русской нации — крестьянского сословия. Деревенский мальчик воспитывается на вечных ценностях веры, уважения и любви к труду, семье, земле, человеку и, наконец, Родине — малой и большой.

Такая вещь не могла оставить меня равнодушной. Читая, я видела своего папу мальчиком, родившимся в крестьянской семье и воспитанным в традициях, о которых так ясно пишет В. Солоухин.

Итак, общество продолжало свою деятельность. Читались ежемесячные доклады, примерно раз в три месяца проходили камерные концерты, иногда эти концерты приурочивались к праздникам Св. Пасхи или к Рождеству. Был проведён и концерт по поводу 10-летнего юбилея общества.

Последний большой концерт 12 июня 2011 года в Литературно-театральном обществе им. В.Солоухина прошёл при поддержке посольства Российской Федерации — так мы отметили День России.

Выступали лучшие творческие силы Мельбурна. Звучали прелюдии С. Рахманинова в исполнении заслуженного артиста России А. Документова, сменяющиеся вокальными выступлениями Т. Каевой, В. Фёдоровской. Арию Грёмина из оперы «Евге-

ний Онегин» П. Чайковского и арию Досифея из оперы «Хованщина» М. Мусоргского пел австралиец Антони Макай (Anthony Maskey). Поразила публику молодая девушка А. Королёва, исполнившая на марумбе (ударном инструменте) «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова и «Итальянскую польку» С. Рахманинова; студенты Русской хореографической академии украсили концерт рядом номеров: вальсом из балета П. Чайковского «Спящая красавица», испанским танцем из балета Л. Минкуса «Дон Кихот», русским танцем из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского и танцем гномов из его же балета «Щелкунчик». Директор хореографической академии — Susan Thompson, педагоги — Максим и Юлия Васильевы.

Звучало «Элегическое трио № 1» С. Рахманинова. Молодые австралийцы сыграли «Скрипичный квартет № 2». К. Нилсена. Зажигательная любимица публики Лариса Храновская закончила концерт русскими народными песнями под аккомпанемент заслуженного артиста России А. Венгеровского.

Я пробыла на посту председателя 14 лет, до 2012 года, передав его Ольге Константиновне Шониной.

В ноябре 2012 года День русской культуры был отмечен концертом, посвященным 120-летию Марины Цветаевой. Концерт проведён Литературно-театральным обществом им. В. Солоухина под эгидой Этнического представительства штата Виктория.

2012 г.



АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

## Не надо бы забывать: Иосиф Уткин — наш поэт



В преддверии 110-летия Иосифа Уткина прошёлся по книжным магазинам Иркутска — искал его книги. Не нашёл. Что ж, бывает, ведь не 100-летие отмечаем. Хотя о 100-лети: 10 лет назад отметили, но как? Переизданные книги, библиографические указатели, научные и читательские конференции, семинары, медиапроекты? — не припоминается что-то. Если кто-нибудь хочет поправить меня, поправьте, пожалуйста. Но знаю доподлинно: в Иркутске с давних пор его именем названа улица, областная юношеская библиотека и в школе, в качестве региональной прибавочки, факультативно, кажется, в 5–6-х классах (!) проходят его стихи; в советское время ещё была литературная премия его имени — комсомол награждал лучших писателей Приангарья.

Но главное — стихи, конечно, стихи, его поэзия. Она, несмотря на невнимание издателей и наш общий недосмотр, она, слава Богу, с нами. К примеру, в моей домашней библиотеке в знаменитой и по сей день чтимой народом (и читаемой!) двухсоттомной серии «Библиотека всемирной литературы» (издания 60–70-х годов) в томе 179-м он — наш Иосиф Уткин, к тому же в кругу великолепного поэтического «ожерелья» — Владимира Маяковского, Валерия Брюсова, Сергея Городецкого, Велимира Хлебникова, Николая Клюева, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Галактиона Табидзе, Максима Рыльского, Степана Щипачёва, а перед ним — как щит — одноклассник его Михаил Светлов:

*В этой бешеной круговерти  
Я дорогу свою нашёл,  
Не меняюсь я, и к бессмертью  
Я на цыпочках подошёл.*

А за ним — как плечо друга — тоже одноклассник — Илья Френкель:

*Об огнях-пожарищах,  
О друзьях-товарищах  
Где-нибудь, когда-нибудь  
Мы будем говорить...*

А дальше — Александр Жаров, Муса Джалиль, Николай Рыленков, Семён Липкин и много кого ещё из тех, кого читаем подчас как собственную исповедь.

Поистине, жизнь многих из них — «бешеная круговерть», но дорогу свою они нашли — к тем читателям нашли, к нам нашли, а от нас они не могут не пойти к другим поколениям.

Своей дорогой шёл по жизни и в поэзии и Иосиф Уткин. Детство — Хинган, Китай, тревожная КВЖД, которую строили родители. Потом возвращение в родной Иркутск, нелады в вышеначальном училище, из которого юного Иосифа исключили за своенравие и вольномыслие. Отец бросает семью — Иосиф, мальчик, вынужден работать. Первые стихи, первые публикации в иркутских газетах, напряжённая литературная учёба, ожидания. Но снова лихо: с добровольческой группой иркутского комсомола — на Дальневосточный фронт, на войну. Бойцом, семнадцати-то годков! Потом Москва, Институт журналистики, в который он был направлен в качестве поощрения, выходы первых книг, непростая работа в газетах, издательствах. Весь — в литературе, в общественном котле, до донышка — герой своего времени. А время, известно, не выбирают.

*Я видел, как в атаках  
Глотали под конец  
Бесстрашные вояки  
Трагический свинец...*

Это он в своём «Слове Есенину», тогда недавно ушедшему из жизни, горестно итжит и свой жизненный опыт, а ведь ему всего было 23. Паренёк, но — внешне. Строкой, а значит душой, уже бывалый, уже мудрец. Потому и веришь написанному им тоже в 23:

*...Что пуля? Пуля — дура.  
А пуле смерть — сестра.  
И сотник белокурый  
Склонился у костра...*

Очередное лихо — Великая Отечественная. С первых дней поэт на фронте, не по-этом, не при газетке, а бойцом. Однако поэзия — в сердце, под гимнастёркой, и чуть передышка — стихи, стихи:

*Если я не вернусь, дорогая,  
Нежным письмам твоим не внемля,  
Не подумай, что это — другая.  
Это значит... сырая земля...*



Чуял поэт смерть — раннюю. Но она пока что игралась с ним: на Брянском фронте под Ельней ему оторвало осколком мины четыре пальца правой руки. Ташкент, госпиталь, передышка для духа и плоти — писать, писать! Несколько книг взхлёб напи-

сал и издал. Прекрасных книг военной лирики, если, конечно, можно применить к слову «лирика» слово «военная».

*Командир усталый спит,  
Не спешит савраска,  
Под полозьями скрипит  
Русской жизни сказка...*

Торопился, писал много: чуял, чуял её. Она извечно подстораживает всех настоящих поэтов чуть не сызмала, словно хочет сказать: «Написал, дружок, хорошо в молодости — и довольно: не надо самого себя повторять до старости. Останься в памяти людей свежим, озорным и — любимым».

Мог бы по тылам отсидеться, в редакциях городов. Нет, рапорт за рапортом — на фронт.

Снова попал на Брянский, страшным для России и мира летом 42-го, но уже как инвалид — корреспондентом, спецкором. И можно было бы дотянуть до Победы, испаркивая в редакционном кабинете пером бумагу и статьями, и стихами, но стихия души его была другой стати — ратника-бойца и вечного юноши. Он — в боях, в походах с солдатами. Нет, он не ищет смерти, он ищет истинную жизнь, чтобы рассказать о ней правдиво и ярко, а порой хлётко.

*Я видел девочку убитую,  
Цветы стояли у стола.  
С глазами, навсегда закрытыми,  
Казалось, девочка спала...*

И какие могут быть вопросы, нужен или нет нам сейчас Иосиф Уткин, когда читаешь его «Сестру» (1943 г.):

*Когда, упав на поле боя —  
И не в стихах, а наяву, —  
Я вдруг увидел над собою  
Живого взгляда синеву,*

*Когда склонилась надо мною  
Страданья моего сестра, —  
Боль сразу стала не такою:  
Не так сильна, не так остра.*

*Меня как будто оросили  
Живой и мёртвою водой,  
Как будто надо мной Россия  
Склонилась русой головой!..*

Он погиб, разбившись в авиакатастрофе, в 1944-м, за полгода с небольшим до Победы, возвращаясь на самолёте из партизанского отряда. Да, смертынька улучила момент и — не ошиблась в своём выборе.

В его заостеневшей руке нашли томик стихов Лермонтова. А незадолго он написал:

*Над землянкой в синей бездне  
И покой и тишина.  
Орденами всех созвездий  
Ночь бойца награждена.*

*Голосок на левом фланге.  
То ли девушка поет,  
То ли лермонтовский ангел  
Продолжает свой полёт...*

А ещё раньше:

*Подари мне на прощанье  
Пару милых пустяков:  
Папирос хороших, чайник,  
Томик пушкинских стихов...*

«Произведение подлинно художественное само по себе является источником духовного света, — сказал Иосиф Уткин в одной из своих статей. — Появившись, оно, безусловно, несёт на себе печать и современности и актуальности. Но для последующих поколений, утратив, быть может, что-то в своей актуальности, оно приобретет какой-то новый интерес, не переставая быть источником этого духовного света. Сила, степень этого, так сказать, духовного фосфоресцирования скорее всего определяется степенью одарённости писателя. Требовать от поэта, чтобы сила поэтического накала его произведения превышала законы природы, читатель не вправе. Но блюсти чистоту своего внутреннего света, света своей поэтической натуры — долг художника».

*Голосок на левом фланге  
Оборвётся, смолкнет вдруг...  
Будто лермонтовский ангел  
Душу выронит из рук...*

Наверное, довольно слов, давайте помолчим...





## ИОСИФ УТКИН



### Двадцатый

Через речную спину,  
Через лучистый плёс  
Чугунной паутиной  
Повис тяжёлый мост.

На тишь,  
На побережье качает паровик...  
«Я, милая, приезжий,  
Я в отпуск, фронтовик...»

По краю — тишь да ивы,  
Для отдыха — добро!  
А низом — прихотливо  
Речное серебро.

Сады родные машут!  
Здесь молодость текла,  
И золотые чаши  
Подняли купола.

---

УТКИН Иосиф Павлович родился 14 мая 1903 года на станции Хинган КВЖД. После рождения сына семья вернулась в родной город Иркутск. В 1922 году в газете «Власть труда» появляются его первые стихи на злобу дня. В 1924 году по путёвке комсомола был послан учиться в Москву, где издал несколько книг, создавших ему широкую известность.

С началом Отечественной войны уходит на фронт, воюет под Брянском. В сентябре 1941 года, в бою под Ельней, Уткин был ранен осколком мины — ему оторвало четыре пальца правой руки. За время лечения в Ташкенте им были созданы две книжки фронтовой лирики — «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях», а также альбом оборонных песен, написанных совместно с московскими композиторами. Летом 1942 года Уткин вновь на фронте. Участвует в боях, пишет песни-марши. Многие стихи были положены на музыку, пелись на фронте: «Провожала сына мать», «Дед», «Бабы», «Я видел девочку убитую», «Над родиной грозные тучи», «Я видел сам» и другие. Летом 1944 года вышел последний сборник произведений Уткина — «О родине, о дружбе, о любви». Возвращаясь из партизанского края 13 ноября 1944 года, И. Уткин погиб в авиационной катастрофе.

Привет вам, отчьи веси!  
С победой и весной!..  
Но что-то ты невесел,  
Мой город дорогой.

Дома тихи и строги.  
И не слышать ребят,  
И куры на дороге,  
Как прежде, не пылят.

И яблони бескровны,  
И тяжелы шаги,  
И на соседних брёвнах  
Служивый... без ноги.

Да, ничего на свете  
Так, запросто, не взять, —  
Когда родятся дети,  
Исходит кровью мать!

Но вот и наши сени.  
Но вот и милый кров,  
Где первые сомненья,  
Где первая любовь.

И в этом всё, как прежде, —  
И сад, и тишь, и крик:

«Я, бабушка, приезжий,  
Я в отпуск, фронтовик».

И, взгляд подслепый бросив,  
Старуха обмерла:  
«Иосиф. Ах, Иосиф!  
Я так тебя ждала!»

И я в объятьях стыну...  
«Иосиф, это ты?!»  
Чугунной паутиной  
Качаются мосты.

И мчатся эшелоны  
Солдат, солдат!  
Тифозные перроны  
Под сапогом хрустят.

По бёдрам бьются флаги.  
Ремень, наган — правей.  
И синие овраги  
Под зарослью бровей.

В брони, в крови, в заплатках —  
Вперёд, вперёд, вперёд! —  
Страдал и шёл двадцатый,  
Неповторимый год!!!

1927

## Песня

На Карпатах, на Карпатах,  
Под австрийский свист и вой,  
Потерял казак папаху  
Вместе с русой головой.

Задремавший подорожьем,  
Ветер дрогнул, и с полей  
Он пошёл зелёной дрожью  
По букетам тополей.

Он подался до Кубани,  
День ли, два ли протекло —  
Он добрался до Кубани,  
Свистнул в жёлтое стекло.

В хате девка молодая,  
Позабыв про хоровод,  
На бубнового гадает,  
На червового кладёт.

Или девке это снится?  
Вышла девка — ни души.

Тишь, и лунные лисицы  
Шныряют по двору в тиши.

И смекнула молодая:  
Этот посвист не к добру,  
И стоит она, рыдает  
На порхающем ветру...

...И гремим, и протестуем,  
И терзаем мы любя.  
Эту песенку простую  
Написал я для тебя.

В ней, наивной и напевной,  
Много доброго тепла,  
Чтобы более душевной  
Ты, любимая, была.

Нам, прошедшим зной и снежность,  
Нам, вдыхавшим пыль и дым, —  
Нам нужны друзья и нежность  
Много больше, чем другим.

1927

## Комсомольская песня

Мальчишку шлёпнули в Иркутске.  
Ему семнадцать лет всего.  
Как жемчуга на чистом болюдце,  
Блестели зубы у него.

Над ним неделю измывался  
Японский офицер в тюрьме,  
А он всё время улыбался:  
Мол, ничего «не понимаю».

К нему водили мать из дому.  
Водили раз, водили пять.  
А он: «Мы вовсе не знакомы!..»  
И улыбается опять.

Ему японская «микада»  
Грозит, кричит: «Признайся сам!..»  
И били мальчика прикладом  
По знаменитым жемчугам.

Но комсомольцы на допросе  
Не трусят и не говорят!  
Недаром красный орден носят  
Они пятнадцать лет подряд.

...Когда смолкает город сонный  
И на дела выходит вор,  
В одной рубашке и в кальсонах  
Его ввели в тюремный двор.

Но коммунисты на расстреле  
Не опускают в землю глаз!  
Недаром люди песни пели  
И детям говорят про нас.

И он погиб, судьбу приемля,  
Как подобает молодым:  
Лицом вперёд, обнявши землю,  
Которой мы не отдадим!

1934

## Тройка

*Тройка мчится, тройка скачет...  
П. Вяземский*

Мчится тройка, скачет тройка,  
Колокольчик под дугой  
Разговаривает бойко.  
Светит месяц молодой.

В кошеве широкой тесно;  
Как на свадьбе топоча,  
Размахнулась, ходит песня  
От плеча и до плеча!

Гармонист и запевала  
Держит песню на ремне,  
Эта песня побывала  
И в станице, и в Кремле.

Ветер по снегу елозит:  
Закружит — и следу нет,  
Но глубокие полозья  
Оставляют в сердце след.

Как он близок, как понятен,  
Как народ к нему привык,

Звонких песен, ярких пятен  
Выразительный язык!

Мчится тройка, смех игривый  
По обочинам меча.  
Пламенеет в конских гривах  
Яркий праздник кумача.

Кто навстречу: волк ли, камень?  
Что косится, как дурной,  
Половецкими белками  
Чистокровный коренной?

Нет, не время нынче волку!  
И, не тронув свежий наст,  
Волк уходит втихомолку,  
Русской песни сторонясь.

А она летит, лихая,  
В белоснежные края,  
Замирая, затихая,  
Будто молодость моя...

1939

## Братская могила

*И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлевать...*

*А. Пушкин*

Славлю смерть у сопки Заозерной!  
Ну а я? Неужто — не в бою?  
И не в братскую сойду могилу, а позорно  
На отлёте где-нибудь сгнию?

Понимаю, что не в этом дело.  
Знаю с малых лет, что всё равно,

Так сказать, бесчувственному телу  
Истлевать повсюду. Знаю... Но...

Если посудить да разобраться,  
Нелегко, товарищи, тому,  
Кто боролся на земле за братство,  
Под землёй остаться одному...

1940

\* \* \*

Я видел девочку убитую,  
Цветы стояли у стола.  
С глазами, навсегда закрытыми,  
Казалось девочка спала.

И сон её, казалось, тонок,  
И вся она напряжена,

Как будто что-то ждал ребёнок...  
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,  
Тобою вырванной в бою, —  
О страшной, беспощадной мести  
За смерть невинную свою!

1941

## Если я не вернусь, дорогая...

Если я не вернусь, дорогая,  
Нежным письмам твоим не внемля,  
Не подумай, что это — другая.  
Это значит... сырая земля.

Это значит, дубы-нелюдимы  
Надо мною грустят в тишине,  
А такую разлуку с любимой  
Ты простишь вместе с родиной мне.

Только вам я всем сердцем и внемлю,  
Только вами и счастлив я был:  
Лишь тебя и родимую землю  
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.

И доколе дубы-нелюдимы  
Надо мной не склонятся, дремля,  
Только ты мне и будешь любимой,  
Только ты да родная земля!

1942

## Заздравная песня

Что любит, чем дышится,  
Душа чем ваша полнится,  
То в голосе услышится,  
То в песенке припомнится.

А мы споём о родине,  
С которой столько связано,  
С которой столько пройдено  
Хорошего и разного!

Тяжёлое — забудется.  
Хорошее — останется.

Что с родиною сбудется,  
То и с народом станется.

С её лугами, нивами,  
С её лесами-чащами;  
Была б она счастливою,  
А мы-то будем счастливы.

И сколько с ней ни пройдено, —  
Усталыми не скажемся  
И песню спеть о родине  
С друзьями не откажемся!

1942

## Затишье

*Он душу младую в объятиях нес...*

*М. Лермонтов*

Над землянкой в синей бездне  
И покой и тишина.  
Орденами всех созвездий  
Ночь бойца награждена.

Голосок на левом фланге.  
То ли девушка поёт,  
То ли лермонтовский ангел  
Продолжает свой полёт.

Вслед за песней выстрел треснет —  
Звук оборванной струны.  
Это выстрелят по песне  
С той, с немецкой стороны.

Голосок на левом фланге  
Оборвётся, смолкнет вдруг...  
Будто лермонтовский ангел  
Душу выронит из рук...

1943

\* \* \*

Лампы неуверенное пламя.  
Непогода играет на трубе.  
Ласковыми, нежными руками  
Память прикасается к тебе.

К изголовью тихому постели  
Сердце направляет свой полёт.  
Фронтальная музыка метели  
О тебе мне, милая, поёт.

Ничего любовь не позабыла,  
Прежнему по-прежнему верна:  
Ранила её, но не убила,  
И не искалечила война.

Помню всё: и голос твой, и руки,  
Каждый звук минувших помню дней!  
В мягком свете грусти и разлуки  
Прошлого дороже и видней.

За войну мы только стали ближе,  
Ласковой. Прямей. И оттого  
Сквозь метель войны, мой друг, я вижу  
Встречи нашей нежной торжество.

Оттого и лампы этой пламя  
Для меня так ласково горит,  
И метель знакомыми словами  
О любви так нежно говорит...

1944

## Послушай меня

Послушай меня: я оттуда приехал,  
Где, кажется, люди тверды, как гранит,  
Где гневной России громовое эхо,  
Вперед продвигаясь, над миром гремит.

Где слева — окопы, а справа — болота,  
Где люди в соседстве воды и гранат  
Короткие письма и скромные фото,  
Как копии счастья, в планшетах хранят.

Здесь громкие речи, товарищ, не в моде,  
Крикливые песни совсем не в ходу,  
Любимую песню здесь люди заводят —  
Бывает — у смерти самой на виду!

И если тебя у костра попросили  
Прочсть, как здесь принято, что-то своё —  
Прочти им, без крика, стихи о России,  
О чувствах России к солдатам её.

Как любят их дети, как помнят их жёны...  
И станут тебе моментально слышны  
И снег и деревья — весь слух напряженный  
Овеянной стужей лесной тишины.

И ка бы при звуках родной им трехрядки,  
Словам твоей правды поверив не вдруг,  
Весёлый огонь молодой переглядки,  
Искрясь, облетит их внимательный круг.

И кто-то дровец, оживляясь, подбросит,  
И кто-то смущённо оправит ружьё,  
И кто-то любимую песню запросит,  
И кто-то тотчас же затынет её...

В холодных порядках серебряной чащи  
Осыплется пепел с верхушек седых:  
Как будто простое, солдатское счастье  
Горячим дыханьем коснётся и их.

А русская песня, что с кривдой не в мире,  
Пойдёт между тем замирать на лету,  
Потом, разрастаясь всё шире и шире,  
Как храбрый разведчик, уйдёт в темноту.

1944





ЛИНА ИОФФЕ

## На языке берёз...

Два года назад я прочла совсем необычную и очень красиво оформленную книгу стихов Анатолия Змиевского «Любовные письма». Большой объём — почти 23 усл.-печ. листа (для книги одной темы, пусть даже и любовной, это немало), мелованная бумага, цветные иллюстрации — репродукции картин Сомова, Серова, Врубеля, Боттичелли, Моне, Мане, Ренуара... Книга издана в авторском художественном оформлении и в столь же авторской редакции текстов — каких-либо посторонних редакторов любого свойства здесь и близко нет. Исключение сделано лишь для Нины Мазутовой — исполнителя дизайна макета и компьютерной вёрстки. Сразу бросился в глаза словарь стихотворений: «лунная дева», «певчая шалунья», «медовые завитки», «белоснежные объятья», «брусничный поцелуй», «плаха страсти», «белокурое счастье»... Красивая книга, красивые стихи.

И вот, спустя два года, в 2012 году, выходит новая книга Анатолия Змиевского «В полушаге от звезды» — чуть меньшим объёмом и в несколько менее роскошном иллюстрировании. Все остальные издательские составляющие — формат, авторская редакция, авторская идея художественного оформления — те же, что и в «Любовных письмах». Но об одном здесь речи уже нет: книга «В полушаге от звезды» — разноплановая, разножанровая. Здесь и пейзажная, и философски нагруженная, и бытовая лирика.

Когда Змиевский говорит о главных, центральных вещах — это значит о России, о человеческой душе.

*Родину до слёз в себя влюбляя,  
сам в неё влюбившийся до слёз,  
краснобайством громко щеголяя  
на большом девичнике берёз!*

Но в любви к России он признаётся, признаваясь в первую очередь в любви к малой своей родине, родной сибирской земле, суровой и нежной.

*На этой вот земле и мёрзну, и горю,  
молясь на образа невозмутимых звёзд,  
и с родиной моей под ними говорю  
на языке души, на языке берёз...*

---

ИОФФЕ Лина Викторовна закончила филологический факультет ИГУ. Но ещё до получения диплома ее пригласили работать в Восточно-Сибирское книжное издательство: сначала корректором, потом редактором (художественной литературы, позднее — краеведческой) и, наконец, главным редактором. Ей удалось собрать всё вампиловское наследие: «Дом окнами в поле» и двухтомник Александра Вампилова. На её счету — книги библиотеки поэтов «Сибирская лира», серия книжек молодых поэтов «Бригада». Л. Иоффе разрабатывала серии «Литературные памятники Сибири», «Современная сибирская повесть», «Замечательные люди Сибири», составляла сборники лирики «Я встретил Вас», «Гори, письмо любви» и др. В последние годы Лина Викторовна работает в Иркутском ТЮЗе им. А. Вампилова заведующей литературной частью.

В стихах Анатолия явственно ощущается чувство ответственности за судьбу страны и живущих в ней людей.

*Я, даже сбитый с ног, на том стою,  
шепча: от ненавистников веками  
за камнем получающую камень,  
Господь, помилуй родину мою.*

Лирика Анатолия Змиевского — это совершенно особое, горячее внимание к любому предмету на земле, к любому явлению. Это не только стихи о любви, но это всегда неповторимый взгляд на вещи, окрашенный в очень личные, сердечные тона. Это может быть куст цветущей сирени, промокший под дождём, яркая бабочка, заигрывающая со шмелём в цветочной чаще, паровой гудок над туманной осенней рекой. Лирика требует от поэта всех сил сердца, ума, таланта, её не создашь в состоянии опустошённости. Змиевский не жалеет ни сил, ни чувств, он выплёскивает в стихи буквально всего себя без остатка. «Без обожанья жизни жизнь нельзя и жизнью-то назвать», «дразнит белой ножкою взор берёзка светлая», «в вазе озера букет зари пылает», «угождают застенчиво взгляду хлопы, капли, листва, лепестки», «о синие цветы и церкви голубые!», «и если это всё меня предаст, я не предаю из этого ни пяди». И соглашаешься, что поэзия должна отражать жизнь во всём её многообразии, с путаницей фактов, подробностей, колебанием мыслей — на всё это существует естественное человеческое право, и именно тогда поэтическое слово дойдёт до самых отдалённых уголков сознания читателя.

*Слава Мирозданию,  
где сжимает сердце  
то, что без названия,  
с болью по соседству.*

Поэзия немыслима без памяти о прошлом, без проникновения в сегодняшнюю образную систему сюжетов и имён прошлого.

Этим во многом сохраняется единая цепь русской культуры. Поэтические дороги Змиевского ведут к Риму, к Вифлеему, к Марии с Младенцем, к жизни Христа, распятию и Воскресению.

*Воины славу пили из шлемов.  
К Риму дороги вели. К Вифлеему  
то бездорожье вело, что потом  
станет прорубленным в душах путём.*

*И на миг узрело сердце,  
в сокровенном уголке,  
тень Марии и Младенца  
на небесном потолке.*

*Покуда Господь нас прощает и любит  
и ласково смотрит на мир из Вселенной,  
находят на небе, надежду голубя,  
ответные взгляды звезду Вифлеема.*

Конечно, поэзия не может быть учителем и прорицателем, она и не встаёт в эту позу. В поэзии не бывает «мелкотемья». Жизнь — её неиссякаемый источник и вечный сюжет, в котором часто важен пустяк, потому что это «божий пустяк». Главное — чтобы не случилось эмоциональной исчерпанности. Поэзия нуждается в охране, но только от фальши. А весь жизненный и житейский материал всегда способен войти в поэзию, стать ею.

Поэзия Анатолия Змиевского удивительным образом расцвечена. Цвет — одно из главных изобразительных средств нашего автора. Возьмём несколько строф из разных стихотворений:

*Розовый туман — цветёт багульник!  
Что это за розовый туман!*

.....  
*Всё зеленой становится погода  
и всё белей становится в саду.*

.....  
*Мир звенел золотою подковой,  
сладко в грудь ударяя мою  
смесью алого и голубого...*

В поэзии не спрячешься, в ней поэт как на ладони перед человеком читающим. И поэзия по самой природе своей стоит на страже человечности, она союзник в борьбе с духом уныния. В самых горьких стихах непременно таится восхищение перед жизнью. И такие строки — горькие и счастливые — у Анатолия Змиевского есть:

*В постели трав недужит вечер.  
Сирень-сиделка, не радей:  
слезливой грусти не излечит  
тоска лиловых фонарей.*

*То, что прочно, то и зыбко,  
и судьба — как чёрный ящик:  
то ль счастливая ошибка,  
то ль фатальное несчастье.*

*Безжалостны осени руки,  
но и чудотворны они.  
Сжуют избавленье от муки  
её золотые огни.*

*Зной, дождь и снежная крупа —  
всё остаётся за спиною,  
и всходят звёзды подо мною,  
и здесь теряется тропа...*

Говорят, что стихи сейчас читают меньше. Возможно. Но «отпадают» от стихов — случайные читатели. «Отпадают» и случайные поэты. Но поэзия истинная остаётся всегда. К ней я отношу многое из созданного Анатолием Змиевским.

*Боже, сколько счастья я изведаль,  
сколько крови в творчестве пролил!  
Но не жаль мне крови для победы,  
даже если я не победил.*



СЕРГЕЙ КОРБУТ

## На тропе к истине

Недавно у известного сибирского писателя Кима Николаевича Балкова вышла новая книга «Куда подевалось небо». Это книга рассказов, но написанная (или составленная) так, что если перечитать её вразброс, по принципу «Игры в классики», предложенной когда-то Хулио Кортасаром, и вспомнить, что в жанровом определении своих творений К. Балков бывает столь же оригинален, как и в стиле (например, «За Русью Русь» — это роман-рапсодия), то единство пространства и времени всех составных частей данного издания вполне можно воспринять как стержень своеобразного «романа в рассказах» о людях и духовно-нравственной атмосфере современного Подлеморья (так автор называет побережье Байкала). Герои рассказов-глав сменяют друг друга, но никуда не уходят, их образы так сразу и цепко врезаются в память, словно они остаются где-то «на сцене» и уже вместе с читателем следят за развитием действия в мире, который им бесконечно дорог.

Какие же они — герои этого «романа»? Что их объединяет так, что и разорвать нельзя, не разрушив что-то важное, подспудное, самим им до поры до времени непонятное или смущающее?

«Впрочем, смущение оказалось коротким и лёгким, как воробьиное пёрышко, исчезло, едва коснувшись сознания. Но осталось нечто, о чём он не хотел бы сказать и себе самому» — эти предпоследние фразы книги (рассказ «Золотое облако») словно подводят итог целому ряду интерпретаций по тому же поводу:

«Много чего есть на земле, к чему тянется сердце, но что ни с какой стороны не поддается осознанию» («Небесный хворост»);

«Дамдин долго стоял возле холмика, неведь о чём думая. Но, кажется, о чём-то дальнем и неугадливым, отчего на сердце сделалось щемяще грустно. Впрочем, щемота не угнетала, была тихой и светлой. И не хотелось, чтобы уходила» («Не поспешай, брат»);

«Долго сидел, понурясь, и привычно думал о чём-то дальнем; ни с какой стороны не подтесниться к этому, не разглядеть... А коль скоро отметится что-то, всё ж не задержится и уплывёт в розовую мглу» («Дед-сто лет»).

Однако есть среди подлеморцев и более уверенные в своих ощущениях люди. В «Сладкой паутине» это Ульян Ульянович, учитель и директор начальной школы, которую закрывают в угоду заявившим свои права на школьный особнячок родственникам его бывшего (до советских ещё времен) хозяина-рыботорговца. Учителю «нередко мнилось, что он вхож в иные миры. И он уходил в них, когда отстранялся от ближней жизни. Коль скоро не глянулось бы там, он унял бы себя и остался бы на земле...»

А взять и самого автора, который в рассказе «Дима чокнутый» ведёт повествование от первого лица. Кстати, рассказ этот находится в зоне так называемого «золотого сечения» книги, то есть её основного гармонического центра, в самом «яблочке» которого красуется фраза «Чеканутые оба. И о чём толкуют, когда сойдутся?...»

---

КОРБУТ Сергей Владимирович, поэт (род. в 1956 г. в г. Камень-Каширский, Украина). Автор книг: *На грани возможного* (Стихи по кругу. Вып. 2); (Иркутск, 1993), *Все стихи* (Иркутск, 2005); публикаций в коллект. сб., периодике. Член Союза писателей России

Тут своеобразная переключка: и Дима, который «порой способен был и вовсе сделаться точно бы не принадлежащим ближнему миру», и рассказчик — тоже «вхожи», и то, что они порой видят и чувствуют одно и то же, как бы подчёркивает существенность выходящих за рамки привычной реальности образов: «Чуть погода мы увидели на синей волне чёрный кораблик. Непонятно, откуда он появился...»; а потом «кораблик пропал, растворился в небесном пространстве. Вот так-то: не затонул, захлебнувшись, а растворился, и через минуту-другую уж не сказал бы, на самом ли деле был он, иль только померещилось, что был?...»

Подобные моменты повествования не только передают эмоциональное состояние человека в некий момент, но и являются событийными составляющими книги в целом. То есть внутренние, личностные, незримые события и являются общей канвой пригрезившегося мне как читателю единого «романа». А основные персонажи тем и живы, тем и реальны, и дороги, что, «потеряв в себе», «утратив в душе своей», словно бы «оказавшись не в своей тарелке» («Что же нынче-то стряслось, отчего всё в нём перевернуто?», «Ей всё время казалось, что она упускает что-то важное», «...в теперешней его жизни, которая сделалась ничем не примечательной, ни к чему не влекущей»), стремятся, пытаются, надеются в себе же и поменять что-то. В себе, а не в окружающем мире, который изменился так, что «замутнело в душах». Тут и «вечный» Дед-сто лет сдал: «Ну, чем он мог помочь, когда на улочках поселя началась другая жизнь? Кому теперь надобны поучения про то, что не стоит заслонять свет, который в душе, а беречь это, от Бога явленное? Ну, не греет это теперь никого, честное слово! Нынче надо иметь глаз зоркий и руки хваткие, тогда и станешь жить».

А началось всё с «пришлых чужих людишек», чужих, прежде всего, по духу, и тут надо учесть, что Подлеморье, где уже много лет всем своим творческим существом живёт Ким Балков и которое оказалось лакомым куском для нуворишей и власть имущих, мир особенный, по-своему изначально замкнутый (есть в этом чуть-чуть от средиземского Хоббитшира, в некоторых переводах — Заселя, придуманного Джоном Толкиеном), а значит, и особенно ранимый. Контрастным фоном коренным, не поддающимся на соблазны времени подлеморцам служат «люди без души», люди «без всякого желания что-то поменять» в нынешней смутной жизни. И тем, кто не поддался «обезличке» временем, в своей надежде на Бога или богов (смотря по вере), тоже не чужды сомнения:

«Впрочем, эта была не надежда, а что-то другое, может, глухое, спотыкающееся на ровном месте недоумение, которое крепко взяло его в плен и уже не отпускало...», «О Боги, что же происходит и отчего? Отчего сильный норовит отнять последнюю надежду у слабого, а нередко и его жизнь? Отчего никто не воспротивится этому и не установит справедливость?» — так думает пастух Цыденжап из рассказа «Небесный хворост». И Дед-сто лет, понимая, что сам он уже не в силах никому помочь против «тех, приезжих, кого не знал, разве только то, что были они сумасшедше сильны и никто не мог совладать с ними, один Бог...», вопрошает: «Да где Он нынче? Неужели не видит, что творится на отчей земле? А если видит, пошто не приструнит зарвавшихся? Пошто не накажет их?» И тем, кто верит в верхних и нижних богов, начинает казаться, что верхние забыли о людях, в то время как нижние так и норовят «вставить палку в колеса»...

Не потому ли многим, «потерявшим в себе», но не потерявшим ещё себя, как Гале Чункиной из рассказа «По ту сторону», так «хочется перешагнуть через что-то в себе самой и оглянуться вокруг и увидеть такое, чего прежде не разглядела, и порадоваться тому, что открылось».

И ведь открывается! И не без чуда! То деревца чудные, то хворост небесный, то огонёк среди моря: «На душе у Власа, и он ощутил это и приободрился, не то чтобы полегчало, однако не было смурно, как прежде, точно бы благодатный огонёк, который нынче зажётся посреди моря, осветил всё в нём. Словно бы и огонёк был не прочь подсобить Власу, вроде бы и его волновало, что станет с ним уже завтра, отыщет ли он в себе те нити, что протянулись к нему от дедов и прадедов, иль так и пребудет меж небом и землёй, никому не надобный, пустой для всех» («Ведьмин внук»).

Ким Балков ни в коей мере не лишает надежды тех, «кому потребна истина, но кто пока пребывает на тропе к ней». Устами архата (святого) он убеждает читателя, что нужно «продолжать искать в себе. Выстраивать хотя бы то, что рождается в душе, усмирять толкающее ко злу, лелеять благо дарующее, обращённое к свету. Жить, не замутняя душу дурными желаниями».

Говорят, что Ким Балков пишет сложно, но при этом среди его преданных читателей немало отнюдь не искушенных в философии или психологии «простых» людей. Наверное, эта «сложность» не заслоняет им благодатного огонька души автора, и они чувствуют, что этот огонёк не прочь пособить им глубже понять нравственные основы бытия в поисках нитей, связующих с Истиной. Согласитесь, что это сложнейшая творческая задача, для решения которой, как говорит сам Ким Николаевич, «писатель должен уйти от людской суеты во всемирное созерцание».

Стиль Кима Балкова можно определить как «медитационный» — он завораживает, уводит душу читателя в некое «астральное» пространство, где вроде бы ничего существенного не происходит, а течение мысли идёт по кругу; но в объёме всего текста обнаружится своего рода спираль, не имеющая ни конца, ни начала, однако направленная в движении своём к свету, к непознаваемой, но вовлекающей в познание Истине.

Да, простыми наблюдениями за окружающей жизнью и изучением исторических документов тут явно не обойдёшься! Ну что нового можно было написать о Будде? Однако даже люди, хорошо знакомые с трудами исследователя буддизма Ф.И. Щербатского, прочитавшие «Жизнь Будды» Ашвагхоши и драмы Калидасы в переводе Константина Бальмонта, а также более приближенные к современности жизнеописания Рамакришны и Вивекананды Ромена Роллана и блистательный роман «Сиддхартха» Германа Гессе, не смогут упрекнуть Кима Балкова во вторичности, его роман «Будда», как отметил кто-то из критиков, мог появиться только на русской почве. И обращён он, прежде всего, к русскому человеку с его традиционными духовными исканиями.

Для меня первое прочтение «Будды» оказалось не из лёгких, но это не смутило. Так же с определённым усилием входил в произведения многих признанных классиков — от Фёдора Достоевского и Томаса Манна до Леонида Леонова и Умберто Эко. Зато потом чувствуешь себя полностью вознаграждённым за терпение.

К тому же, несмотря на весьма приличное знакомство с материалом, составившим почву романа Кима Балкова, на естественное присутствие повторяющихся в канве повествования эпизодов, моё сознание отказывалось заниматься сопоставлением прочитанного ранее и открываемого вновь. Оно как бы подчинилось магнетическому потоку сознания автора и увлеклось им в глубину потока времени, всё более ясно ощущаемому от страницы к странице.

«Успокоение сущего в человеке — вот цель, вот блаженство, к которому надо стремиться, всё прочее суть не от потребности истины, а от жизни, которая есть что-то извечно мятущееся, исталкиваемое из самой себя, но вовсе не для того, чтобы обрести по истечении времени твёрдость и необходимую для утверждения собственной сути в пространстве изначальность, а чтобы сделаться ещё суетливей и тревожней» — это не пропаганда основ буддизма, а приглашение к духовному путешествию в глубину времён, к истокам познания. Обрести необходимую для утверждения собственной сути в пространстве изначальность — не эту ли задачу пытается помочь решить читателям Ким Балков?

Сопоставляя «Будду» с более ранними произведениями автора, вполне можно ощутить их как параллельные потоки, то есть предположить, что этот роман вызревал уже в процессе работы над ними. Хотя повествуя о сложнейших, драматических событиях в истории России («Идущие во тьму» и «От руки брата своего»), автор не столь философичен — слишком близко к сердцу пролегает историческое противостояние «красных» и «белых». Но пишет с такой мудростью и стремлением понять обе, проливающие кровь «брата своего», стороны, что «избитая» тема воспринимается как откровение, помогающее понять, «почему происходят события в истории, в пространстве».

Это не значит, что, начитавшись Балкова, мы сможем примирить в себе движение к истине с историческими деяниями людей. Порой кажется, что многое из происходящего в



России ныне и происходившего на Руси издревле противоречит её духовной сути. Может, это оттого, что каждый человек, в том числе и любой выдающийся исторический деятель, вынужден в движении к цели «переходить Рубикон», подвигая события вперёд, в то время как духовный поток увлекает его отдаться течению?..

Движение воды, образ реки играют в произведениях Кима Балкова значительную роль именно потому, что увязываются с древними философскими учениями. Увязываются подспудно, а не так прямо, как, например, в повести Гессе «Сиддхартха», где Васудева говорит своему ученику: «Она всё знает, эта река, всему у неё можно научиться. Ведь ты уже усвоил её первый урок: хорошо стремиться вниз, погружаться на дно в поисках глубины» — и, сетуя на то, что для великого множества людей, которых он перевозил, река была лишь препятствием на пути, отмечает: «...среди сотен и тысяч путников было несколько, четверо, а может быть, пятеро, для которых река перестала быть просто препятствием, они услышали её голос, они внимали ему, и река стала для них, как и для меня, священной».

Без отношения ко времени, можно сказать, что Ким Балков — один из «четверых, а может быть, пятерых», кто услышал голос «реки». И многие его герои из романа «За Русью Русь» оказываются на берегу реки в минуты определяющих их судьбу раздумий:

«Владимир... смотрел на воду и видел великое её недвижение, неустремлённость ни к чему, ни к какому порогу, а происходящее на поверхности, вроде бы даже волнуемое страстью, это всё внешнее, наносное, лишь для поверхностного взгляда. На самом-то деле вода своим недвижением и определяла сущность дальнего и ближнего мира. «Истинно то, что вышло из мирового покоя и несёт на себе печать его, — сказано в древних Ведах. — И прозревающий в душе обратит к нему, благо дарующему, слабое и переменчивое сердце своё». А потом случилось так, что Владимир забыл про всё земное совершенно... Его дух, вознёсшийся к небесным далям, с необычайной лёгкостью постигал огромные пространства, как если бы они умещались в знакомой ему по земной жизни ладони, и он разглядывал их с неослабным вниманием и дивился многообразию того существования, которое открывалось ему, но более всего разлитому по небесному пространству покою... он принимал всё, как есть в этих мирах, естественно и просто».

Но не так всё было естественно и просто на земле, когда Владимир силой объединял раздробленную на княжества языческую Русь и приводил её к христианству. Великое и страшное это время, кажется, ещё не имело в литературе такого широкого, философского осмысления. Кстати, аннотация к книге поправляет меня: мол, правильной было бы сказать не языческая, а ведическая эпоха, — хотя не все, конечно, с этим согласятся. Взгляд на историю никогда не бывает однозначным, даже когда речь идёт о недавно минувшем, а уж когда о скрытом за далью веков — тем более. Поэтому не мудрено, что авторы исторических романов нередко подвергаются критике за «искажение» истории или её домысливание.

И здесь я не могу удержаться ещё от одной ссылки, на этот раз на Даниила Лукича Мордовцева («Мамаево побоище»): «За недостатком «документов», история почти ничего и не знает наверное... Совсем иначе относится к этим вопросам «незаконное дитя истории и фантазии», то есть «дитя любви», как называл когда-то Сеньковский «исторический роман»... Принимая в соображение всю сумму данных об известном лице, об известном событии и эпохе и исходя из требований общих законов жизни, он говорит: хотя документы и ничего не говорят о том, было ли или нет то-то и то-то, но по сумме таких-то и таких-то данных оно должно было быть, и потому было... На его стороне есть и ещё одно громадное преимущество перед своею «матушкой»: старушка история... не может сама рыскать по полям сражений, переноситься из столетия в столетие и видеть всё своими глазами; а незаконное чадо её... видит всё сам, живёт во все века, был на всех битвах...»

Такое вот преимущество на стороне Кима Балкова. И при чтении его романа-рапсодии «За Русью Русь» меня не оставляло ощущение, что автор «видел всё сам, жил во все века и был на всех битвах». Хотя битв-то, собственно, в романе и нет. Он построен таким удивительным образом, что «события» как таковые остаются как бы за кадром, но тем зримее проявляется их смысл, их значение для духовного развития героев, влияющего на исторический процесс. Все главные действующие лица в романе в той или иной степени наделе-

ны духовным видением, ощущают свою связь с Небом. Переживания, размышления Владимира и Могуты, Добрыни и Варяжки, Рогнеды и Юлии «до» и «после» свершающихся перемен, взаимоотношения героев — всё это оказывается важнее, чем отсутствующие картины битв между теми, кто отстаивает завет дедичей «сильные племена — сильная Русь», и теми, кто несёт новый завет «сильная единая власть — сильная Русь». Характерно, что едва ли не единственная картина битвы дана в восприятии бывшего воина, странствующего слепого гусляра Будимира, который перед началом сечи сказал Владимиру: «Правда одна, княже, и она не открылась пока ни тебе, ни Могуте. И да помогут вам Боги!»

Особое значение для понимания философской канвы романа имеют прозрения и размышления волхва Богомила и старца Видбора. Богомил, олицетворяющий ведическую эпоху, изрёк перед смертью: «Моё время ушло, и я ухожу за ним, и да не скажет никто худого слова в осуждение уходящему!» И этот момент является логическим завершением первой части романа (их всего две), хотя далее описывается посещение Владимиром пещеры почившего ясновидца, потом неудачная попытка человеческого жертвоприношения Перуну, и в самом конце звучит беспрестанно мучающая героев Кима Балкова мысль: «Так что же тогда есть истина, где истоки её?!» Видбор в начале второй части сказал Владимиру «про Бога единого, открывшегося ему во всём великолепии и славе. И про Христа, Сына Его возлюбленного, а вместе и Сына Человеческого»: «Не к Нему ли, в котором Божье благоволение, обращены ныне сердца многих людей и на Русской земле?.. От Единого Бога и власть на Руси должна стать едина и никем не разделяема...»

Впрочем, попытки смыслоопределяющего цитирования романа «За Русью Русь» обречены на провал — нельзя, зачерпнув из потока несколько пригоршней, передать главную его суть — силу движения и силу вовлечения в это движение. Талант большого писателя в том и состоит, что он воздействует на читателя не только словом, но и проявляемой через слово провидческой силой, без которой, уверен, здесь не обошлось. И мне жаль, что из более поздних изданий исчезло чисто балковское определение жанра романа «За Русью Русь» как романа-рапсодии. Ведь рапсодией называют музыкальное произведение, отличающееся свободой формы, использованием народно-песенных форм, эпическим характером. По словарному определению, оно «как бы воссоздаёт исполнение рапсода». А рапсоды (декламаторы) в Древней Греции исполняли эпические поэмы без музыкального сопровождения, при этом, что важно для нас сейчас, не импровизировали песен, но комбинировали («сшивали») — так переводится первая часть слова «рапс», вторая часть «ода» означает — «песнь») отрывки разучиваемых по записи текстов. В данном случае отрывки истории так филигранно «сшиты» провидением автора, что возникает ощущение живого прошлого.

Со страниц романа «Берег времени», где история как бы проступает сквозь день сегодняшней, на читателя вновь дохнуло непознанным. Приметы современности — сродни тем, что проявляются в рассказах, с которых мы начали: обнищавшую прибайкальскую деревню душат особняки новых богачей, жители уходят в тайгу, но едва обустроились там — новая напасть: вблизи обнаружили золото, и появились «окупанты» покруче. Как защитить свой клочок земли простому люду? Есть ли конец его страданиям? Думы об этом снова выводят автора на исторические параллели, полные трагизма...

Однако, как и сама жизнь в своей простоте, всё это не определяющие события романа. Определяющие свершаются вне мирской суеты. «Да и что значит быть в миру? Он что-то слабо помнит про него, смутное что-то, далёкое, легко разрываемое, будто облачко, коль скоро нагонится ветром: вот только что маячило в ближнем небе, а уж нет его, унесло куда-то, раздёрганное и ослабленное...» — это про «православного человека» Антония, одного из двух странных прибайкальских странников (второй — буддийский монах Агван-Доржи), для которых мирская жизнь и мирское время менее реальны, чем жизнь и время духовные. Антоний, например, общается с Аввакумом, Агван-Доржи видит духов... Не зная друг о друге, они полгода идут по одной тропе на расстоянии семи дней пути, в чём автор видит некий Знак, дарованный свыше, понять истинное назначение которого им ещё предстоит.

Попади эти два героя в пространство романов «За Русью Русь» и «Будда» соответственно, они пришлись бы там и к месту и ко времени, возможно, от их слова зависела бы история. А тут вдруг оказывается, что оба они... убежали из сумасшедшего дома. (Как тут не вспомнить «оба чеканутые» из рассказа, где открыто появляется авторское Я?!) А и действительно — куда ещё девать обществу людей, которые толком не сознают, где находятся, и «контактируют» с теньями? И куда бежать, даже пусть и не сознавая, что бегут, этим людям как не в полумистическое Подлеморье (так же случайно оказывается здесь сбежавший от «ментов» невинно преследуемый Никифор из «Сойкиного гнезда»). Однако, дав читателю ненадолго расслабиться, Ким Балков задаёт новую загадку (а скорее, даёт отгадку): заново запертые в одиночных кельях бывшего Троицкого монастыря Антоний и Авган-Доржи заново и исчезли. «Вот именно, не ушли, а исчезли, растворились в пространстве, соединяющем земную жизнь с небесной». Что потеряло при этом Подлеморье, остаётся только догадываться, но недаром так долго-долго плакал в ту ночь у монастырских ворот рыжеголовый мальчишка. Этот плач единороден с вопросом «Куда подевалось небо», объединившим в неразрывное целое — книгу — рассказы о людях, едино с Байкалом живущих. Здесь, кажется, уже сам автор вступает на осиротевшую после исчезновения двух странных странников тропу, чтобы поддержать читателя в том мире, который замутил души.



ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ

## Непутёвые заметы

В первом и втором номерах журнала «Сибирь» за 2012 год напечатаны «Путевые вехи» Анатолия Байбородина — «одного из немногих сибирских писателей-стилистов», как назвала его сотрудница центральной городской библиотеки г. Усолья-Сибирского (об этом сообщается в конце первого номера журнала). Действительно, языковой стиль Анатолия Григорьевича живо напоминает нам русские былины и народные сказания, разговорную речь простых селян. Давайте вместе, любознательный читатель, заглянем в творческую лабораторию автора и попытаемся понять, как же достигается это языковое своеобразие, какие приёмы и способы использует он в работе над словом?

В этих «радостных и печальных, светлых и сумрачных заметах» наш земляк вспоминает своё детство (глава «Озеро»), описывает старинные русские обряды («Музейное село»), размышляет о нашей нынешней действительности («Жизнь продолжается», «Идолы»), да и просто отмечает запавшие в душу эпизоды из повседневной жизни («Дай удрал в Китай», «За други своя», «Таёга», «Идолы»). И во всех этих тематически разных зарисовках звучат единые стилевые интонации, выразительность которых усиливается за счёт использования неисчерпаемых возможностей, присущих разве только русскому языку.

В первую очередь это употребление приставок и суффиксов, придающих словам характерную просторечную окраску. Привычные приставки заменяются другими, этим и достигается неожиданный, но яркий эффект. Например, *признакомились*, а не «познакомились», *погляд* (взгляд), *счерневший* (почерневший), *обредевший* (поредевший), *расчатый* (початый)... Иногда приставка совсем удаляется из знакомого слова и возникает новое: *дивление* (удивление). С помощью приставок часто возникают другие поразительные конструкции: *укрыливший*, *угревный*, *припотеть*, *запохаживать* и т. д.

Не менее изобретательно происходит словотворчество с помощью различных суффиксов. Вот как приобретают особую звучность слова при помощи суффикса *-ист-*: *отмашистый*, *дыбистый*, *колышистый*, *раскачистый*, *балагуристый*, *охватистый*... А вот примеры творческого применения других суффиксов: *гнучий*, *щекотящий*, *бранливо*, *одышливо*. Особую камерность придают авторской речи широко используемые уменьшительные суффиксы, которые в изобилии встречаются на страницах: *душенька*, *силушка*, *небушко*, *новинушка*, *моченька*, *работушка*, *чадушко*, *годинушка*, *кровушка*, *хозяйнушко*, *поклонец*, *мальчонка*, *рубашонка*, *бабонька*, *утречко*...

Есть у рассказчика особенно полюбоившиеся слова, которые он щедро вкрапляет в повествование иногда по несколько раз на одной и той же странице и даже на близко расположенных строчках. «Окуньки... *куражливо* воротят носы», а чуть ниже — «недобрая, *куражливая* хмурость» («Озеро», песнь первая); «на *диво* глубокое... озеро», а через десять строк — «День... на *диво* тихий» («Озеро», песнь вторая). Также на одной странице могут встретиться «*ярые* окуни» и «*ярые* костры» (песнь вторая), а немного дальше, в четвёртой песни, как бы отзываясь им, «*яро*... *запохаживала* рыба». Но это ещё не всё: в пятой песни взмечтаются в *занебесье* (ещё одна находка автора) «*ярые* крылья»! Или упоминается «...лодка-плоскодонка, *вкрадчиво* скользящая по... воде» и на этой же строке — «Тихо, *вкрадчиво* гребёт парнишка...» («Озеро», песнь вторая). Казалось бы, до предела уже на-

сыщен текст этим словом, однако на полстраницы ниже, в начале песни третьей, читаем: «...после мягких и влажных снегов, *вкрадчиво* застивших весь белый свет...». Но и далее, в конце песни четвёртой, находим «...с *вкрадчивым* всплеском...» (всплеском? — В.Д.)!

Этот «оружия любимейшего род» широко используется писателем во всём объёме текста. Читаем главу «Музейное село»: «*чадородно* заживут домочадцы», «*чадородная* мощь», «бабье *чадородие*». Выражение «*зоревый* свет» здесь дважды встречается на протяжении каких-нибудь двадцати строк. Далее, пробираясь от вежи к веже, найдём и воду *зоревую* (а также *зоревые* воды), и *предзоревые* одонья сна, и *зоревое* смущение, и *зоревое* (наречие)... И вот ещё из других глав: «*заполошные* голуби», «*заполошная* радужка», «погода на озере менялась... так *заполошно*»; «яко чугунная баба», «яко клещ»; «со всей ошалевшей *моченьки*», «что есть *моченьки*», «из последней *моченьки*»; «*чуёт* моё сердце», «*учуя* всем сердцем», «*учуя* мою скорбь», «явственно *чуешь*»; «*своекорыстное* многолюдье», «*своекорыстная* добыча»...

О других часто употребляемых словах умолчим, рискуя быть обвинёнными в чрезмерной дотошности. Не обладая равным автору «Путевых вех» талантом, невозможно постигнуть весь глубокий смысл его пристрастия к подобным повторам.

Былинная величавость написанного достигается также широким использованием древних и не очень древних, но давно вышедших из употребления в повседневной речи слов: *дева* (и отсюда *девьё* лицо), *чуть* (никак не «чувствовать»!), *сколь* (а не «сколько»), *житные* (то есть хлебные), *ежли* (даже не «ежели»), *доспел* (уразумел, понял), *або*, *нынь*, *яко*, *ино*, *кои*, *сей*... Кроме того, вплетаются в текст и целые устоявшиеся словосочетания: *ором орать*, *просом просить*, *годом да родом*, *младые уста*, *живота не жалеть*... Такие славянизмы включаются автором даже в описания современных наблюдений. Например: «Ох и возрадовался я: „Господи, неужли дожил до светлого утречка, и нынь своротят богоборца, что бельмом торчал в глазу”»; «Насосался кровушки русской, яко клещ...» («Идолы»). Или: «Попрощался и думаю: за други своя не жалеет живота, а у самого и живота осталось... добрести до погоста» («За други своя»). А вот ещё: «Русоволосая, синеокая дева... похоже, поджидает милого дружка» («Жизнь продолжается»). И этот творческий почерк выделяет писателя из сонма других, пользующихся в таких случаях исключительно нынешней лексикой.

Но иногда (хотя и очень редко) писатель допускает небрежности, которые проявляются в некотором отклонении от единого стиля рассказа. Например: «...спит, словно малое *чадушко*, насосавшись *молочка* из *бутылочки* с рыжей соской» («За други своя»). Дерзну, недостойный, поправить сочинителя: для соблюдения принятого стиля я бы закончил фразу так: «...с *рыженькой сосочкой*». Но подобные недоработки (возможно, являющиеся таковыми лишь на наш неискушённый взгляд) встречаются очень редко и не меняют общего впечатления.

Из того, что удалось ещё заметить, упомянем следующее. Автор иногда придаёт глагольную форму различным существительным, отчего получаются слова совершенно изумительные: *чешутся*, *укрылить*, *миражить*, *утварить* (от «тварь»? ). И это тоже один из способов выработки писателем своего оригинального стиля. Другой способ — цветовая характеристика глагола: *сине позванивали* («Озеро», песнь третья). Вдохновившись, начнём придумывать сами: *красно подбрасывали*, *оранжево налетали*, *фиолетово относились*... А ещё, оказывается, можно разделить на две части пишущееся слитно слово, вставить между ними относящиеся к корневой основе эпитеты и получить совершенно замечательное словосочетание: *до буйного, зелёного пьяна* («Озеро», песнь пятая). Но, к сожалению, эта операция не очень оригинальна, и нам уже встречалась в шансонном творчестве: «...вдруг стала раздеваться *до самого гола*». Впрочем, для развития данного приёма нет ограничений: *до снежного бела*, *до полного сыта*, *до ночного темна* и т. п.

Нельзя не сказать об одном прискорбном явлении. К сожалению, во многих материалах журнала не так уж редки грамматические (а также синтаксические) ошибки, присутствуют они и в «Путевых вехах»: *песчаНная коса*, *золочеНные кресты* (но с двумя «н» пишутся лишь всем известные «стеклянный, оловянный, деревянный»), *бедАлажный*

(но ведь бедОлага), *затабАрились* и *табАрное* костровище (но основа здесь «табОр»), *в отличиИ* (топор, в отличии от пилы, заглаживает поры), *бОтАжском* (исходное слово «БА-тОг, БАтОжок»), *светилАСЬ приозёрнАЯ* ковыль (но «ковыль» — слово мужского рода), *в потьмах...*\* Хотется верить, что в приведённых выше примерах кроются, конечно же, недоработки корректуры, а не ошибки автора. В любом случае корректуру надо бы проводить тщательнее. Правописание в литературном издании должно быть безупречным.

Наверное, многое ещё упущено нами, утаилось от глаз, а если и не утаилось, то мы не считаем себя вправе долее задерживать внимание читающей публики нашими изысканиями. Но думается, что по приведённым выше фрагментам любой непредвзятый читатель убедится, что писатель сполна использовал в своём творчестве — и не только использовал, но и углубил, и расширил, и обогатил — те стилистические приёмы, которые лишь мимолётно обрисованы в бессмертном произведении классиков советской литературы И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок»:

*«Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушкѹ. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился...»*

Кстати, если уж речь зашла об Ильфе с Петровым. В конце этой заметки мы хотели, сведя наши наблюдения в систему, приложить небольшой список наиболее характерных для данного стиля слов и выражений, подобный тому, что составил незабвенный О. Бендер в помощь пишущей братии. Но, поразмыслив, отказались от этого намерения, так как всякий, кто внимательно ознакомится с обозреваемым нами произведением, без труда составит такой список сам.

И ещё об одной детали. В «Путевых вехах», вошедших в первый номер журнала, автором приведено стихотворение Лермонтова «Родина» («Люблю дымок спалённой жнивы, // В степи кочующий обоз...»). Каким-то образом наш великий поэт более чем полтора века назад написал о любви к России простыми, современными и нам словами, не прибегая к разным «або», «еси», «нынѹ» и обойдясь без рассмотренных выше способов, приёмов и методов. Но ему было легче — он не был стилистом.

---

\*Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005.





АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

## Дорога судьбы Карлоса Баляна

Новая поэтическая книга Карлоса Баляна «Дорога судьбы» (издательство «Сибирская книга») о двуединой дороге его судьбы — сибирской и армянской. Несомненно, его сердце — там:

*Армения! Спой песню мне,  
Родную песню святых гор...*

Его жизнь — здесь:

*Там, в гранатовом сердце моём,  
Много зёрен для целого мира.  
Унесла меня жизнь далеко,  
Щедро их разбросать попросила.*

А потому испепеляют душу вопросы:

*...когда подарит крылья мне  
Судьба в чужой и шумной стороне?*

Карлос Балян — восточный эпический поэт. Эпическими становятся не потому, что хочется написать что-нибудь этакое масштабное, всеохватное, величаво-героическое, а потому, что Судьба призвала, если не сказать крепче — велела. И жизнь так сложилась, что сердце — в надрыве:

*Я — человек, и я — поэт — не золота прошу.  
Прошёл я по дорогам мук, не потеряв себя...*

Эпический поэт кровно повязан со своим народом:

*Доживу ль до поры самому увидеть,  
Как единый порыв соберёт всех армян,  
Как в большую, Масису подобную, рать  
Мы сольёмся из дальних неведомых стран...*

*Армения! Спой песню мне,  
Родную песню святых гор.  
Где кровью павших на войне  
Алеют камни до сих пор.*

*...Я мой величавый Армении мир  
Оглядывал гордо с вершин голубых...*

Эпический поэт спросит, бывает, так, словно бы глас небес раздался:

*Какой ты армянин, когда  
С Арменией ты сердцем врозь...*

*...Как заблудившийся олень, не знаешь, где пути.  
С чужбины звать какую тень, родной? Куда идти?..*

И скажет, как клинком взмахнёт, осеивая воздух блеском стали:

*Святыня — дом, где я рос...*

А потом в горечи великой сердца своего будет сетовать, сетовать, не ведая исхода и утешения:

*Там, где вчера была единая страна,  
Теперь десяток стран — заставы на границах.  
И за чужой стеной нередко брань слышна,  
А то и синяки видны на гневных лицах.*

*Где общий стол?  
За ним сходились в дни побед.  
Где общий гимн?  
К нему мы не остались глухи.  
Всё в прошлом!  
А теперь нам застилают свет  
Лишь вороньё вражды и неурядиц мухи...*

Карлоса Баляна от скуки не почитаешь — его горящий стих ранит, обжигая. И эту восточную страстность не охладила за десятилетия вторая родина поэта — Сибирь. Он любил её, но, видимо, по принуждению благоразумия и обстоятельств. Сердцем же, каждым своим сокровенным помыслом и вздрогом чувств он, повторимся, с родиной — с родиной своего детства и юности. И сыну своему Армену посвящает стих — как завещает:

*Луна над озером сияла,  
Великим таинством полна.  
Улыбку чистого Байкала  
Сумела высветить она.*

*Улыбку-рыбку мы поймали  
И с животворною водой  
Перевезли в родные дали,  
Чтоб оживить Севан родной.*

Завидная страстность любви и преданности! А страсть всегда искренна, потому что, точно огонь вулкана, вырывается из самых глубин сердца, не успевая продумать, решить: зачем, для кого, что будет потом? (Головой написанные стихи — другое.)

Книга «Дорога судьбы» — маленькая, скромно оформлена, и тираж её невелик. Но многие строки, впитавшие вековую мудрость Востока, несомненно, достойны долгой жизни. И кто знает, может быть, судьба её будет такой же благодатной, как у текстов древности глубокой, пришедших к нам в обрывочках, в лохматинках, порой в единственном списке и — оставшихся с нами навсегда.

*Хочу, пропев, песню мою оставить в веках.  
Сердце хочу ярким цветком оставить в горах.*

*Но об одном Бога молю: «Только оставь  
Горе и боль в чёрной земле — там, где мой прах».*

В веках?

Но ведь и душа человеческая нетленна.

## «Алфавит-13»

Наконец-то вышла новая книжка стихов Сергея Эпова «Алфавит-13» (издательство «Сибирская книга»). Он — молчун-поэт: молчит, молчит, а потом враз всё и выдаст. После второй книжки девять лет молчал — «Алфавитом-13» выдал. И ремарка о том же: «Добро пожаловать в мир олдскульного рок-н-ролла и арт-хаусного кино, «Тур де Франс» и шекспировского театра!..» Заманчиво. С удовольствием пожалуем на страницы книжки.

Поэт признаётся во вступительной статье: «...начинаешь понимать, что всю свою жизнь оставался одним и тем же ненормальным идиотом, хранящим верность своей нереально-реальной Музе, которую сам же и увешал жемчужными ожерельями, принеся в жертву личную жизнь, став заложником собственных стихов...» Так-так: и ненормальный идиот, и создатель нереально-реальной Музы, а ещё — и жертвы, и заложники... С кем не бывает.

А что же стихи? Стихи интересные — с притязанием на элитарность, на пассионарность, чуточку на эпатаж, на... на... на что-то ещё этакое изысканное, загадочное, возможно, ницшеанское. Конечно, почему бы и нет. «Как снаряд, проржавевший, не взорванный с прошлой войны, я несу сам себя... не дыша... осторожно». Сильно, но — о чём? Несёт себя, чтобы в некоем безопасном для других людей месте уничтожить себя? Или речь о чём-то другом?

«...Мир трансформируется в любовь...» То есть преобразуется, правильно? Интересно. Так, допустим. А потом что: мира нет как нет, одна — любовь?

«И некуда деться от жажды любви в нелюбовях...» Ага, любви всё же не обрестаться в одиночестве, — нелюбови непременно присосутся пиявками. Что ж, это уже какой-то мир, какая-то почва — для развития, для роста, в том числе духовного.

«...Ко мне приходят говорящие собаки, умеющие тщательно молчать». А если придут и тщательно покусают? Ведь собаки, твари неразумные.

Несомненно, Сергей Эпов — поэт. Но поэт неосторожный, порывистый. Безусловно, философичен, но и в этом неосмотрителен, запальчив. «Люди это подступы к богу» — допустим, и — что? «Сказки сублимации символов» — так, давайте разберёмся. Термин «сублимация» ввёл в науку Фрейд, и сублимация обозначает, растолковывают энциклопедии, «психический процесс преобразования и переключения энергии аффективных влечений на цели социальной деятельности и культурного творчества». Тут же, к слову, говорится о либидо. Хорошо, с терминами разобрались, но как же перевести на простой русский язык «Сказки сублимации символов»? Загадка. В чём либидо? Легко сказать: «Ох, пошлость, пошлость — сравнением антиподов — способ познания ограничить — ведь всё в себе!..» Хм, попробуй поспорь, но ведь понять-то мы друг друга должны, иначе — зачем живём, зачем пишем, зачем книгу предлагаем тиражом в 1000 экземпляров?

«Алфавит-13» — шифр, но шифр, похоже, мальчика, играющего в разведчика, в войнушку. Ей-богу, не пора ли нашему замечательному поэту Сергею Эпову повзрослеть?

*Как говорится — чёрного кобеля.....  
Весь мир нам — отец посажённый.....  
Вся наша жизнь после Гоголя —  
И есть второй том сожжённый.*

Хотя и спорно, однако, согласитесь, не юноша, но муж заговорил.



## Пионерскому кружку 6 ФЗД в Иркутске\*

Получил и прочитал вашу книжку «База курносых», — очень интересная книжка, ребята! Разумеется, это — еще не литература, а только приближение к ней, и — приближение очень издалека. Я не буду говорить о способности к литературному труду каждого из тех авторов, имена которых вы опубликовали, — говорить об этом преждевременно и может оказаться вредным для вас: заболаете, как взрослые литераторы, хвастовством друг перед другом, начнете говорить один другому: «Меня Горький больше похвалил, а тебя меньше». Явится зависть, перессоритесь, а — разве это нужно?

Нужно учиться писать о людях, о жизни так, чтоб каждое слово пело и светилося, чтоб лишних слов во фразе не было, чтоб каждая фраза совершенно точно и живо изображала читателю именно то, что вы хотите показать. Есть очень серьезная разница между умением показывать и рассказывать, разница эта для вас пока еще неуловима, и объяснить вам ее крайне трудно. Вы поймете ее тогда, когда накопите больше разнообразных впечатлений и необходимого для литераторов запаса слов.

Соня Животовская, Гриня Ляуфман, оба Шаракшене, Алла Каншина, Аня Хороших, Ада Розенберг, Тома Гуркина, Кожевина, Гуднина, Ара Манжелес, Ростовщикова, Персиков, Рафа Буйгишвили, Женя Безуглова — все пишут разговорным языком, почти совсем не показывая лиц, фигур, жестов, различия характеров и настроения, места действия. Этому необходимо учиться. Аре Манжелес необходимо учиться рисовать, я думаю, что у нее хорошая способность к этой работе.

Я говорю с вами так серьезно и требовательно, как со взрослыми. Я ведь тоже начал писать лет двенадцати, но я жил в других условиях, учить меня некому было, да и времени для учебы я очень мало имел. Писал я много и прозы и стихов, а понял, что литература — мое дело тогда, когда мне было почти тридцать лет. Для вас отцы ваши завоевали власть над страной, для вас партия Ленина и Советская власть организуют бесклассовое общество людей социально равных, непрерывно обогащают огромную нашу родину, — вы будете жить легко и счастливо. Страна Союза Социалистических Советов изумительно урожайна на талантливых людей, потому что всем людям труда дана свобода развития их талантов. Там, где труд свободен, он должен быть честным и превращаться в искусство.

Вам надо усвоить, что в нашей стране нет мелких и великих дел, а всякое дело, всякая работа — великое дело строительства первого в мире, небывалого государства, родины всех трудящихся, без различия племен и языков.

Очень радостно видеть, что ваш коллектив такой разноплеменно пестрый, и очень хочется верить, что чем дальше, тем больше и крепче будет связывать вас в единую творческую силу дружная работа самовоспитания.

Будьте здоровы, ребята. Живите дружно, уважайте друг друга.

Пишите мне.

М. Горький

---

\*М. Горький. Собрание сочинений: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 27. Статьи, доклады, речи, приветствия (1933–1936).



## Лыженята

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «БАЗЫ КУРНОСЫХ»

— Идешь?

— Ну да!

— Какие длинные! Ты же их с места не сдвинешь.

— Ребята!

Юрка в отчаянии, у него такой маленький рост! Он чуть не плачет: лыжи длиннющие. Он встал и с места не сдвигается. Вся база со смеху покатывается...

— Где?

— Во дворе. Уже строятся.

— Ой, нет, на Шуру мама три свитера надела и шарф, так она еле себя повертывает, не то что лыжи.

— И нос закрыла. Смешная!..

— Пошли скорей!

— Девочки из третьего звена в брюках.

— Молодцы!

— Пошли скорей! Смотри в окно-то.

— Ой, не могу. Малыши, и они пойдут?

— А много ребят?

— Говорят, семьдесят.

— Смотри, кто-то упал. И все на него. Ой, да пошли же скорей!

— Готова. Едем!

Очень важно шли по городу, потому что когда в строю идешь, всегда немного фасонишь, ну а тут еще больше — народ улыбается, потому что маленькие, а ряды ровняют.

Ну, ряды рядами. Да если б только ряды, а то у каждого на правом плече лыжи задирают к небу носки. Красные галстуки на свитерах ветер развеивает. Под ногами снег скрипит, в ногу шагаем. В общем, «красатулечки»...

Всем от радости хочется скорей, хоть сейчас, надеть лыжи и идти в них по улице. Только ведь упадешь, засмеются. Да откуда люди на тротуарах могут знать, умею я или нет кататься, может, я умею и лучше всех. Да!

Гоша Карпов, малюсенький, в большой коммунарке с красной звездой, шел сзади всех. И не вытерпел. Взял и надел лыжи, ну и, конечно, упал сразу, а два деда на тротуаре совсем его смехом смутили. Ну, идем и радуемся.

А тут еще на углу главной улицы милиционер из-за нас автобус остановил. Дорогу, мол, ребятам, пусть скорей бегут, катаются, а автобус с серьезными тетеньками подождать может.

Соня, наша пионерка (это у которой нога болела), так у нее от обиды слезы покатились по щекам: что, мол, в самом деле, на бедного Макара все шишки — и нога болит, и тут еще их впереди меня пускают.

Ну а ребята, известно, даже в строю от радости «ура» закричали, никак уже не могли сдерживать себя, хоть вообще «ура» где попало кричать не надо.

В общем, шагаем...

Направлялись наши ноги на Кайские горы, но чтобы туда попасть, надо было протопать мост через Ангару.

— Знаешь, сейчас, наверно, команда будет «вольно», потому что папа сказал, что если по мосту в ногу идти, он может провалиться.

— Да ведь нас вон сколько, да еще с лыжами, совсем тяжелые, как все вдруг — бух! — и потонем.

— Эй, ребята, хвост собрался уже в Ангаре купаться.

— А ты, Нинка, садись на лыжу верхом и плыви, ладно? Не утонешь.

— Ой, посмотри: народу-то у моста...

— Ну...

— Пионеры-то идут, а понтон снят.

— Вертайте обратно!

— Ну! Ой! Ай! Уй!..

— Вот беда какая... так кататься хотели!

— Тише! Давайте сообразим, что делать, а нытьем не поможешь. Есть три выхода: первый — ждать два часа, когда сведут мост, второй — повернуться кругом и идти через город около часа, а потом — в Лисиху, там есть горы, третий — идти по до...

— В Лисиху! Даешь Лисиху!!!

— Ура!

— Борька знает, где это.

— Борька, иди вперед и веди нас!

Маленьким звеньеводы предложили катиться по домам: далеко, мол. Слышать не хотят. Стала агитировать Галя. Но на этот раз никакая сила не заставила бы малышей вернуться. Даже Карпуша в большой коммунарке остался непоколебим. И все бодро зашагали по улицам. Еще веселей и быстрее.

Вот и последние дома. Вот еще, еще — все. Зашли на гору. За спиной, в низине, серый город тонул в беловатой дымке... Сбоку, за обрывом, летит синенющая Ангара. А в глазах убегают вдаль снежные искрящиеся холмы, далеко-далеко, к Байкальским горам. Ох, как сильно стучит сердце от радости и нетерпения!

Торопливые пальцы живо-живо устанавливают валенок и лыжу сеточкой ремней переплетают. «Скорей, скорей» — стучит сердце. А чуть уставшие ноги так и рвутся вперед!

— Пошли... Эх, хорошо!

Солнце с голубого неба слепит глаза блестящими снежинками. Под ногами мягкий снег убегает назад белой лентой, и от ослепляющей белизны холмов немного кружится голова. Друг за другом с горы поползли, полетели, покатались кувырком семьдесят черных точек, как маленькие дробинки, брошенные на покатый бумажный лист. День летит, ребята колокольчиками заливаются, щеки розовые, глаза блестят. Смеху, криков — потоки.

— Эй, кто хочет поездом с того холма с нами?

— Раз, два, три...

— Сюда!

— Заходи назад!

Передний палки назад. Другой руками за них. Третий палками за второго и так все тридцать. Поезд готов. Стоит высоковерху.

Внизу зрители — кто немного трусит. Вагоны прыгают: «Ах! Скорей отправляться!» Галя — старший кондуктор и паровоз — одновременно дает звонок и гудок:

— С левой ноги начинай! Раз-з... Ши! Уй!.. Уш!.. Ой! Караул!

Летит, летит под ногами у вагончиков снег назад. Ветер мчит навстречу. Ой, хорошо и страшно! Глаза вверх. Затылок ребят впереди...

Все вагончики кричат, ох, каких звуков только нет:

— И-и...

— Ау...

— Боюсь...

— Ах...

Паровоз лыжей налетел на кочку, и толчок передался всем тридцати. Друг на друга кувырком! Со середины горы покатались, поехали, полетели ребята без лыж, лыжи без ребят, шапки, варежки и... караул! Носом в снег!

Катятся, катятся.

— Хаха-ха-ха!..



— Костя лыжу сломал. Как бы помочь?

— На мой пояс, свяжи.

— Ой, красота. Правда?

Пришли красноармейцы на лыжах, стали ребят учить кататься. Смеются над нами. Славные...

— Ладно, отомстим.

Сверху летит один. Сейчас мимо пролетать будет.

Петя раз — варежки на лыжину. Красноармеец с фасоном летит. Ладно, фасонь.

Раз — лыжа на варежку, красноармеец — на снег, ребята на него, и давай тузить, от- тузили всего, отпустили.

— Не смейся.

Хохочут его товарищи.

— Ай, молодцы пионеры, здорово они тебя?

— Ничего, будут бойцы.

Кольцо ребят сужается. Шутки, смех. У некоторых во взглядах мелькнул испуг. В чем дело?

— Смотри, солнце-то где? Тут что-то не так. Это не оно, может.

— Уж книзу? Не может быть.

— Ребята, смотрите, у леса ребята нам машут руками.

— Сюда!..

— Идем!..

Поползли к лесу.

Весь совет базы сидел на лыжных палках, сложив их крест-накрест, как на стульях в школе. Удобно...

Стали все так вокруг садиться. Когда все подошли, когда всех научили садиться по-новому, Женя крикнула:

— Тише!

Ну, совсем как на сборе в зале. Но гораздо интереснее: пол белый, стулья — лыжные палки, стены — мохнатые, снежные ветви елей, а потолок — голубое небо. И только одна неприятность — лампочка не на потолке, как в зале, а выглядывает из-за угла, из-за пуши- стых верхушек леса.

Стало тихо. Мы молчали, белый лес тоже молчал. Началась беседа о здоровье пионе- ра. Было очень интересно и приятно. Сами отдыхаем, а уши слушают.

— Нужно обтираться утром комнатной водой. Нужно ходить на лыжах. Это ведь по- лезно и приятно, да?

Все ответили:

— Да!

— Ну вот, утром делайте зарядку. В школе ее описание завтра вывесим. Кто чаще моется и занимается физкультурой, тот и здоров. Тот и на лыжах лучше кататься сможет. Займемся спортом.

— Факт! — закричали ребята.

— Кто сказать хочет?

— Я!

— Я думаю, надо бригады по домам к пионерам послать: как они живут, узнать, чисто ли у них. И тоже в соревнование включить.

— А я думаю, надо нам на коньках коллективно кататься.

— Весело и на лыжах. Ой, как хорошо. На лыжах лучше!

— Итак, мы начнем заниматься физкультурой все?

— Конечно, все!

Солнце уползло за далекие холмы. Зеленоватая-белая от тумана Ангара спокойно про- должала свой бег. Окутанный темнеющей дымкой город зажигал приветные огни элек- тричества. Мы бодро шагаем домой, мечтаем о хорошем ужине, отдохнувшие на свежем воздухе, окрепшие, взяться за книгу всегда готовые!

# Что же такое «База курносых»?

Из воспоминаний Аллы Иокимовны Каншиной



Постараюсь кратко ответить на этот вопрос: поскольку именно с «Базой курносых» у меня связаны незабываемые и счастливые события далёкой юности.

Возможно, сегодня для многих непонятны и сами слова «База курносых». Я поясню их. «Базой курносых» в 30-е годы прошлого века называлась пионерская организация школы, которую в послевоенную пору стали именовать дружиной, а слово «курносые» сродни поощрительному возгласу «Молодцы!!!».

«База курносых» — это название нашумевшей в своё время первой в мире детской коллективной книжки. Она вышла в свет весной 1934 года в Иркутске. Её авторы — обычные ученики школы № 6, члены литературного кружка, руководимого молодым поэтом Иваном Молчановым. Дети как сумели безыскусно, искренне и весело поведали о своей жизни, учёбе, пионерских делах и ребячьей дружбе. Среди этих «нечаянных» авторов была и я, тогда ещё 14-летняя пионерка Алла Каншина.

Сам факт издания книжки, первые одобрительные отклики на неё воодушевили кружковцев. Расхрабрившись, мы отправили своё «детище» как бы на рецензию, главному писателю страны — А.М. Горькому. А на неожиданный для нас гонорар и премию обкома комсомола было решено осуществить извечную мечту всех иркутян — поехать в Москву. На полпути в столицу на небольшой железнодорожной станции Ишим мы купили центральные газеты и к своему удивлению прочли большую статью, в которой Горький похвалил нашу книжку. Получилось, как в сказке... Иркутские ребята приехали в Москву почти знаменитыми. Нас пригласили на только что открывшийся Первый Всесоюзный съезд советских писателей и даже предоставили нам слово, произнести которое ребята поручили мне.

В перерыве заседания съезда мы уже лично познакомились с Алексеем Максимовичем Горьким. Беседа была захватывающе интересной и очень тёплой. А сделанные тогда многочисленные фотографии обошли потом весь мир. Горький пригласил явно приглянувшихся ему ребят к себе домой на Малую Никитскую, а затем на подмосковную дачу, где мы провели вместе с Алексеем Максимовичем целый день, запомнившийся на всю жизнь.

Мы вернулись домой в Иркутск взволнованными, переполненными переживаниями и впечатлениями. Естественно, мы испытывали жгучую потребность поведать другим об увиденном и услышанном в столице и, прежде всего, рассказать о встрече с великим и простым Горьким. Решение написать вторую книжку родилось само собой. Мы понимали — она должна быть лучше первой, и работали поэтому более вдумчиво, старательнее и требовательнее к себе и другим.

Книжка «В гостях у Горького» увидела свет в самом конце 1936 года. Алексея Максимовича в живых она, увы, уже не застала.

Через год большая группа кружковцев окончила школу, и они для продолжения образования разъехались по другим городам. Через некоторое время и остальные покинули школьные стены.

Наш кружок просуществовал, таким образом, более 5 лет. Итог его работы — написаны и изданы две книги. Не менее важны и ценны приобретённые ребятами навыки совместного, коллективного труда, творческого подхода к делу. Но самое главное, как думается, заключается в том, что именно в кружке родились наше братство, наша дружба, связавшие бывших «курносых» на всю оставшуюся жизнь. И хотя потом мы жили далеко друг от друга, в разных городах, мы всегда были в курсе дела каждого, переписывались, перезванивались, помогали, как могли, изредка виделись.

Долгие годы связывающим звеном между повзрослевшими «курносими» являлся Иван Иванович Молчанов-Сибирский. Наш любимый дядя Ваня — добрый наставник и старший друг — умер в 1958 году. Но и сегодня его имя дорого и свято для нас.

В 1968 году в Москве на Малой Никитской, дом 6, открылся Музей-квартира А.М. Горького. Живущие тогда в столице бывшие «курносые» поспешили в дорогой для нас дом. Мы познакомились и подружился с его сотрудниками и стали там частыми и, прямо скажу, желанными гостями. Близкие контакты с музеем поддерживали и укрепляли наше братство.

Большим и радостным событием, собравшим всех «курносых» вместе, стали юбилейные дни, посвященные 50-летию выхода в свет «Базы курносых» и встрече с А.М. Горьким.

В 1984 году мы повстречались сначала в родном Иркутске, а затем более полным составом — в Москве. Этот наш сбор совпал с широко отмечаемым празднованием полувекового юбилея Первого съезда советских писателей и создания Союза писателей. «Курносых» пригласили на торжественное заседание в Кремль. В ходе этих радостных и очень интересных встреч мы получили весьма лестное предложение иркутян написать ещё одну, заключительную книжку, в которой рассказать, как мы пережили вместе со всем народом тяжелейшие военные времена и возрождение страны. После нелёгких раздумий и горячих споров мы решили взяться за такую работу. Не буду говорить, как нелегко пришлось нам, уже немолодым людям, отягощённым повседневными, служебными и семейными обязательствами и многочисленными заботами, к тому же оторванными друг от дру-



Максим Горький и Алла Каниина

га, сдержать данное слово. Но мы справились с этой нелёгкой задачей. И я хочу добавить, не без доброй помощи Восточно-Сибирской книжного издательства и Иркутской писательской организации. **Сердечное спасибо им!**

Наша третья книжка, названная «База курносых» продолжается, увидела свет в родном Иркутске осенью 1987 года и получила там одобрительные

отзывы. Между прочим, иркутяне определили её как «заключительную часть уникальной трилогии». И вот теперь, говоря о «Базе курносых», обычно имеют в виду не одну, а все три книжки, написанные одним и тем же творческим коллективом на протяжении более полувека.

Прошло более 20 лет с момента выхода в свет нашей третьей книжки «База курносых» продолжается». Мне кажется, я имею теперь право сказать, что это *п-р-о-д-о-л-ж-е-н-и-е* фактически имеет место и сегодня. «База курносых» и в наши дни вызывает интерес у современных ребят.

Вот подтверждение этому. С некоторых пор я переписываюсь с учащимися гимназии № 25 г. Иркутска. Там работает кружок юных исследователей. В минувшем году, познакомившись с «Базой курносых», кружковцы заинтересовались темой «Пионеры 30-х годов». Ребята попросили меня подсказать, с какими материалами, касающимися судеб авторов, им следовало ещё познакомиться. Я послала в Иркутск большое письмо, поделилась с кружковцами сохранившимися у меня старыми газетами, вырезками из них, ксерокопиями отдельных статей и фотографиями.

Вместе с новогодними поздравлениями пришло приятное известие. Оказывается, ребята доложили о результатах своих исследований сначала на гимназической конференции «В мире поиска», а затем на открытой научно-практической конференции «Мой город». Их работа получила высокую оценку, а Денис Попов и Андрей Гринько награждены Почетными грамотами. Денис даже прислал свою грамоту мне, как своего рода «отчёт о проделанной работе».

А на днях мне позвонили из Иркутска и рассказали об интересной встрече гимназистов с пионеркой 30-х годов и участницей Великой Отечественной войны — Риммой Матвеевной Частухиной. Признаюсь, мне было очень приятно услышать об этом. В далёком 1937 году я, тогда ещё десятиклассница и комсомолка, была пионервожатой в 3-м классе, где училась Римма...

Судя по письмам, в настоящее время одна группа кружка юных исследователей гимназии занимается поисками материалов о двух иркутянках — авторах «Базы курносых» Анне Михайловне Хороших и Аде Моисеевне Розенберг. Другая группа приступила к изучению творчества поэта И.И. Молчанова-Сибирского — наставника и друга «курносых».

От всей души желаю ребятам разного рода успехов! Вот коротко то, что я хотела рассказать о «Базе курносых». Думается, наши скромные книжки, при всём их несовершенстве, внесли свою лепту в воспитание поколения людей, которые выстояли в военное лихолетье и возродили любимую Родину.

Низкий поклон этим книжкам!



ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

## Литературные вечера «Этим летом в Иркутске»-2013

ХРОНИКА

Нынешние встречи с писателями отличались тем, что все приглашённые были из одного города — Санкт-Петербурга.

**Михаил Николаевич Кураев** — прозаик, кинодраматург, лауреат Госпремии (1998) и других литературных премий; сопредседатель Союза российских писателей; член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза кинематографистов России; член исполкома Русского ПЕН-клуба; член Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-Петербурга.

Автор многих книг, среди которых романы «Зеркало Монтачки» (1993) и «Похождения Кукуева» (Издатель Сапронов, 2007), повестей «Капитан Дикштейн», «Блокада», «Жребий № 241», «Ночной дозор» и др., опубликованных в России и за рубежом; автор киносценариев «Хозяин» (в соавт. с В. Аксёновым), «Пятая четверть» (по мотивам повести нашего земляка Г. Михасенко), «Строгая мужская жизнь», «Крик Гагары», «Раскол» и др.

**Александр Семёнович Танков** — поэт, руководитель секции поэзии Союза писателей Санкт-Петербурга. Друг и ученик Александра Кушнера, участник группы «Идентистов» (сетевой журнал «Folio Verso»). Лауреат Поэтической премии Анны Ахматовой за 2004 год. Стихи публиковались во многих журналах, в том числе зарубежных.

Автор книг стихов, вышедших в Санкт-Петербурге: «Имя снега» (1993), «На том языке» (1997), «Жар и жалость» (2003), «Дежурный свет» (2008), «Хвала и слава» (Издатель Сапронов, 2013).

**Сергей Михайлович Некрасов** — доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина. Член Международного Совета музеев (ИКОМ), вице-президент Ассоциации по аудиовизуальным средствам (АВИКОМ), член президиума Международного комитета литературных музеев (ИКЛ) ИКОМ России и член Международной Академии культуры, науки и искусства. Член Государственной Юбилейной комиссии по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

Имеет российские и международные награды за заслуги в области искусства и литературы.

Публикации: «Завещанная память», «Сквозь жар души, сквозь хлад ума», «Апостол добра», «Лицей после Лицея», «Пушкинские музеи России как явление культуры», «Спасительная сень» (Издатель Сапронов, 2013) и др.

**14 июня.** Состоялось открытие литературных вечеров и первая встреча. Зал по традиции приветствовали директор Иркутского академического драматического театра им Н.П. Охлопкова Анатолий Стрельцов, министр культуры и архивов Иркутской области Виталий Барышников, художественный руководитель вечеров — критик и писатель Валентин Курбатов.



Представляя участников этого года, В. Курбатов отметил, что в Иркутск приезжают писатели и деятели культуры, которые как раз в эти годы приобретают ещё большую известность: членом Президентского совета стал Владимир Толстой, Алексей Варламов в этом году награждён Патриаршей литературной премией, и совсем на днях Государственную премию получили Валентин Распутин и Сергей Мирошниченко. Видимо, Иркутск и наши встречи как-то благоприятствуют...

Гость первого вечера — Михаил Кураев. В Иркутске не в первый раз. Напомним: 2004 год — заседание «круглого стола» по современной прозе, организованное Иркутским отделением Союза российских писателей; 2007-й — литературный вечер в цикле вечеров «Этим летом в Иркутске», с выпуском в издательстве Сапронова книги «Похождения Кукуева».

Литература и жизнь — вот русло, по которому неизменно протекает разговор. М. Кураев к тому же из тех пишущих, кто, по его признанию, не придумывает сюжетов своих произведений.

— Трудно увидеть движение истории. Но иногда оно проявляется даже в мелочах. Вот инспектор дорожной службы останавливает, смотрит в твой документ члена СП СССР и удивляется: так вы из СССР?

А недавно я побывал в СССР. Это Север, Кандалакша, отец работал на электростанции, мы там жили. Его специальность по диплому — «инженер для технических занятий», он гидростроитель, лауреат Сталинской премии.

Город отмечал своё 75-летие. Всего 40 тысяч жителей, а демонстрация шла два часа. Вот перед трибунами проходят школьники-выпускники: юноши в костюмах, девушки в платьях с белыми фартуками, перед трибунами танцуют прощальный школьный вальс. Всё с какой-то глубокой нежностью...

И вчера на спектакле «Последний срок» в драмтеатре тоже подумал об истории, о непрочитанных смыслах крупных произведений. Казалось бы, что общего между графиней Ростовой из романа «Война и мир» Л. Толстого и крестьянкой Анной из повести В. Распутина «Последний срок»? А общее то, что к ним обеим относится толстовская фраза о несправедливости молодых по отношению к человеку, выполнившему своё жизненное предназначение. Соединение духовного пространства Родины и есть задача литературы.

У меня накопилось много историй. И если я не расскажу про работницу швейной фабрики, знакомого Гришу-могильщика, медсестру, изо дня в день помогающую больным, — они исчезнут навсегда.

Мне везёт на встречи. Одна моя мечта — собрать внешне обыкновенных, но, на мой взгляд, замечательных людей, посадить их рядом. Кто бы среди них оказался? Мой отец, до величия которого я так и не могу подняться, чтобы написать о нём, его друзья — лётчик-испытатель Марк, фронтовик и друг с юных лет Юрий Крылов, затем знакомый музыковед, друг Д. Шостаковича Исаак Гликман (я рад, что помог ему издать письма Шостаковича во Франции), писатель В. Астафьев, кинорежиссёр С. Микаэлян... У них есть общее: они прошли войну солдатами. Они одинаково относятся к домашнему бараклу, дачам — им это не нужно. Они до сих пор не могут поверить, что они живы. Я уверен: оказавшись за одним столом, они заговорят без притирки...

Теперь о книге, выпущенной в этом году издательством Сапронова. Она называется «Саамский заговор». Я работал в Мурманске, в архиве, там есть материалы об отце-гидростроителе. Наткнулся на папку о «саамском заговоре». На самом деле, речь идёт о провокации, устроенной одним из служащих НКВД в 30-е годы. Якобы саамцы замыслили отделиться от России и создать своё государство под началом «фашистской Финляндии». Это просто нелепость: весь народ — это две тысячи человек! Там среди «заговорщиков» был саам Филиппов, в возрасте за 70 лет. Когда колонну гнали сорок километров до места заключения, он отставал, ему было тяжело идти. Охрана махнула на него рукой — пусть остаётся. А он через три дня пришёл в тюрьму!

У меня нет счетов к власти. Кто творил зло? Люди. Их провоцировали, но никто не заставлял делать подлости. Власти меняются, люди остаются во всём своём разнообразии.



Поэтому нам близка античная литература. Всё — похоже. «Не дать человеку оскотиниться», как повторял режиссёр Козинцев на «Мосфильме». И в этом тоже задача литературы.

(На экране прошли кадры из кинофильма по повести М. Кураева «Петя по дороге в Царствие Небесное».)

— Петя Макаров — житель посёлка, где строили гидростанцию. Блаженный от рождения, он почему-то видел себя инспектором ГАИ. Ему подыгрывали, подарили милицейскую фуражку, дали деревянный пистолет. Это говорит о том, что люди старались не ожесточиться, сохранить душу даже в худые времена.

Среди вопросов к писателю были и о его работе на киностудии «Ленфильм», чему он отдал немало лет. Кстати, по его сценарию в 1972 году был снят художественный фильм по мотивам повести нашего земляка Геннадия Михасенко «Пятая четверть». Как это было, хотели услышать иркутяне.

— Помню, я прочитал повесть, она показалась мне близкой. Познакомился с автором, интересным детским писателем. Обсудили сценарий. Прилетел впервые в Братск, необычный город, состоящий из нескольких Братсков. Тогда же навестил Наймушина, они дружили с моим отцом. Ну а потом съёмки, режиссёр вносит свою правку, с которой не всегда соглашаешься, но — спорить трудно. Вот так и работали.

**15 июня.** Иркутянам был представлен поэт Александр Танков. Ведущий вечера М. Кураев сказал о нём, что стихи его несколько непривычны, но они привлекательны стремлением автора соединять времена. В пользу Танкова, отметил ведущий, говорит и то, что он ученик известного ленинградского (петербургского) поэта Александра Кушнера.

А. Танков прочитал стихи из своей новой книги «Хвала и слава»: «Продажны, Господи, продажны, но не все...», «Левая рука» (вариации на тему Востока и смерти), стихи из циклов «Шесть свечей», «Пляска смерти», «Песни северо-западных славян». В первом цикле поэт вступает в переключку с Пастернаком — его стихами к роману «Доктор Живаго», во втором делается попытка сказать о пересечении времён (эпиграф к «Пляске смерти» из «Слова о полку Игореве»), третий посвящён мрачным страницам истории конца 30-х годов минувшего века.

*Старый барабанищик,  
Старый барабанищик,  
Ему скоро девяносто лет.  
У него в шкафу,  
У него в шкафу,  
В платяном шкафу живёт скелет...*

«Песня о барабанщике»

*Иногда он в доме для престарелых  
Людоедов, для выдохшихся дельцов,  
Вспоминает с нежностью о расстрелах,  
Казнях разных стрелочников, стрельцов...*

«Песня о старом людоеде»

*Усни, уткнись лицом в кровать,  
Блесни кругами по воде...  
Мы все учились танцевать  
Под музыку НКВД...*

«Колыбельная»

Говоря о Пастернаке, Танков заметил, что Пастернак написал о многом, но как-то сумел не заметить бед XX века. Очевидно, Танков из XXI века считает своей задачей доска-

зять упущенное. М. Кураев поначалу выразил своё удивление: как же поэт, родившийся в 1953 году, в более благополучное время, берёт на себя груз прошлого! И назвал это исповедью. Но позже, уже на следующем вечере, вернул, как он сказал, «бумерангом стрелу, пущенную в Пастернака»: Танков пока тоже не написал о дне сегодняшнем.

Зал же попросил прочитать стихи о любви. И они были прочитаны — из раздела «Нежное золото».

Ответы на вопросы нередко передают штрихи времени, в котором вырастают современные писатели. Был задан вопрос, какие люди повлияли на поэта Танкова.

— Больше всего, наверное, соседи по коммуналке, Розановы — Александр Семёнович, историк музыки, и Вера Владимировна, художница. Он знал массу языков, знал наш город на Неве, кто какой дом построил. Во Франции, когда он там был, приходили послушать настоящий французский язык. Вере Владимировне во время войны поручили зарисовать стены Эрмитажа. И она рисовала сначала углем, потом акварелью. Теперь их копии стоят на мольбертах в залах Эрмитажа. Вот какие люди жили рядом. И ещё на меня повлияла поэт Нонна Слепакова.

— Понравился ли Иркутск? — обычный вопрос.

Ответ:

— Понравился, особенно старые домики. Здесь, в провинции, Россия лучше чувствуется.

**16 июня.** Гость третьего вечера — Сергей Некрасов.

Открывая встречу, ведущий М. Кураев заметил, что нередко времена называют именами политиков. Но есть времена Курчатова, Королёва, Прокофьева, Шостаковича... Это созидатели. Они не выбирают время для созидания. Таков Николай Зайцев, ныне покойный, в нынешние трудные годы взявшийся за строительство второго здания библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Таков и Сергей Некрасов. Он сегодня занимается приданием нового уровня Музею А.С. Пушкина на Мойке. Это Всероссийский пушкинский музей. То, что проделал Некрасов, больше, чем музейная работа. Музей — это Пушкин как наше национальное единство. С. Некрасов создал 29 фильмов, посвящённых Пушкину.

(На экране кадры Петербурга, район Мойки. Рассказ С. Некрасова о часах Пушкина.)

Продолжение рассказа — уже у микрофона.

— В этом ролике задето много тем. Всероссийский пушкинский музей — это квартира и два верхних этажа, где размещены книги, документы. В составе музея не только Мойка, но и Царскосельский музей. Именно в Царском Селе провели молодожёны Александр Сергеевич и Наталья Николаевна своё первое лето.

Пушкин родился не на пустом месте. Словесность наша, как выразился поэт, явилась вдруг в XVIII веке. Особенно важен Г.Р. Державин, с которым у Пушкина произошла встреча, ставшая символической. К 300-летию Петербурга мы открыли музей Державина, восстановили усадьбу поэта.

Двадцать четыре года ушло на то, чтобы создать единый пушкинский музей. Очень мощный потенциал — это наши учёные. Мы ездим с выставками по всей стране. Пушкин — душа народа. К его имени обращаются все. Я счастлив, что мне выпала честь работать на сохранение памяти о нём.

Наш Всероссийский музей начали создавать ещё друзья Пушкина. Уже на склоне лет состоялась встреча лицеистов у Михаила Лукьяновича Яковлева, старосты курса. Они решили, что надо учреждать музей. Первый дар уже был — автограф стихотворения Пушкина «19 октября» 1825 года. Автограф сохранил М. Яковлев и ещё в 1855 году подарил Лицею. Даритель заказал для бесценных листов специальный футляр.

Это был самый подходящий момент. Были живы лицеисты, живы все дети Пушкина. И 19 октября 1879 года открылся первый музей Пушкина. В 1899-м он имел уже 2 тысячи экспонатов.

Царскосельский лицей был закрыт в 1917 году, лицеисты уехали за границу и уже там встречались, отмечали День лицея.

В 1905 году правительство поддержало предложение учёных о создании в Петербурге Пушкинского Дома при Российской академии наук, и вскоре такое решение было принято; в 1927-м открылся музей в квартире Пушкина, стали открываться пушкинские музеи по всей стране.

В 1999 году мы праздновали 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Приехала из Москвы правнучка поэта Наталья Сергеевна, дочь Сергея Петровича Мезенцова и Веры Александровны, урождённой Пушкиной. Она подарила музею коралловый браслет Натальи Николаевны, подаренный ей Сергеем Львовичем Пушкиным на день рождения. Мы не однажды встречались, беседовали с ней.

Крёстным отцом Натальи Сергеевны был её дед, Александр Александрович, старший сын поэта. Он умер 1 августа 1914 года, узнав о начале войны. Наталья Сергеевна вспоминала, как ездила в гости к своему крёстному, рассказывала о детских балах, которые устраивались в доме Михаила Михайловича, великого князя. Её мемуары были напечатаны в 1999 году.

В 1990-х годах в Петербурге проходил Конгресс соотечественников. Приехавший на него из Лондона Кирилл Львович Зиновьев, представитель одной из известных дворянских фамилий, вспомнил Наталью Сергеевну, как вместе ездили на детские балы. Я сказал, что она жива, живёт в Москве. Через меня они обменялись записками, потом стали перезваниваться, и это продолжалось до самой её смерти в 1999 году. Сегодня Зиновьеву 103 года.

В нашем музее на Мойке много уникальных экспонатов. Например, дуэльные пистолеты, с Чёрной речки. Их привёз из-за границы М.С. Горбачёв. Мы долго думали: выставлять их или нет. Решили выставить. На экспонаты рухнул потолок. Некоторые увидели в этом мистику...

Рассказ Сергея Михайловича о музее вводит слушателей в огромный мир Пушкина, включающий судьбы его родных, друзей, потомков, историю литературного наследия, которая продолжается в новом, XXI веке. Поэтому гостю пришлось отвечать на множество вопросов. Вот некоторые из них.

— *Работал ли музей в блокаду? Не исчезли ли какие-либо экспонаты?*

— Ничего не исчезло. И каждый год 10 февраля приходили люди. В 14.45 — минута молчания.

— *Общалась ли Наталья Николаевна со своей сестрой, женой Дантеса?*

— Только переписка.

— *Какова возможность новых находок для музея?*

— Очень мала.

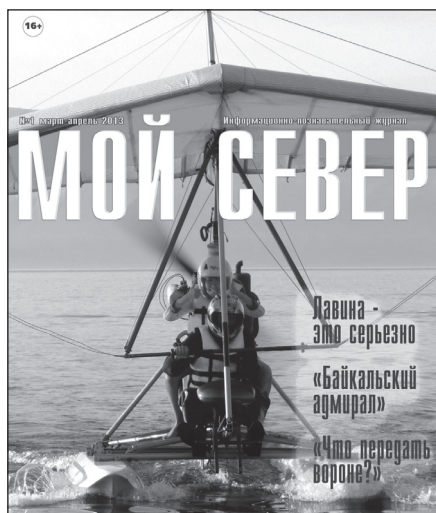
Ещё были вопросы об исчезнувшем перстне Пушкина, о загадках его посвящений к стихам, о дуэли с Дантесом: можно ли было ей помешать...

В. Курбатов, очевидно, был прав, когда в завершение этой последней встречи сказал: «Я думаю, мы можем каждый год на три вечера приглашать Сергея Михайловича, и это будет неисчерпаемо...»

Значит, жива и неисчерпаема русская литература.



## Новый журнал «Мой Север»



В апреле 2013 года в Северобайкальске вышел в свет первый номер журнала «Мой Север». Он полноцветный, информационно-познавательный, художественно-литературный, рассказывает о творчестве, увлечениях, жизни неординарных личностей, духовном и профессиональном росте людей, истории и природе таёжного края. Выходит один раз в два месяца, тираж 3 тысячи экземпляров, формат А4, объем 120 страниц. Главный редактор — поэтесса Светлана Анина (Седых). Готовится к выпуску приложение «История одного снимка», в котором будут размещены чёрно-белые и цветные фотографии с рассказами о жизни, судьбах людей, запечатлённых на снимках, или с интересным описанием изображённого на фото события.

## Иркутск, театр + апрель

26 апреля завершил работу 17-й Иркутский фестиваль детских и юношеских театров «Иркутск, театр + апрель»; он проходил под девизом «Береги честь смолоду». В номинации конкурса чтецов «Русское слово» представили своё творчество около 30 ребят — юных актёров, чтецов детских самодеятельных театров: образцового детского театра «Любимовка», клуба «Искатель», театра-студии «Бусинки», детских театров «Золотая птица», «Вдохновение», «Арлекин», «Синегорье», «Маски», эстрадного театра «Скетч» детско-юношеского клуба «Илья Муромец», театра-студии «Обыкновенное чудо».

В конкурсной программе звучали произведения иркутских писателей и поэтов: Светланы Аниной («Душа»), Александра Вампилова («Солнце в аистовом гнезде»), Геннадия Машкина («Синее море, белый пароход»), Марка Сергеева («Балясы», «Сказка о Пете, который был шкафом»), Дениса Цветкова («Свисают с крыш», «Поникли ветки краснотала»), Валентина Распутина («Уроки французского»), Юрия Баранова («Стеклянный корабль»).

Члены жюри — заслуженная артистка России Тамара Панасюк и прозаик Александр Донских.

Все участники отмечены дипломами, победители — званием «Лауреат».

## Встреча с Ириной Богатырёвой



26 апреля в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина прошла встреча с известной московской писательницей Ириной Богатырёвой.

На встрече присутствовали учащиеся СОШ № 65 г. Иркутска, участники литературного клуба «Первоцвет». Также была осуществлена связь по скайпу с молодёжью г. Тайшета.

Творческую деятельность Ирина Богатырёва начала в 15 лет. Она окончила Литературный институт им. М. Горького, была главным редактором журнала молодых писателей Поволжья «Берега». Первая публикация состоялась в 2003 году в журнале «Кольцо А». Печатается в журналах «День и ночь», «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов». Она — автор книг «АвтоSTOP», «Товарищ Анна», «Луноликой матери девы», литературной обработки сборника алтайских народных сказок «Рыжий пёс». Её произведения переводятся на английский, китайский, голландский, шведский языки.

Писательница — дипломант и лауреат многих литературных премий: «Дебют», «Эврика», Илья-Премии, премии Ивана Гончарова в номинации «Ученики И.А. Гончарова» за роман «Товарищ Анна». В 2012 году за фантастическую повесть «Луноликой матери девы» стала лауреатом премии Сергея Михалкова.

Ирина Богатырёва — очень разносторонний человек. Она не только пишет прозу, но и увлекается игрой на древнейшем музыкальном инструменте — варгане, участвует в различных концертах и фестивалях — от Венгрии до Алтая.



На встрече с иркутскими читателями Ирина рассказала о своём творчестве и дальнейших планах, под самобытное звучание варгана прочла отрывки из своих произведений, а также поделилась впечатлениями от поездок по древнему и загадочному Алтаю, поведав о своей любви к этому удивительному краю, к его сказкам, преданиям, легендам.

По просьбам собравшихся писательница провела небольшой мастер-класс игры на варгане.

Фонд областной библиотеки пополнился книгами «Товарищ Анна», «Луноликой матери девы» и прекрасно иллюстрированным сборником удивительных алтайских народных сказок «Рыжий пёс».

*Марина Штрассер, библиотекарь ОЮБ им. И.П. Уткина*

# «Сибирская сага»

## Открытие выставки Сергея Элояна

11 апреля 2013 г.,  
Трубниковский пер., 17  
Дом И.С. Остроухова —  
выставочные залы

Ведущий вечера — заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе ГЛМ П.Е. Фокин, рассказывая об Элояне, назвал его маленьким российским чудом. По словам Фокина, Россия «вытеснена художественным сознанием Москвы», поэтому Сергей Элоян, живущий в Иркутске, представляет одного из немногих художников, известных далеко за пределами своего города.



*Сергей Элоян и Павел Фокин*

Затем выступил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области С.Г. Ступин, поведавший о деятельности С. Элояна в Иркутске, направленной на развитие культуры и возрождение иллюстраторского дела.



*С. Ступин*

Литературный критик В.Я. Курбатов поделился своими впечатлениями от творчества иркутского художника, назвав его живопись сосредоточенной и замкнутой,



оставляющей в воображении зрителя «пространство уединённого и сосредоточенного спокойствия». Как считает Курбатов, в наше время искусство иллюстрации почти утрачено, во многом потому, что нет великих произведений. Но Элоян иллюстрирует «литературу большого стиля», в частности, «Царь-рыбу» В. Астафьева и «Прощание с Матёрой» В. Распутина. Таким образом, художник продолжает лучшие традиции русской иллюстрации.



Писатель и литературовед А.Н. Варламов согласился с Курбатовым в том, что книжное дело всё больше коммерциализируется. Также Варламов рассказал об иркутском издателе Геннадии Сапронове, который открыл для читателей Сергея Элояна как иллюстратора, «попадающего в резонанс с писателями» и приглашающего читателя к серьёзному разговору. Варламов поделился с присутствующими своей ассоциацией, возникающей при чтении книг, над которыми работал С. Элоян: «Когда я смотрю на иллюстрации Элояна, сразу вспоминаются слова Андрея Платонова: «народ — это не только люди, но и всё, что их окружает».



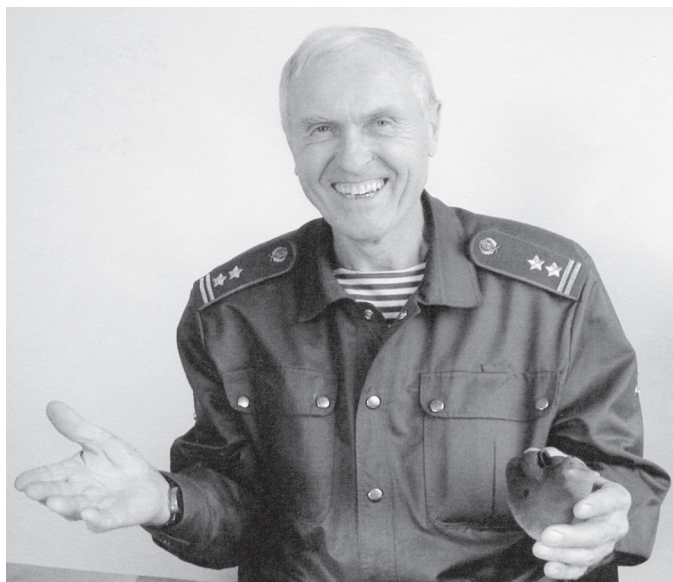
*Сергей Элоян и Валентин Курбатов*

На вернисаже выступила Наталья Сапронова, дочь издателя Геннадия Сапронова. Назвав случайную встречу Сапронова и Элояна счастливой, она сказала, что творения С. Элояна «не просто иллюстрации, художник становится соавтором».

Публицист и литературовед Лев Аннинский уделил много внимания тому, насколько Сергей Элоян свободен как творец, создающий вместе с писателем новый художественный мир. По Аннинскому, иллюстрации Элояна — это выражение его образа мысли, восприятия произведения.

Открытие выставки завершил Сергей Элоян, который в оценке своего творчества был очень лаконичен: «Мне сложно говорить о работах, они заговорят сами за себя, если есть, что сказать».

**ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!**



*Известному иркутскому учёному-охотоведу, писателю-публицисту, другу и защитнику нашей сибирской природы Семёну Устинову исполняется 80 лет!*

*Редакция журнала «Сибирь» поздравляет Семёна Климовича с юбилеем и желает ему крепкого сибирского здоровья, высокого творческого горения и успехов в многотрудном деле сбережения сибирской природы!*



АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ

## Семён Устинов — писатель и человек

Есть люди, к которым чувствуешь расположение с первой же секунды. Ещё ничего не сказано и даже не произошло формальное знакомство, а ты уже испытываешь симпатию к человеку, стоящему рядом. Такие люди словно возвышают нас до самих себя. С ними невозможно быть плохими, недобрыми, глупыми. В этом их огромная сила! Это люди будущего, по крайней мере, такие, какими бы я хотел их видеть — не через двести лет, но хотя бы через пятьдесят.

Семён Климович Устинов гораздо старше меня, мы принадлежим к разным поколениям. И мне всё кажется, что он где-то впереди, что он торит тропу, по которой мы идём. Хочется брать с него пример. Пример отношения к людям. Пример отношения к литературному творчеству. Пример требовательности к самому себе.

Это необыкновенно скромный человек! Он почти ничего не требует лично для себя. Довольствуется малым и думает исключительно о других. Совсем не случайно он стал экологом. А кто такой эколог? Это оберегатель Природы. Защитник «братьев наших меньших». Тут-то и проявляются душевные качества людей. Вот идёт человек по лесу и со скуки или от праздного любопытства разоряет муравейники, ломает ветви, пугает птичек и зверьков. Почему он это делает? Он и сам этого не знает. Просто такова его внутренняя природа. Такова его душа — душа недобрая, чёрная и донельзя глупая. Этот человек не понимает, что термин «братья наши меньшие» — имеет самое прямое значение. Это никакая не аллегория, не метафора. Но это совершенно ясное и недвусмысленное определение: БРАТЯ! А он этих братьев — по голове, по спинам! — чтоб не путались у него под ногами. И невдомёк ему, что все эти твари имеют такое же право на место под солнцем, на кусочек земли, на толику воды и на самый воздух, которым мы все дышим. У них своя судьба и свои неисповедимые пути, которыми они идут не тысячи, но миллионы, сотни миллионов лет!

Всё это приходится объяснять недоброму и неумному человеку. Приходится устанавливать для него законы и систему наказаний, чтобы он не совершал дурных поступков, не был зверем по сути своей.

Но, к счастью, есть люди, которым не нужно ничего объяснять и доказывать. Они сердцем чувствуют всё то, что мы желаем выразить словами. За эту вот сердечность, за мудрость души мы любим и уважаем таких людей. И стараемся на них походить.

Я снова говорю о Семёне Климовиче Устинове. Мы знакомы с ним полтора десятка лет. Когда-то я рекомендовал принять Семёна Климовича в Союз писателей России. Потом помогал Семёну Климовичу издавать его замечательные книги, в которых он рассказывал всё о том же — о «братьях наших меньших», о нашей сибирской природе, которую он изучил так, как никто другой её не изучил и не понял. Почти полвека он ходит суровыми таёжными тропами. Он исходил всё Прибайкалье, изучил все речки и ручейки, горы и доли. Познакомился с многочисленным «лесным народом» и стал

настоящим другом им всем — лохматым и крылатым, огромным и почти невидимым для глаза, отважным и пугливым — «братьям нашим меньшим»! Ведь и писателем Семён Климович стал затем, чтобы лучше защищать родную природу, чтобы рассказать о её бедах и проблемах, чтоб сказать о её хрупкости и беззащитности перед лицом человека, одетого в броню и вооружённого таким оружием, перед которым не устоит ничто живое. Ведь голос писателя слышат тысячи, а иногда и миллионы людей! К писателю прислушиваются, и это правильно! — потому что в истинном писателе мы слышим прежде всего голос совести, зов справедливости и гуманизма в самом высоком смысле этого понятия.

И здесь я должен сказать два слова о природе литературного таланта Семёна Климовича. В отличие от множества современных писателей, у Семёна Климовича есть своя тема в литературе, своё нераспаханное поле! На этом поле оставили свой след всемирно известные писатели: Владимир Клавдиевич Арсеньев, Михаил Михайлович Пришвин, Эрнест Сетон-Томпсон. В этом ряду Семён Климович Устинов занимает достойное место. Однажды я даже назвал Семёна Климовича нашим сибирским Арсеньевым (и теперь не отказываюсь от этих слов!). Именно осознание своего внутреннего долга даёт ему силу и придаёт убедительность словам! Когда бы автор боролся исключительно за свои личные права и интересы — вряд ли он был кому-то интересен и близок. Но когда автор говорит о том, что касается всех, когда он обращается к сокровенным чувствам в душе каждого своего читателя, тогда-то он становится подлинно народным писателем.

Ничего нет случайного в этом мире. Не случайно Семён Климович стал защитником природы. Вполне закономерно рука его потянулась к перу. И вполне заслуженно он занял своё место в литературе. Книги его освежают, как освежает дыхание рассветного леса, как лёгкий бриз на берегу необъятного океана, как аромат цветущих лугов в июльский полдень. В книгах его — свет надежды на то, что когда-нибудь гармония всё же наступит в этом мире. Не может не наступить! И также человек будущего не станет охотиться на животных исключительно из бахвальства и превосходства силы. Не станет травить реки и озёра, не будет сгонять с обжитых мест зверей и птиц, перестанет уничтожать природу, частью которой являемся мы сами. И также не станет человек будущего истреблять себе подобных — ради куска чужой земли, ради того, что лежит в этой земле, или ради собственных амбиций.

Вот о чём мне думается, когда я читаю книги Семёна Климовича Устинова, когда вспоминаю его добрую улыбку. Несколько лет назад Семён Климович был признан «интеллигентом года».

И честное слово: я горд и счастлив за него!



СЕМЁН УСТИНОВ

## Наедине с заповедной природой

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

С ружьём — дробовичком 24-го калибра, подаренным мне отцом к тринадцати годам, по воскресеньям я стал бегать за белкой, рябчиком в ближайший лес по пади хребта Улан-Бургасы с названием Шибирочка. До леса надо было пройти открытое пространство долины нашей речки Курбы. По долине куртинами вдоль берегов заросли дикой яблоньки, ивняка, боярышника. Там зимою можно было обнаружить стайку серых куропаток, которые тоже входили в мой охотничий ресурс. И однажды, возвращаясь от Шибирочки поближе к сумеркам, шёл я вдоль одной такой куртины. Случайно обернувшись, увидел, что прямо ко мне низко летит какая-то большая белая птица. Сдернул с плеча ружьишко и, почти не целясь, выстрелил. Птица упала. Я не поверил своим глазам: это же полярная сова! Как она сюда, на юг Сибири попала, они же живут-то эвон где?

В полной уверенности привести в восторг домашних — батю, маму, сестёр — героем заявился домой. Но батя, молча поглядев на мою добычу, на меня, сказал: «И зачем ты её убил? Тут никто никогда их не видел, прилетела она не от хорошей жизни. Там кормов, наверное, не стало. Здесь она должна была быть ЗАПОВЕДНОЙ. Никогда, нигде не добывай никакую редкость и не стреляй по неведомому зверю-птице, зачастую они исполняют важный закон природы — расширяют свой ареал». Это научение я усвоил на всю жизнь. Примерно так наставлял меня отец в моём детстве.

Тогда впервые я познакомился и с явлением заповедности. Заповедность, заповедная этика, по-видимому, уже была во мне — от отца — в генах, она явилась путеводной по жизни нитью. И вот пример. Где-то в девять-десять лет, увлекаясь добычей удочкой нашей мелкой рыбёшки — «амуляшек», шёл я берегом реки и увидел в маленьком, отгороженном от речного потока гравийной перемычкой заливчике много крошечных (со спичку) налимчиков. Они были обречены, это я понял сразу — заливчик должен был высохнуть. Сбегал домой за лопатой и разрыл эту перемычку. Рыбёшки, в панике от поднятой мути и волнения, залегли на илистое дно. На завтра после школьных уроков кинулся посмотреть, что случилось с пленниками. Ни одного не было, все перебрались в реку.

Припоминаю похожий случай из взрослой жизни. Однажды на отмели реки Белой в Иркутской области после бурного весеннее-летнего паводка осталось несколько замкнутых мелководных водоёмчиков. И в одном из них я заметил маленького, длиною в полкарандаша, таймешка. Изловчившись, выловил его и перенёс в близкий бурлящий поток, в его стихию.

Заповедность, природоохранное отцовское воспитание повели меня по жизни и дальше. Думаю, это очередной перст судьбы: учась на факультете охотоведения в Иркутском сельскохозяйственном институте, после первого курса в составе всей нашей

группы летом 1952 года на практике я оказался в Баргузинском заповеднике. Наш учитель, профессор Василий Николаевич Скалон, организовавший эту практику, рассказывал о заповеднике, истории его организации, целях и задачах, стоящих перед ним, природоохране вообще, о необходимости развития природоохранного мышления. Мы прошли многие заповедные тропы, повидали несколько природных заповедных объектов, в том числе великолепный водопад на речке Шумилихе. В душе многих из нас, конечно, и у меня, этот край оставил яркие впечатления. Они и определили место следующей — зимней — практики, снова в Баргузинском заповеднике. За два года многое здесь изменилось, в частности, пришёл новый, молодой, энергичный заместитель по науке Олег Кириллович Гусев. Он и дал нам, двоим студентам-практикантам, задание: пройти по территории несколькими маршрутами на камусных лыжах, учесть следы соболя и лося, снабдил нас лыжами и продуктами. Учёт численности животных по следам — дело, которым мне всю последующую жизнь полевого исследователя-охотоведа пришлось заниматься, и самые первые уроки я получил тогда в благословенном Баргузинском государственном заповеднике.

Преддипломная практика в таёжных угодьях юга Читинской области проходила под руководством Виктора Владимировича Тимофеева, непревзойдённого полевика-исследователя, автора первой методики учета численности соболя, организатора расселения зверька из оставшихся осколков его ареала в Восточной Сибири. Замечательно важным было общение на лыжне и в зимовьях с этим редкостно доброжелательным, глубоко порядочным человеком. Тем укреплялось моё «заповедное» состояние души, моё, по-видимому, пока не осознаваемое решение посвятить себя природоохране, заповедности.

Получив диплом биолога-охотоведа в 1956 году, я по распределению должен был поехать в один из районов охотоведом, но направился во всё тот же Баргузинский заповедник, где в научном отделе Олег Гусев по давнему (со времени зимней практики) предложению «держал» для меня должность старшего научного сотрудника. В пору той практики мы много общались с Олегом Кирилловичем, он произвёл на меня сильное впечатление и знаниями о природе заповедника, и личными качествами широко образованного человека. Ясно, что по получении диплома я с удовольствием отправился в полюбившийся край. Олег Кириллович предложил мне тему по экологии копытных, среди которых лось был массовым. Вскоре Гусев покинул заповедник, но несколько раз, работая в Восточно-Сибирском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР, приезжал в Давшу — центральную усадьбу Баргузинского заповедника, и мы, конечно, отправлялись на территорию.

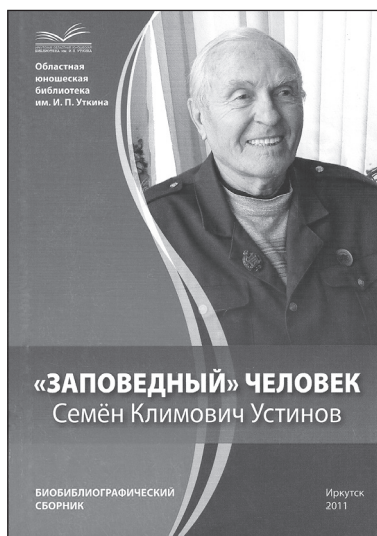
В одно из таких посещений мы на несколько дней остановились в зимовье на «Давшинских покосах». Либо вместе, либо поодиночке проходили свои исследовательские маршруты. Был март 1958 года, в сумерках по давшинской поляне, иногда даже на наших глазах (заповедник!), бродили кормящиеся лоси: лосиха с лосёнком и молодой самец. Как-то Олег Кириллович принёс в зимовье две узенькие, длиною по 7-8 сантиметров то ли ледышки, то ли спрессованные кусочки снега. «Что это такое, как думаешь?» — спрашивает меня и, видя моё затруднение, сам и отвечает, что это на следу лося отпадают спрессованные копытом кусочки снега: у крупного зверя они, понятно, большие, у небольшого — поменьше. Далее соображение: не видя зверя, по следам — вот этим отпадающим ледышкам — можно получить вполне ясное представление о возрасте «хозяина». Великолепное наблюдение следопыта по экологии копытного!

Воодушевлённый этой находкой, я стал внимательнее наблюдать за животными и их следами. Лосей в округе держалось несколько, и я стал ходить по следам каждого. Снег был высотой 40–50 сантиметров, и однажды меня заинтересовало то, что у некоторых зверей (самых я пока не видел) след ушедшей в снег мочи падает наклонно,



либо чуть вперёд — почти вертикально, либо под некоторым углом назад по ходу зверя. Представив себе анатомию зверя, я предположил, что вертикально моча падает у самца, назад — у самки. Выследив самих лосей, я убедился в справедливости этих предположений. А что это такое? Это же одна из возможностей, не видя самого зверя, при учётных работах в охотхозяйствах узнавать его пол, что важно также и в популяционных, экологических исследованиях.

Следующее наблюдение было таким. На следах некоторых зверей помёт выглядел либо как почти круглые шарики-катышки, либо как продолговатые. Наблюдение показало: у самцов помёт круглый, у самок — продолговатый, разница заметна даже у телят. Знание этого тоже реальная помощь в определении пола зверя при учётных работах, проводимых в охотхозяйствах. Я также заметил, что в течение года окраска помёта изменяется от почти чёрного до слегка жёлтого. Это зависело от набора сезонных кормов: кора и веточки осины весной давали желтоватость, побеги кустарников осенью и зимой — тёмный цвет. По наблюдаемой окраске помёта, замеченного в угодьях в разный, в том числе и бесснежный сезон, можно определить время, когда лоси здесь «стояли», то есть получить материал к миграциям популяции.



Постоянные наблюдения на следах в течение всего снежного периода выявили чёткую картину: лоси постепенно поднимались над поверхностью почвы, и спрессованный под копытами столбик снега весной (твёрдое высокоснежье) «поднимал» зверя иногда более чем на 20 сантиметров. При «железном» насте в апреле кое-где обычно молодые лоси шли по самой поверхности снега. Это явление, увеличивая доступность веточных кормов на одном и том же участке зимнего «стояния», в какой-то мере устраняло необходимость перехода в другие угодья, определяло оседлость в тяжёлую весеннюю пору. Оседлости способствовали (определяли динамику доступности кормов) ещё два обстоятельства: падающий снег несколько пригибал тонкие веточки кустарников, берёзы и осины, и они попадали в зону доступности для зверя (лось часто стоит, «задрал» голову, — это он дотягивает-

ся до побегов, которые оказались доступными). Сильный мороз, как известно, также пригибает всякие побеги, и они тоже попадают в зону доступности зверя. Динамика нарастания твёрдости снега в течение зимы облегчает существование и кабарги. Она всё выше поднимается над поверхностью почвы и в период настов часто идёт по поверхности снега, что обеспечивает ей расширение доступной к лишайникам на стволах деревьев зоны...

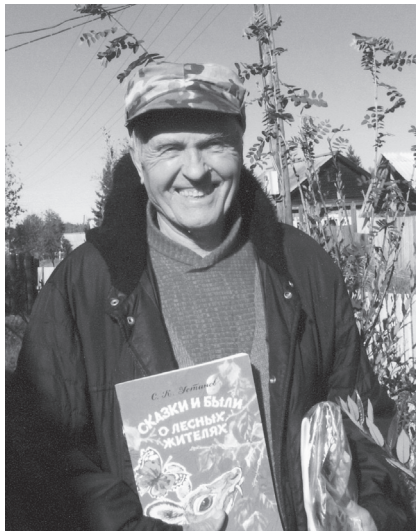
За четыре года работы (с 1956-го по 1960-й) Баргузинский заповедник, кроме этих находок, дал мне ещё три, не известных ранее в научном отделе, наблюдения: обнаружение в горном озере на плато Зародном огромных (около 10 сантиметров) пиявок, обитание карасей в Керминских озёрах и скопление щитомордников на Заезовочном мысе. Всё это, в ряду прочих достопримечательностей и находок, отпечаталось в душе яркой благодарностью заповеднику, заповедности.

Названные выше подходы в наблюдениях я использовал и при сборе материала по экологии копытных, будучи научным сотрудником Восточно-Сибирского отделения ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства.

Полевые работы в Баргузинском заповеднике во все времена года выработали навыки и длительной (1–2 месяца) автономной жизни, что пригодилось при работе в

других организациях, связанных с полевыми исследованиями. Мне приходилось много охотиться на разного зверя, но «заповедность» души, окрепшая в Баргузинском заповеднике, всегда определяла природоохранную меру добычи.

В 1988 году я получил возможность перейти в только что выделенный Байкало-Ленский государственный заповедник, в подготовке организации которого я принимал некоторое участие. Его территория расположилась как раз напротив заповедника Баргузинского, за Байкалом. Это тот край, который в ясную погоду хорошо виден был даже с крыльца моего дома в посёлке Давша — центральной усадьбе Баргузинского заповедника. И теперь, иногда оказавшись у северной границы Байкало-Ленского, я вижу за Байкалом цепочку вершин Баргузинского хребта. Где-то там, в знакомом среди гор понижении, благословенная Давша.



В Байкало-Ленском заповеднике, где я работаю уже двадцать пять лет, автономно, как бывало в Баргузинском, прошёл более тысячи километров познавательных маршрутов, сделал множество для себя открытий, собрал экологический материал о жизни заповедных обитателей. В 1996 году к десятилетию БЛГЗ удалось уточнить, описать и сфотографировать коренной исток Большой Лены, обнаружить (по рассказу геолога Александра Алексеевича Бухарова) заповедный палеовулкан, возраст которого — миллиард семьсот двадцать миллионов лет, таких древностей на Земле единицы. Удавалось неоднократно на резиновой лодочке сплыть по великой Лене с самых её верховий более двухсот километров девственной заповедности. Теперь всё это в моей памяти и моих книгах: «Заповедник на Байкале» (1979), «Вол-

чья песня» (Иркутск, 2003), «Вести от Синих гор» (Иркутск, 2006), «Визит к Берендею» (Иркутск, 2008) и других.

Весь этот пройденный путь жив в памяти благодарностью судьбе, звенящей струной которой была заповедность.



СЕМЁН УСТИНОВ

## Большая луна над Араколом

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОЧЕРК

Ах, какие яркие полнолунные ночи начались на Араколе! Уже в раннем вечеру круглая, свеженько румяная от мороза луна поднимается над лесом. Освещённый её яркостью, вмиг засеребрившись, он благоговейно замирает. Одних своих обитателей — дневных — он уже отправил на отдых, другие — ночные — ещё не вышли из дневных укрытий. Но вот сейчас, с минуты на минуту в этом редкостном березнике прострочит белое привидение. Это заяц проложил там свою тропу и крепко утоптал её, пробегая от места ночёвки к местам кормёжки. Надо плотно закусить, и скорее обратно в тёплое убежище. Целый день сидеть там, а морозы-то за сорок!

Зима — трудное время не только для людей. У них хоть есть теплые жилища, а как-то диким животным? Как, где, какими природными приспособлениями спасаются все, кто населяет зимние наши леса?

На берегах Анги — не лес вокруг — струны из лиственниц! Пологие горы, деревья на них в серебре изморози, встающее солнце или луна полная играют радужным мерцанием в их кронах. Этот показатель сорокаградусного мороза — награда лесу за терпение. Когда теплеет, он лишается своего наряда.

С лёгким, таинственным потрескиванием (никогда не уловишь точно, откуда доносилось) совершается ещё одно чудо зимнего леса — идущая наледь. Нет, не та, что разливается на реке, но та, что сочится с берегов. Всю жизнь вижу в тайге нашей это диво и не могу привыкнуть. Мороз лёд в камень превращает, деревья рядом рвутся с пушечным грохотом, дым из зимовья отказывается лезть вверх, а она — водичка святая — тихонечко, такими мягкими толчками течёт — пробирается по закаменевшему от мороза льду.

Из этой наледи мне брать воду. Сейчас Владимир уезжает, оставляет меня в этом зимовье на несколько дней «поснимать — пописать — походить».

— Содни, пара, за сорок, — чудесным качугским, «ленским» наречием заявляет он, входя в зимовье. — Содни не ходи, поморозишься! Тожно полегше было.

Вот это-то мне и надо, не поморозиться, конечно, а посмотреть, что и как в лесу. Говорю:

— Ты же мне вон какую одежду-обувку выдал!

Владимир Александрович Бутаков из деревни Анга Качугского района привёз меня сюда — на Аракол. Он большой любитель и знаток этого Ленского края, знаток жизни природы. Вместе с женой Людмилой они готовы в любое время принять любого гостя, очень радушные люди. Владимир сам предложил мне эту поездку.

Семью эту я знаю давно, много раз у них бывал. В ней царит дух уважения, добросердечия, благожелательности ко всему, что их окружает. И конечно, они очень трудолюбивы, обязательны, всегда придут на помощь своим соседям и односельчанам.

Каждое утро неподалёку — из зимовья слышно — раздаётся вопросительное: «Крук?» Я затаюсь, не выхожу наружу. Через какое-то время «Крук?» поближе. Старого мудрого ворона не обманешь, дым-то из трубы зачем? Значит, постоялец дома, и ещё неизвестно, что от него можно ожидать. Хотя, кажется, не вражина, иначе зачем каждое утро на чурке оставляет что-нибудь съестное, а сам уходит на весь день.

У ворона я насчитал когда-то около десятка интонаций: от вопроса, удивления, озадаченности до удовлетворения узнаванием (а-а, это тот самый), Фока не пропустил ни одного утра, чтобы не поприветствовать меня. На его «Крук?» я отвечал: «Крук! Крук!» Мол, дома, дома, и он улетал. Но всегда, вернувшись вечером, я видел у зимовья его следы, а мой гостинец с чурки исчезал.

Этих птиц можно назвать интеллектуалами леса — всё они видели, всё они знают. Не случайно у скандинавов, у жителей Гренландии ворон — птица священная. Коренные жители некоторых окраин России считали так же. В наших лесах это самые знатные санитары, они способны кое-что «догрызть» даже после волчьего пира.

Вот и пришли дни интереснейшего общения с некоторыми обитателями ангинских лесов. Удивило разнообразие живого: на снегу следы козуль, зайцев, белок, колонков, волков. В кронах слышны голоса синичек-гаичек, поползней, дятлов, клестов, чечёток, рябчиков. В зимовье шуршат по ночам мыши и полёвки, даже землеройку видел. В роду этих последних числится самый махонький зверь тайги — крошечная землеройка. «Зверь» этот весит всего полтора грамма, а чтобы не пропасть с голоду, он съедает за сутки больше своего веса. Примерно так: перестал жевать — и тут же умер с голоду. Каково ему зимою! Где насекомые — его еда? Но там, в снежной темнице пробирается он среди лесного хлама и находит то, что ему надо.

— Но чо, пара, как дела? — спрашивает Владимир, он приехал час назад, меня ещё не было в зимовье.

— Во!

И я рассказываю великолепному моему слушателю о том, что видел. О чем и рассказал здесь. Теперь надо приехать сюда в феврале, когда хлынет в леса не серебряный свет полной луны, а яркое, пахнущее весной солнышко.